ГЕРМИНИЯ МЮЛЕН

Zur Mühlen

Spartakovtsy

СПАРТАКОВЦЫ

11

РОМАН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ОСТЕРМАН

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“
Москва 1923

Главлит № 4029. (Москва). Тираж 10.000.

«Мосполиграф». 13-я тип. «Мысль Печатника». Петровка, 17.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Бледно-голубое небо, как в зеркале, отражается в лужах. По большой реке несутся льдины, захватывая в своем течении сверкающие осколки льда. Фиолетовые тени падают с берез на талый снег. Из плодородной, разогретой солнцем, почвы поднимается тяжелая испарина. Тихое обещание, покой, жизнерадостная, полная надежды любовь—обвевают измученную долгой зимой землю.

В тесных, мрачных улицах еврейского квартала мало заметно великолепие ранней весны. Тающий снег здесь—грязь и вонь. Мусор, скрытый под снегом, освобождается из-под своего покрова, испаряется на солнце, и вонючие испарения несутся от него к полуразрушенным домам. На лица тяжело ложится забота, испуганные глаза боязливо смотрят вдоль улицы, неясный страх направляет торопливые шаги людей в дома; перепуганные матеря не выпускают детей из дома и с облегчением вздыхают, когда мужья возвращаются вечером невредимыми домой. Тяжестью висит над городом невысказанное вслух, лишь в трепетных сердцах зловещим шопотом прорезывающееся слово. Невысказанное, пронеслось оно грозным ревом по улицам, наполняя их пронзительным страхом: погром!

Кто произнес его? С чьих трепетных губ сорвалось оно? Чей зловещий гнев, чье жуткое злорадство грозило им? Никто не знает. Как страшное чудовище, поднялось оно внезапно, грозно разрастаясь, простирая тысячу рук, выжидая, скрючившись, минуты прыжка.

— Хоть бы уж Пасха прошла,—шептали бледные женщины, боязливо считая дни. Среда, четверг прошли. Еще два опасных дня остались: Страстная пятница, Страстная суббота. Когда православные не будут уж поститься, когда яйца и ветчина

наполнят отощавшие желудки, нервы не будут так напряжены. Сытый становится мягок и ленив. Еще один страшный день.

И вот в Страстную субботу вечером разразилась гроза. Вначале это была лишь мальчишеская проделка; мальчишки толпой пришли из другой части города, выбили стекла у одного лавочника: «проклятый жид, христоубийца!»

Это лишь был сигнал. Черные массы, вооруженные дубинами, револьверами, с ревом устремились в узкие улицы, бушуя, свирепея, на все нападая. Они врывались в дома, и дикие крики и вопли неслись оттуда. Глухие удары прорезывали воздух. Плачущие дети, как обезумевшие, бегали по улицам. Грубые руки схватывали длинные черные косы, женские тела падали, и с ревом набрасывались на них озверелые люди. Первый убитый, какой-то старик, как бы превратил озлобление насильников в какое-то неистовство. «Бей их, собак, паршивых жидов!» Тысяча голосов слилась в один рев, тысяча рук превратилась в одну страшную, жаждущую крови руку, тысяча душ—в одну ярость. Черный поток все заливал; спасенья не было. Кто защищался голыми руками,—у жертв не было никакого оружия,—падал под ударами, кто молил пощады, подвергался той же участи. Затаенный против кого-то гнев, справедливая против кого-то другого ненависть—искусной рукой направлены были против невинных, дабы укрыть виновных.

Вековое угнетение разразилось против угнетенных же вместо угнетателей. Темные бессознательные люди явились орудием в бесчеловечных руках.

Как всегда, казаки явились слишком поздно. Лошади их скакали по трупам, нагайки свистали над умирающими. Черный поток отпрянул, исчез; он свое дело сделал. Мертвые тела с размозженными черепами лежали между развалинами жилищ, раненые, истерзанные стонали в концах улиц. Сквозь открытые двери темнели разрушенные внутренности жилищ. Обезумевшие люди разыскивали своих близких среди развалин и обломков. Смеркалось. Из черной тишины рвался полный отчаяния нечеловеческий вопль.

И вдруг раздался трезвон на всех колокольнях города. Светлый праздник—Христос воскрес!

Приходили любопытные: одни сочувствующие, другие злорадствующие, все возбужденные, как бы смакуя ужас.



На пороге одного дома лежала старуха с размозженным черепом; возле нее скрючился, всхлипывая малыш.

Пришла и Надя в своем лучшем праздничном наряде с нарумяненными щеками и подведенными глазами. Она шла осторожно, приподнимая юбку, ступая своими новыми ботинками по крови и грязи. Казацкие офицеры знали ее, кивали ей, посмеиваясь, когда она протискивалась между рядами. Она улыбалась неподвижной, немного презрительной улыбкой, от времени до времени вздрагивала при виде трупа и все-таки шла дальше, подталкиваемая каким-то нездоровым любопытством.

На пороге одного дома лежала старуха с размозженным черепом; возле нее скрючился, всхлипывая, малыш. Надя остановилась. Ребенок заметил ее, подбежал, уцепился за ее платье, пряча головку в ее коленях. Невольно Надя нагнулась к нему, гладя маленькую, чернокудрую головку. «О чем ты плачешь, голубчик?»

Захлебываясь от прерывистых рыданий, мальчик пробормотал:

— Они... бабушку... убили ..

— Где твой отец?

— Далеко: за стенами, в Сибири...

— А мать твоя?

— Умерла.

— У тебя нет никого на свете?

— Только бабушка.

Надя бросила растерянный взгляд на мертвую старуху, а затем осмотрела мальчика. Одно на свете, это бедное маленькое существо, брошенное на произвол насытившихся кровью людей. Любопытство и отвращение постепенно уступили в ней место глухому гневу, в котором она не отдавала себе точного отчета.

Дитя продолжало цепляться за ее платье своими крохотными ручонками:—Возьми меня. Я боюсь.

Надя еще раз уставилась на мертвую женщину, и вдруг у нее слезы навернулись на глаза.—Что же мне с тобой делать, голубчик мой миленький? Мне ведь маленький мальчик не нужен.

— Возьми меня, мне страшно!

Казачий офицер подошел к ним:

— Да прогоните же это жидовское отродье, Надежда Федоровна.

Что-то животное в тоне жесткого насмешливого голоса возбудило женщину.

— А почему?

— Что общего между нашей красавицей Надей и этим пархачом?

— Возьми меня!—тихо молил испуганный детский голос.

— Можно мне взять малыша к себе, Григорий Степанович?

Надя вряд ли сама знала, что толкнуло ее на этот вопрос: холодная ли насмешка в лице этого человека, или страх ребенка, цеплявшегося за ее колени.

— Конечно, но не понимаю...

— Да вы многого не понимаете!

Почему она, верующая, «истинно-русская», вдруг почувствовала себя заодно с этим ребенком отверженного народа? Почему видела она в стоящем перед нею человеке врага, высокомерного, дерзкого угнетателя?

Давно забытые образы завертелись в бешеном танце в ее мозгу. Тесный, дурнопахнущий подвал, маленькая девочка с длинными непокорными волосами, светловолосый мальчик, приносивший ей яблоки, холодная зимняя ночь, светловолосый юноша в студенческом мундире, окруженный казаками. «Прощай, Надичка!» Казаки схватывают его, оттаскивают прочь, казаки...

— Вы многого не понимаете,—сухо повторяет она и хватает ребенка за руку.—Идем, крошка, я тебя возьму с собой.

Ведя ребенка за руку, она прокладывает себе дорогу; высокомерно, вызывающе... Мальчик перестает плакать, крепко держится за ее руку, растерянно и в то же время доверчиво глядя на нее. На углу улицы ждет извощик Нади. Глаза ребенка загораются. Он никогда еще не ездил на дрожках.

— Как же тебя зовут?—спрашивает Надя.

— Мойша.

Она вздрагивает.—Ну, нет, это не годится. Все надо мной будут смеяться. Отныне тебя зовут Иван, понимаешь?

Дитя испуганно кивает.

Ночь спускается над городом. В еврейском квартале боязливые тени крадутся из углов и уносят своих мертвых. Сдавленное, негромкое рыдание проносится по улицам. В отдалении звонят пасхальные колокола.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Христос воскресе! Толстый нижегородский купец целует Надю в лоб.

— Воистину воскресе,—благочестиво отвечает Надя и прибавляет:

— А что вы привезли мне, Михайло Михайлович?

Он смеется и неуклюже стаскивает тяжелую шубу.

— Прекрасные вещи, голубушка, кольцо с черным жемчугом да старинные часы. Продавец сказал, что они служили еще первому французскому королю.

Он бросается в удобное кресло, кряхтит и осклабившись смотрит на Надю.

Надя растягивается на кушетке, пуская голубые клубы дыма в воздух, и играет жемчугом, украшающим ее шею. Она усмехается немного смущенно.

— Михайло...

— Что, голубушка?

— А у нас погром был.

— Так-с.

— Убили около трехсот евреев.

— Это ничего. Их все еще слишком много.

Надя бросает быстрый взор на тяжелую шелковую портьеру, за которой что-то движется.

— Маленькие дети потеряли при этом всех своих родных.

— Что-ж, нужно покориться божьей воле!

Тонкие пальцы Нади нетерпеливо барабанят по столу.

— Совсем крохотные дети, Михайло Михайлыч.

Толстый купец беспокойно ерзает на стуле. Надя сбоку посматривает на него.

— Вы не переносите маленьких детей?

Странное выражение мелькает на лице толстого купца, что-то вроде пугливого гнева. Однако он отвечает равнодушно:

— Все раньше или позже теряют своих родителей.

Надя внезапно усаживается.

— Знаете, Михайло Михайлыч, что Григорий Степаныч давеча сказал про вас?

— Что же?

— Что вы не русский, а крещеный жид!

Лицо толстого купца внезапно темно багровеет, он яростно сопит, отворачивая глаза от Нади:— Проклятый пес! Так врать! Я—жид! Это...

Надя громко хохочет. Лукавая черточка ложится около ее маленького рта.—Иди сюда, Ваня!—зовет она.

Портьера отодвигается, и ребенок входит в комнату. Это уж не маленький Мойша, грязный, неумытый, в рваном платье, это Ваня в черном бархатном костюмчике с большим кружевным воротником, хорошо причесанный, умытый. Большие черные глаза, правда, смотрят еще испуганно, но ребенок доверчиво бежит к Наде.

— Это что такое?—Михайло Михайлыч оторопело уставился на маленькое, неожиданно ворвавшееся, существо.

— Это еврейское дитя,—отчеканивает Надя каждое слово,— они убили у него единственную, остававшуюся еще в живых родственницу. Я его забрала к себе. Вы на меня не сердитесь, Михайло Михайлыч?

Вопросительно смотрит она на толстого купца, готовая разразиться гневом при малейшем возражении. Но тот как бы забыл окружающее. Неподвижно уставились его глаза на бледное личико, пронизывая нежные черты, выдающие, несмотря на свою незрелость, расу. Жирные руки, усеянные бриллиантовыми кольцами, дрожат, он громко сопит.

— Ну?—голос Нади звучит нетерпеливо.

Толстый купец вытаскивает платок и звучно сморкается. Затем он бормочет про себя:—Жидовское дите? Сиротка?

И вдруг миролюбивый взмах руки заканчивает вспышку гнева:—Да побей их бог! Эх!

Надя довольно смеется.—Вы, значит, не сердитесь, Михаил?

Искреннее чувство внезапно придает одутловатому багровому лицу выражение достоинства.

— Господь тебя вознаградит, голубушка. И... ежели тебе чего понадобится...

* * *

Так и остался Ваня у Нади, стал спать в мягкой постельке, сытно ел, получал от Надиных друзей роскошные игрушки и постепенно становился избалованным барченком.

Первые недели пережитого еще тяжелым гнетом лежали на нем. Он пугался при звуке громких голосов, не хотел выходить на улицу, с криком вскакивал ночью во время сна. Плакал он также по бабушке, по верной, неустанной нежности, которая охраняла его детство. Надя была с ним добра и нежна, но никогда не находила времени, чтобы позаняться им. Ребенок проводил целые дни один в отведенной ему прекрасной, светлой комнате.

Спустя несколько месяцев забвение черным покрывалом окутало мысли Вани. Он не знал другой жизни, вне уютного изобилья красивого дома, не помнил, как он голодал и мерз, как с криками «паршивый жиденок!» преследовали его и бросали в него каменьями мальчишки на улице.

В роскошной спальне Нади висел в углу образ, перед которым день и ночь теплилась лампада. Надя учила ребенка склоняться перед образом и креститься.

— Кто эта женщина с ребенком?—спросил как-то Ваня.

— Это—божья матерь.

— А кто это, божья матерь?

Надя смущенно засмеялась.

— Мать спасителя. Если ты будешь хорошим и честным, она тебя всегда будет охранять.

— А тебя она охраняет?

— Она меня помилует.

— А ты честная и хорошая?

Красивое лицо прижалось к кудрявой головке и покрылось багровым румянцем.

— Нет, Иванушка...

* * *

Прошло два года. Ване было уже шесть лет. Он превратился в худенького мальчика с бледным личиком и сверкающими черными глазами. Время прошло для него, как сон. Два дивных лета в Петергофе, где ему можно было купаться и играть у моря; две зимы в городе. Наступила третья весна его жизни у Нади. И тут, неизвестно почему, ему показалось, что все как-то внезапно переменилось: многочисленные гости, наполнявшие смехом гостиную, пившие шампанское, как-то постепенно исчезали. Сама Надя, прежде никогда не остававшаяся дома, когда не было гостей, теперь по целым дням сидела

одна в своей спальне, лежала устало и хмуро на кровати, подолгу смотрелась в зеркало и по временам плакала, что особенно пугало Ваню. Она кашляла, худела и часто проникалась какой-то нетерпеливой тревогой, которая передавалась и Ване.

Раз он застал ее перед зеркалом, водящей по щекам какою-то розовою кисточкой. Одна щека была бледна, другая же ярко-розовая. Это ему показалось таким смешным, что он звонко расхохотался. Надя швырнула кисточку на пол, спрятала лицо в руки и залилась слезами:

— И ты уже это видишь!.. Я выгляжу старой ведьмой... Николай Тихонович сказал мне вчера: «Вам нужно полечиться, Надя». Я знаю, что это значит. Никому я больше не нужна. А раньше они на коленях ползали передо мною, эти псы! А ты смеешься, злой мальчик! Не будешь ты смеяться, когда мы станем голодать, да мерзнуть где-нибудь на чердаке.

Она вскочила, отошла от зеркала и трясущимися руками сорвала с себя капот.—На, смотри, на эти кости, эту впалую грудь! Конец уже мне пришел, конец! Нам побираться впору. А ты смеешься!

Перепуганный ребенок заплакал. Надя опустилась перед ним на колени.—Не плачь, миленький, не плачь, голубчик. Я тебя не покину. Я напишу в Нижний, Михаилу Михайловичу, чтоб он нас в теплые края послал. А как вернусь я оттуда здоровой да красивой, уж покажу я им всем, собакам! Не плачь, Иванушка!

Письмо было отправлено, но ответ получился, писанный не крючковатым почерком Михаила Михайловича. Мелкий женский почерк сообщил Наде, что ее непонятное письмо получили, что здесь произошло наверное какое-то недоразумение, что покойный Михаил Михайлович никогда в жизни, а тем более после женитьбы своей, не имел дела с «продажными женщинами».

* * *

Настало лето. Удушливый тяжелый зной висел над городом. Солнце накаливало мостовую; улицы опустели. Надя все чаще плакала. Часто приходили какие-то мужчины, которые показывали какие-то длинные листы бумаги и как будто требовали что-то, и красные стены оглашались грубыми сло-

ками и бранью. Ваня испуганно забивался в уголок и выходил лишь тогда, когда чужие люди уходили.

Однажды Надя стала укладываться. Ваня обрадовался, увидав среди спальни большой сундук.

— Мы к морю едем?—радостно спросил он.

Надя зло рассмеялась.—К морю! Ну, конечно, я сняла дворец у моря. Мы ведь важные баре! Знаешь, куда мы переезжаем? Туда, откуда мы с тобой приехали, в грязь, в помойку!

И она заплакала, закашлялась и стала беспорядочно швырять в сундук платье, белье и обувь.

Оборванный извозчик привез Надю и мальчика в их новое жилье. Никто из слуг не провожал их. Ванька остановился в тесном вонючем переулке. Извозчик потащил сундук вверх по бесчисленным ступенькам грязной лестницы и втащил его в тесную комнатку, которую он почти заполнил. Затем он поворчал, получив черезчур скудно «на чаек», и тяжело стал спускаться с лестницы. Шум его шагов глухо отдавался в тесных стенах.

Ваня огляделся в комнате. Кровать, умывальник, два стула и маленький хромоногий стол. На грязных стенах—сырость расписала причудливые узоры; потолок весь закопченный. Воздух весь пропитан капустой и помоями. Гнетущий страх охватил мальчика; все это он уже видел когда-то, но еще чего-то не хватало. Почему-то думалось ему, что дверь раскроется, и злые люди ворвутся с ревом, с проклятиями, с угрозами. Внезапно он почувствовал себя совсем маленьким, покинутым. Он прижался к молодой женщине, как бы ища у нее защиты. Она стояла среди комнаты, беспомощно опустив судорожно сжатые руки. Глаза неподвижно уставились в одну точку, легкое хрипение вырывалось из горла. Как тягостна была эта тишина. Хоть бы она сказала одно слово!

— Мамочка!—он дернул ее за платье. Она как будто не заметила этого, глядя расширенными, полными отчаяния глазами на стену.

— Мамочка, а где же я буду спать?

Она хрипло рассмеялась.—Да, мой принц, где ты будешь спать? На стуле, на столе, на полу возле моей кровати!

Она сильно закашлялась и внезапно, преодолевая себя, прибавила:—Не печалься, Иванушка, все наладится, и тогда мы купим большой дом и заживем лучше прежнего.

Она подошла к сундуку и выбросила небрежно платье и белье на грязный пол и между вещами нащупала что-то. Это была икона. Она нашла крюк на стене, повесила ее и вдруг рассмеялась весело, как ребенок.

— Она принесет нам счастье, Иванушка, я уже лучше чувствую себя. Открой только окно, здесь можно задохнуться.

Она зашаталась, дотащилась, цепляясь за мебель, до кровати и повалилась без сознания на грязную, грубую постель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Маленький Ваня—проворный мальчик, он почти заменяет Наде ее Софью. Он находит нужное платье в сундуке,—шкафа нет в комнате,—умеет застегивать крючки, расчесывать ее тонкие густые волосы, когда Надя сама слишком слаба для этого. Он научился также приготовлять чай, бегает за хлебом и исполняет много других поручений.

Он так же быстро забыл красивый дом и свою светлую просторную комнату, как и тот дом, в котором протекли первые годы его жизни, и чувствует себя чуть ли не счастливее, чем раньше. Надя целые дни остается дома, лежит большей частью в кровати и болтает с ним, рассказывая ему сказки из того отдаленного времени, когда она сама еще была маленькой девочкой. Если б только не было ночей, этих одиноких ночей...

Вечером Надя одевается, укладывает его и уходит. Едва только мальчик остается один, его начинает осаждать какой-то непонятный страх, привидения, возникающие в его памяти. Не скрипит ли лестница? Не раздаются ли глухие шаги? Кто это крадется к дверям? Вот они раскрываются. Что-то страшное произойдет! Весь дрожа, он закрывается в одеяло, крепко зажимая глаза и не смея двигаться, пока, наконец, не приходит желанный сон.

Поздно ночью или рано утром будят его Надины тяжелые шаги по ступенькам лестницы. Она вваливается в комнату, едва держась на ногах, дрожа от усталости, с пылающими щеками и лихорадочно горящими глазами. Он выскакивает из кровати, помогает ей раздеться, бережно укутывает ее и, сам завернувшись в одеяло, ложится у нее в ногах. Иногда она бормочет уже в полусне:—Спокойной ночи, Иванушка, завтра мы досыта поедим,—и засыпает, не успев докончить фразы.

Порою же она возвращается домой уже часа через два, и Ваня уже заранее со страхом ожидает в такие вечера полного отчаяния, плача.—Мы опять будем голодать. Он сидит тогда возле нее на кровати, гладит плачущую женщину, целует ее горячие руки и не может придумать способа успокоить ее.

Дни становятся все короче, все холоднее. Резкий ветер прорезывает улицу. Надя возвращается теперь вся закоченевшая и дрожащая от мороза.

Однажды вечером она возвратилась не одна.

Отталкивающий, грубый с виду человек входит с нею в комнату.—У тебя и мальчик есть?—восклицает он со смехом, увидев Ваню. Надя в ответ тоже смеется, и Ваня удивляется ее веселости.

— Что ж, этот клоп останется здесь?—спрашивает мужчина с досадой в голосе.

— Что вы, господь с вами!—испуганно возражает Надя.— Иванушка, голубчик, выйди на минутку за дверь. Я... мне нужно поговорить с этим господином.

— Го, го, го, поговорить!—ржет мужчина с восторгом.

— И придешь когда позову!

Ваня повинуется. Он сидит на пороге в темном корридоре и боязливо прислушивается к каждому шороху. Не сделает ли этот человек чего-нибудь плохого мамочке? Почему они оба так много смеются? Мальчик дрожит от холода и страха и наконец начинает плакать. Как долго они говорят! Но почему же теперь не слышно их голосов? Наверное, этот человек обижает мамочку! Внезапный гнев охватывает его. Почему должен он здесь сидеть один и мерзнуть, а этот чужой в комнате, в тепле? В его усталой головке мелькает неясная мысль, что он всегда сидел здесь, в корридоре, один, и мерз в темноте, не сегодняшний только вечер, а много много вечеров, годы, всегда. И это всегда так и останется.

Другие будут уютно сидеть в светлой теплой комнате и смеяться. А он будет сидеть в темноте и плакать.

Однажды он видел у Нади молодого человека, с бледным лицом и дикими глазами, который громко и гневно кричал: —Вы здесь пьете и пируете, а на улице у дверей вашего дома стонет и плачет народ!

Усталые глаза слипаются, неясные образы проносятся в его мозгу: мать, плачущая об убитом сыне, плачущий народ... все плачут... все ...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Наступает весна. Даже в тесные, вонючие улицы проникает солнце; лучи его взбираются вдоль стен, падают через глухое оконце в Надину комнату. Она поставила кровать у самого окна, простирает свои прозрачные руки навстречу солнечным лучам и радуется синему небу, кусочек которого виднеется между крышами и дымовыми трубами.

Вот уже шесть недель, как она не встает с кровати.—Я не больна,—все уверяет она Ваню,—я только ужасно устала. Вот настанет май, и я встану и буду совсем здорова.

По целым дням лежит она неподвижно, по временам тихонько стонет и еле отвечает на боязливые вопросы мальчика. К вечеру темно-красный румянец заливает ее щеки, она оживляется, начинает говорить без умолку хриплым голосом. Часто ее слова непонятны Ване. По временам она как-будто забывает, где она, зовет свою Софью, требует «новое парижское платье». То она смеется с каким-то особым задором, смеется над людьми, которых как будто видит пред собой, требует шампанского, болтает о больших городах, о чужих странах.

Она совершенно довольна, лишь, по временам, когда лихорадка не совсем одолевает ее, она становится беспокойной, бормочет про себя испуганно: —Дитя,—что с ним будет?

Соседи очень добры к ним обоим. Горбатая жена сапожника ежедневно приносит им супу, а толстая Настя с накрашенными щеками, живущая на четвертом этаже, часто сует Ване в руку рубль, чтобы он купил чего-нибудь для Нади. Она приходит к больной, перестилает ее постель, сидит, болтая, около нее. Это она же научила Ваню играть немного на балалайке и петь несколько любовных песен. Она посылает его петь на улицу, чтобы он принес немного денег.

Ваня бродит по тесным переулкам, поет слабым детским голосом по дворам и площадям, и беднота делится с ним своим добром: подают ему копейки, пироги, а подчас ему даже перепадает и кусок мяса.

Сумерки мягко ложатся в тесной каморке, последний проблеск света застрял на маленьком зеркальце, которое ярко блестит в сумраке. Настя сидит у Надиной кровати. Она уж готова, чтобы пойти «на работу», накрашена, напудрена, затя-

нута. Озабоченным взглядом смотрит она на больную, дыханье которой тяжело, с хрипом подымает больную грудь. Настя выпила; изо рта ее несется запах водки. Тяжелая грусть гнетет ее.



Настя сидит у Надиной кровати... Озабоченным взглядом смотрит она на больную.

— Собачья жизнь! —вздыхает она.—И когда подумаешь о конце...

Надя молчит.

— А в церкви никто не хочет стоять возле меня, —продолжает Настя, —а чем я хуже их? Краду я разве или обижаю кого-нибудь? В бога не верю?

Последний отблеск света тухнет, светящееся зеркало темнеет и становится мертвым серым пятном.

— Надя, ты бы позвала священника.

— А зачем?

— Как знать? Господь простит тебе, голубушка, твои прегрешения. А так, без попа, без покаяния умирать ведь не годится. Не скоты же мы...

— Умирать? —слабый голос Нади надтреснуто звенит, —кто говорит о смерти?

— Милая моя, —грубая, красная рука успокаивающе гладит одеяло, —ты же сама знаешь, что не жилица ты... Ведь на лице твоем уж смерть видна. И отчего ты так жить хочешь? Разве жизнь так уж ласкова для нашей сестры?

Исхудалая рука Нади схватывает руку Насти, впивается в нее.—Не хочу я умирать, Настенька, не хочу. Ох, хороша жизнь! Я так ведь еще молода! Держи меня, Настенька, крепко. Мне страшно!

Несколько испуганная действием своих слов Настя прижимает больную к себе.—Не бойся, родная! Это я так только, потому что ты уж очень похожа стала на Наташу покойную, что месяц тому померла.

— А Ваня?—Надя заливается слезами.—Что с ним станется, когда я умру? Ведь маленький же он совсем.

— Да мы его не оставим, —успокаивает ее Настя. —А то в сиротский можно.

Но Надя не слушает ее. Неподвижными глазами уставилась она перед собой; мелкая дрожь охватывает ее тело; зубы стучат, как в лихорадке: —Помирать! помирать!

* * *

Ваня приносит домой полный карман денег. Весеннее ли солнышко смягчило души или теплый ветерок навеял людям легкомысленное великодушие? Каждый из прохожих давал ему, и не копейки одни, а и серебрянную мелочь, даже целый рубль вытряхивает он однажды на Надину кровать.

— Завтра ты хорошо поешь, мамочка, молока и пирогов, а Настя нам сварит щи!—радостно восклицает он, обвивая руками ее шею.

— Ты рада, мамочка?

— Да, Иванушка.

— И тогда ты уж не будешь усталая, ты встанешь и выйдешь со мной на солнышко. Правда, мамочка?

— Да, мой родной.

Ваня карабкается на кровать.—Мамочка, сегодня на улице мальчишки бежали за каким-то маленьким мальчиком, бросали в него каменьями и кричали—паршивый жиденыш! Они хотели, чтобы и я бросал каменьями в него, но мне жалко стало, потому что мальчик так плакал! Почему они преследовали его, мамочка? Что он плохого сделал?

Надя обвивает рукой шею мальчика, губы ее дрожат, как в черном тумане встает перед ней жуткая картина: Разможженные черепа... Окровавленные трупы... Маленький черно-кудрый ребенок, плачущий возле мертвой женщины...

— Отчего ты плачешь, мамочка?..

— Иванушка, обещай мне, что никогда не пойдешь с этими злыми мальчишками и не будешь бросать каменьями. И не будешь кричать «паршивый жид», обещай мне, Ваничка.

Неясная мысль проносится в усталой голове.—И тогда мне старуха простит, что маленький Мойша божьей матери молится.

— Да, мамочка.

— Никогда нельзя быть злым к слабым, Ваничка. Всегда им помогай. Надо всех людей любить, Иванушка.

— И злых, мамочка?

Большие глаза дико сверкают на измученном болезненном лице, пронзительная дрожь слышится в усталом голосе, лихорадочно горящие руки больно сжимают детскую рученку.

— Нет, Иванушка,—злых ненавидь. Злых людей, которые нас зверями делают, а потом презирают, которые нас голодом морят, убивают у малых деток родителей, злых людей, что властвуют над нами, сами живут богато и счастливо, а наших друзей в Сибирь ссылают, этих ненавидь. Всю свою жизнь борись с ними, чтобы уничтожить их.

Голос ее обрывается, обессилевшая, она откидывается на подушку.

Мальчик не понимает ее слов, но чувствует, что она ждет ответа: —Да, мамочка,— серьезно кивает он головой.

— А теперь спи, родной! Я очень устала.

— Спокойной ночи, мамочка милая, завтра будет хороший день.

* * *

В тесной каморке еще совсем темно, когда Ваня чувствует вдруг, что его ухватили за плечо и сильно трясут. Он с трудом раскрывает слипающиеся глаза. —Уже поздно, мамочка? Я встаю сейчас.

Какой-то чужой голос хрипит. —Иван, мне душно!.. Зажги свет!..

Весь дрожа, зажигает он свечку.

Надя сидит на кровати и, задыхаясь и ловя воздух, стонет; с хрипом вздымается ее грудь. Слезы текут из неподвижных, полных ужаса глаз.

Беспомощно стоит ребенок перед нею. —Что с тобой, мамочка? Что нужно сделать?..

— Я помираю, Иванушка, помираю,—вырывается плач у больной.

Ребенок начинает также громко плакать.

— Я позову Настю,—сквозь рыданья говорит он.

— Скорей, скорей!

Ваня стремглав несется по лестнице и стучит в дверь толстой девушки. Дверь заперта. —Настя! Настя!..

— Чего тебе?

— Беги скорее... мамочка... она помирает!

Мужской голос ревет: —Проклятье! Не дадут поспать спокойно! Ну, и пусть помирает!

Испуганный голос Насти отвечает: —Сейчас, Ваня, иду! — и продолжает гневно:—молчи, скотина!

Ваня бегом возвращается. Надя лежит хрипя, из углов рта текут алые струйки. Она судорожно цепляется за руку ребенка.

— Ваня... Страшно... Душно... Молись...—и видя, что перепуганный до смерти мальчик безмолвно стоит, она, задыхаясь и собирая последние силы, настойчиво шепчет еще раз:—Молись!..

В детской головке целый водоворот мыслей. Молиться? Он не находит слов... Какая-то пустота. Звездочки прыгают перед его глазами. Холодный пот выступает на лбу.

И снова режет слух пронзительный, полный мольбы шопот:— Молись за меня! Молитесь-же!

* * *

День, которому заранее так радовался Ваня, наступил. Но мамочка не хочет ни молока, ни пирогов. Она лежит вся белая и неподвижная в солнечном свете. Настя сложила ей руки на груди и поставила две горящих свечи возле нее.

Несмотря на ранний час, Настя совершенно пьяна. Она плачет, стоя на коленях у кровати, бормочет бессвязные слова и от времени до времени опрокидывает в себя рюмку водки.

Ваня прижался испуганно в уголок. Горбатая жена сапожника приносит цветы и кладет их на Надину грудь:—Пусть и она, бедненькая, весну чувствует.

Комната все более озаряется светом. Перед кроватью молится пьяная девушка. Слова путаются у нее на языке.—Молись, Дева святая, за нее, молись, заступница, за святую... Дева... молись...

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Бесконечно тянется Невский проспект в холодном свете белой июльской ночи. Громады домов, подобно огромным теням, вздымаются к свинцовым небесам; вдали угрожающе темнеет зловещая масса Адмиралтейской башни. Дрожки снуют повсюду, автомобили дико ревут, люди спешат взад и вперед. Ни день, ни ночь. Эти часы, ведущие почти без перехода от вечера до утра, наполнены чем-то враждебным, неуютным.

Несмотря на такое оживление, город кажется каким-то местом привидений, где тени господствуют над улицами, где мертвые, освобожденные из гроба, с шумом и гамом празднуют свое короткое воскресенье.

Первый отблеск зари на востоке является избавлением от власти темных сил, переходное царство рушится, исчезает, живой город живых людей простирается навстречу солнцу.

Люди гурьбой выходят из театров, возвращаются с островов. То здесь, то там полицейский делает свой обход, и темные фигуры ныряют в тень домов.

На углу улицы стоит мальчик с балалайкой; заглушенно и фальшиво звучат струны, и тонкий детский голосок поет:

Очи черные, очи страстные!

Странно звучит заунывная страстная песня на детских устах. Маленькие пальчики устали и играют фальшиво. Резкие ноты прорезают ночь, и все хриплее звучит слабый голосок.

Большинство прохожих не обращают на него никакого внимания: поздно уж, людей тянет в теплую кровать; какое дело им до чужого ребенка?

Пьяный матрос подходит, шатаясь.

— Да спой ты, братец, что-нибудь другое. Вот уже полчаса, как тянешь все ту же канитель.

— Я не знаю другой песни.

— Стой, я тебе просвищу другую, слушай.

Матрос прислоняется к стене, и запрещенные звуки революционной песни вызывающе разносятся по улице.

— Вот, и пой так,—говорит он:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный,
Неумолимый грозный суд.

Женская фигура быстро подходит.—Гриша, ты спятил. Уйдем скорее!

Она хватает матроса за руку, хочет его оттащить.

— Да подожди, голубушка! Надо же копеечку дать пареньку. Вот тебе, сыночек, да выучи ты другую, пожалуйста, песню.

Городовой быстро приближается. Матрос и женщина исчезают в переулке.

— Это ты свистал?—кричит городовой Ване.

— Нет, ваше благородие, ей-Богу, я и не умею свистать...

— Так, ну погоди! Счастье твое, что я человек добрый... Городовой не очень то крепко стоит на ногах. Он умиляется при мысли о собственной доброте.—Душа-человек,—спроси всякого, кто меня знает, какой человек Сергей Степанович!

Он вытаскивает носовой платок и громко сморкается.

— Да, парень, душа-человек, а должен такую собачью должность исполнять. Да вот, хоть теперь, прямо душа болит, когда смотрю на тебя. Ведь тебе давно спать пора!

Двугривенный скользит в руку Вани. Тяжело ступая, городовой удаляется.

Ваня считает деньги, гривенник, двугривенный, копейка, полтинник—мало еще.—Принеси пять целковых,—сказала ему

вчера вечером Настя.—Завтра нужно платить за квартиру. Тогда только тебе можно будет спать лечь.

Нет, нельзя еще домой идти. Настя будет ругаться. Не потому боится он ее, что она злая и бьет его, но она так страшно кричит, когда сердится, этого крика Ваня больше всего страшится. А когда он не приносит достаточно денег, она грозит сиротским домом, «где бьют и заставляют молиться по целым дням». Может-быть, она еще не вернулась домой, и ему придется ждать в темном коридоре.

Он зевает, продирает слипающиеся глаза.

Очи черные,
Очи страстные...

Одна струна обрывается с жалобным стоном. Это уж вторая сегодня. Теперь ему придется собрать больше пяти рублей. Надо ведь и струны купить, а они дорого стоят.

Маленькие закоченелые пальцы ударяют по оставшимся струнам, и еще жалобнее прежнего звучит аккомпанимент к пронзительным безнадежным звукам:

Знать в недобрый час
Я увидел вас.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Стол был уже накрыт. Толстая, коренастая «Mädchen für alles»*) спешно вытерла еще один стакан полотенцем довольно сомнительной чистоты, вздохнула, потерла закоченевшую ногу о ножку стула и пошла звать господ на обед. Вся семья сидела вокруг стола, освещенного керосиновой лампой (в маленьком восточно-прусском городке еще не было электричества). Госпожа Зельдер штопала чулки, трое старших детей—Фридрих, Густав и Ильза готовили уроки, маленькая Лена играла со своей куклой, учитель гимназии сидел перед кучей школьных тетрадей и, нахмурившись, читал письмо.

В комнате был спертый воздух, в котором чувствовалась пыль старой плюшевой мебели и поношенных шерстяных платьев. Из кухни врывался запах готовящегося кушанья. Лица были нахмурены, старшие дети работали неохотно, со скучающим видом, лицо фрау Зельдер было усталое и озабоченное, сам

*) Девушка, служащая «одной прислугой».

господин Зельдер был чем-то раздражен, и лишь бледное детское личико Лены было весело и довольно.

За столом было сначала всеобщее молчание. Когда у отца был такой раздраженный вид, было благоразумнее вести себя спокойно.

Наконец, он прервал молчание. Прочитав полученное письмо вторично, он заметил раздраженно-жестким скрипучим голосом:

— Маргарита скоро приезжает!

— Боже, теперь, зимою! А печка в гостиной не в порядке.

Лицо Фрау Зельдер стало еще более озабоченным.

— Да, и привозит с собой какого-то ребенка!

— Ребенка?

— Она, кажется, совсем помешалась, моя милая сестрица. Вот что получается, когда женщина вместо того, чтобы выйти замуж, бродит по свету да дает концерты. При этом она неизбежно должна терять всякое чувство приличия. Сиди прямо, Густав: немецкий мальчик не должен сгибаться. Я вам прочту письмо. Не стучите так, дети, приборами, вы мне мешаете!

Четыре пары любопытных детских глаз уставились на отца, когда он начал читать. Читал он тем неодобрительно насмешливым тоном, каким он обычно читал в классе плохие работы учеников, чтобы пристыдить их перед всем классом.

«Дорогие родные!

Мной овладела неожиданная тоска по маленьком старом гнездышке, и я скоро навещу вас. Надеюсь, что мой приезд не будет некстати. Перед своим от'ездом в Америку я охотно отдохну у вас и повидаю детей. На сей раз я приезжаю не одна: я привезу с собой маленького приемного сынка, для которого прошу у вас гостеприимства. Это маленький русский, которого я буквально подобрала на улице. Он пел и играл на балалайке, и мне кажется, что его можно учить музыке. Так как у этого бедняжки ни души родных, мне было очень легко его усыновить; впрочем, при помощи рубля в России все налаживается. Иван у меня уже четыре месяца и почти все понимает по-немецки; он удивительно умный ребенок, и это особенно приятное разнообразие иметь хоть раз около себя человеческое существо, не стремящееся ни обмануть, ни использовать тебя.

Я, по всей вероятности, буду у вас в первых числах декабря.

Сердечный привет вам и детям.

Ваша сестра Маргарита».

— Русский мальчик!—радостно воскликнула Лена.—Как это весело! Интересно, какой у него вид?

Фрау Зельдер вздохнула:—Твоя сестра действительно странная. Разве ей недостаточно наших детей? Бог знает, откуда этот ребенок.

Учитель гимназии положил себе картофелю и принялся ожесточенно есть. Спустя несколько минут он заметил:

— Если б это была, по крайней мере, девочка, из нее можно было бы сделать прислугу. Русская прислуга особенно верна и предана. Но мальчик! Конечно, Маргарита была всегда и во всем такая неуравновешенная. Такова же и ее страсть к музыке. Умеренность, ничего лишнего, трезвость во всем,—вот основы жизни.

Дети переглянулись. Они хорошо знали эту отцовскую мудрость: изо дня в день они ее слышали. В кругу своей семьи господин Зельдер говорил всегда афоризмами; это, чувствовал он, его отцовский долг. «Я» господина Зельдера было тщательно подразделено на части. На первом месте стоял «верноподданный», благоговейный почитатель его величества кайзера. Чувство это, как ватой, было заботливо окутано безусловной, не рассуждающей преданностью. Затем—«немец», это было чувство, как жидкость, разлитое во всем его человеческом существе, укрепляя его в уверенности, что он принадлежит к единственно достойной нации, к народу, призванному властвовать, этически возвышенному, отлитому из стали и железа. Сюда отчасти принадлежал и «христианин-лютеранин», верующий в «нашего» бога, бога, представляющего как бы частную собственность немецкого народа, с милостивой улыбкой взирающего на него и на его монарший дом, нечто вроде преображенного Барбароссы, который считал бы себя несчастным, если бы имел мягко-сантиментального сына, неспособного монарха, заискивающего перед массой.

«Учитель гимназии» тоже представлял немаловажную часть души господина Зельдера, по крайней мере, одну из приятнейших, являющуюся ценным дополнением к «верноподданному», так как в ней заключалась и сила, и власть, и авторитет, частица кайзера, частица бога. Кроме того, имелся еще «отец», а последняя, наименьшая часть представляла «супруга». Когда ему приходилось подкрепить какое-нибудь положение, господин Зельдер никогда не говорил: «я», а всегда: «я, как верный подданный

его величества», или «я, как учитель гимназии», или «я, как настоящий немец».

Во всеоружии этих свойств своего «я» поддерживал он строгую дисциплину в своем доме. Жена его, измученная и озлобленная вечными денежными заботами, полная благоговейного преклонения перед знаниями мужа, казавшимися необ'ятными ей при ее скудном ограниченном образовании, с первого же дня своей супружеской жизни вся покорилась его воле. Не осмеливались противоречить отцу и трое старших детей.

Лишь младшая, маленькая Лена, причиняла ему много забот. Он не видел в ней «истинно немецких» черт. Уже одни своевольные темные глаза и упрямые черные локоны плохо гармонировали со всей белокурой, прямоволосой семьей. Кроме того, у этой восьмилетней девчурки уже проявлялась плохая (в минуты гнева господин Зельдер говорил даже «проклятая») привычка ничего не принимать на веру из поучительных афоризмов отца; на упрямых детских устах появлялось вечное «но», а вопросы ребенка часто приводили господина Зельдера в исступление. И теперь нарушила она мирную семейную гармонию, выразившуюся в почти враждебном настроении против Маргариты Зельдер и чужого ребенка. Мать огорченно думает:—Как досадно, что детям придется иметь дело с этим приблудным мальчишкой. Бог знает, откуда он происходит, как он воспитан, какое влияние он может иметь на них. Уличный ребенок!

А маленькая Лена в это время восторженно воскликнула:

— Наконец-то что-нибудь новое!.. Нашу семью я уж так хорошо знаю, мне уж все надоели. Я так буду рада этому русскому мальчику. Я его буду очень любить!

— Елена!

«Отец», «учитель гимназии», «немец»—все заключалось в тоне этого окрика.—Благонравное дитя раньше и прежде всего любит своих родителей, братьев и сестер, затем своих соплеменников. В отношении чужих это чувство неуместно.

— А почему?

Это несносное детское «почему?» Здесь уже приходится призвать на помощь религию.

— Потому что богу угодно, чтобы мы любили наших ближних, которых он нам дал, которые окружают нас.

— Значит нужно любить только свою семью?—последовало вопросительное заключение:

— Да, главным образом!

— А богу угодно лишь то, что хорошо,—продолжала девочка.

Изумленно смотрел почтенный учитель на маленькую девочку:—Ну, да, понятно.

— А сегодня только я учила в Библии: и бог любил весь свет. А свет ведь не семья бога.

— Это совсем другое. Главное, не говори слишком много.— И, обращаясь к своей жене, господин Зельдер прибавил раздраженно:

— Ты бы лучше выбирала для детей места из Библии, Анни.

— Но, папа!

— Молчи, Елена!

Маленький красный язычок высунулся быстро—и к счастью незамеченно,—и непокорный голосок пробормотал негромко:

— Когда ты чего-нибудь не знаешь, я всегда должна молчать!

После ужина Лена вскарабкалась на колени матери.—Мамочка, что значит неуравновешенный?

Не понимая, фрау Зельдер удивленно посмотрела на свою младшую дочь.—Что хочешь ты сказать, Ленхен?

— Папа сказал за столом, что тетя Маргарита неуравновешенная. Это наверно что-то очень хорошее, потому что тетя Маргарита такая милая и добрая. Когда я выросту большая, я тоже буду неуравновешенная!

Фрау Зельдер беспомощно вздохнула. Она не осмелилась позвать на помощь мужа, который в это время со свирепым видом испещрял красными чернилами школьные тетради.

— Пора спать, Ленхен.

Она уложила девочку в кроватку.

Когда она потушила свет и стояла уже на пороге комнаты, в темноте раздался голос Лены:

— Мамочка, а почему...

Фрау Зельдер спешно вышла из комнаты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Тетя Маргарита приехала. Она внесла с собой струю свежего воздуха и луч света, который обеспокоил строго уравновешенный дом, внес раздражение в среду взрослых членов семьи и вызвал изумление у детей.

Ее взгляды, весь уклад ее жизни выводили из себя ее брата, беспрестанно задававшего себе вопрос, каким образом эта «сумасбродная женщина» может быть его сестрой? Но каждый раз, когда с его уст готово было сорваться слово раздражения, гневное возражение, он во-время вспоминал просьбу своей жены: «Вильгельм, старайся ладить с Маргаритой. Ты же знаешь, как она щедра, и теперь, когда Фридрих вот в будущем году должен поступить на службу... Ее концерты ведь столько вносят»...

И со вздохом проглатывал почтенный учитель рвавшееся с языка выражение его справедливого гнева и кисло улыбался.

Какое-то неясное возбуждение овладело и детьми. Пятнадцатилетняя Ильза с явной завистью рассматривала элегантные туалеты тетки и, несмотря на то, что эта непривычная роскошь ей несколько претила, тайком прокрадывалась в комнату тетки, покрывала себе щеки перед зеркалом слоем розовой пудры, обводила черным карандашем свои светлые брови, обливала духами свой носовой платок.

Фридрих казавшийся себе, благодаря своим восемьнадцати годам, совсем взрослым, важно пытался изобразить перед тетей Маргаритой человека умудренного житейским опытом, но, добродушно осмеянный ею, принял по отношению к ней определенно отрицательную позицию. Оба младших же без боя перешли в противоположный стан. Густав, всегда жадно набрасывающийся на лакомства, не устоял перед соблазном конфект, которые тетя Маргарита так щедро раздавала и, как истый сибарит, с наслаждением разваливался после школьной усталости на бесчисленных шелковых подушках, отнявших у дивана его обычную пуританскую жесткость. В школе же он не переставал хвастать своей «знаменитой» родственницей. Что же касается до Лены, то ее совсем нельзя было оторвать от тетки. Все в тете Маргарите казалось ей сказкой, воплощенной в жизнь, блаженно цеплялась она за единственного человека, который, по-видимому, имел ответ на каждое «почему» и который так захватывающе интересно рассказывал о большом неведомом мире.

Ваня чувствовал себя очень неуютно, хоть он и понимал слова, ударявшиеся в его ухо, но все окружающее казалось ему чуждым и угнетающим. Высокий светловолосый господин со скрипящим голосом внушал ему страх, женщина, которая его так настойчиво расспрашивала о его родителях, ставила его в затруднительное положение.

— Кто был твой отец?

— Не знаю. Он был за черными стенами.

— За черными стенами?—фрау Зельдер с недоумением уставилась на мальчика.

— Да, злые люди его посадили в тюрьму.

Багровый румянец залил бледное лицо фрау Зельдер.

— В тюрьму?—И с ужасом подумала:

«Преступник! В нашем честном доме дитя преступника!» И не ожидая уж ничего хорошего, она продолжала допрос:

— А чем вас содержала мать?

— Мамочка? Не знаю. Сначала мы жили в красивом доме, а потом...

Маргарита Зельдер пришла ему на помощь:

— Оставь ребенка в покое, Анни! Расспрашивала я тебя когда-нибудь о твоих родителях?

— Маргарита!..

Негодование резко звучало в голосе фрау Зельдер:—Это же совсем другое дело!—Ты же знаешь, что мой покойный отец был пастором, а мой дед консисториальный советник...

— А твой прадед опять пастор и так далее до самого Адама, я знаю!—Маргарита нетерпеливо забарабанила пальцами по столу, свет заиграл на ее бриллиантовом кольце, и вид этот дал силы фрау Зельдер проглотить раздраженный ответ и ограничиться лишь тяжелым вздохом.

Уже в первый вечер Ваня—при всей своей невинности—возбудил всеобщее негодование. Господин Зельдер ежедневно устраивал вечернюю молитву; утром он не находил для этого времени; может быть, при дневном свете он считал себя в безопасности и без покровительства бога; ночью же, в жуткой темноте, хорошо было иметь всемогущего союзника.

Вся семья стояла вокруг обеденного стола, а господин Зельдер монотонно читал монотонным голосом псалом. Затем он сказал: — Довольно, помолились.

Ваня, понявший лишь последние слова, набожно перекрестился. Строгие взгляды смерили его. Густав и Лена захихикали.

После молитвы господин Зельдер заметил строго:

— Иван, ты здесь в христианском доме и должен отвыкнуть от таких фокусов. Это глупые суеверия, понимаешь!*)

---

*) Так относятся к внешним формам православной молитвы лютеране, составляющие большинство населения в Германии.

Ваня, ничего не понимая, боязливо прижался к Маргарите:

— Что же я сделал плохого?

Она погладила темные локоны:—Не нужно креститься, Ваня, это оскорбляет бога моего брата.

И, повернувшись к господину Зельдеру, она насмешливо прибавила вполголоса:

— Какие у вас смешные божки, мои милые люди.

— Маргарита!

* * *

И на следующий день Ваня без всякого злого намерения оскорбил самые святые чувства семьи. Он стоял в зале и рассматривал два больших раскрашенных портрета, висевших над диваном: они изображали господина с закрученными вверх усами и даму, обвешенную жемчугом. Он спросил Лену, к которой возымел полное доверие:—Кто эти противные люди? Этот мужчина похож на городового на нашей улице.

Мгновение царила гробовая тишина; потом Маргарита звонко расхохоталась, а Фридрих с бешенством воскликнул:

— Проклятое русское отродье!

Господин Зельдер заговорил дрожащим от гнева голосом:

— Иван, ты никогда не должен этого говорить. Эти портреты изображают наших высокопоставленных государя и государыню, о которых ты должен говорить с благоговением.

И, снисходя к невежеству этого чужого ребенка, он прибавил в виде об'яснения более кротким тоном:

— Эти портреты для нас, немцев, так же дороги и достойны почитания, как для вас, русских, портреты царя и царицы.

Лена утащила Ваню в детскую.

— Расскажи мне что-нибудь о России.

Но Ваня ничего не сумел рассказать.

— Нравится тебе у нас?—спросила девочка.

— Нет.

— Мне тоже нет. Когда я буду большая, я уеду отсюда и никогда больше не приеду.—А почему тебе не нравится?

Ваня не находил выражения своим чувствам, наконец он сказал:

— Твой папа всегда говорит: ты не должен. А что у вас можно делать?

— Ничего, только слушаться и молчать. А твои родители тоже такие были?

— О, нет, мамочка была милая и добрая.

И чувство безграничной покинутости внезапно осветило мальчика. Слезы выступили у него на глазах, он горько заплакал.

Лена крепко обхватила его ручонками.—Не плачь, Ваня, я всегда буду на твоей стороне, а когда мы вырастем, мы убежим в Россию, где не все всегда запрещено, и где люди добрые.

— Долго еще останется у нас твоя сестра?—спросила фрау Зельдер мужа, ложась спать. Она только что заплела свои волосы в косу и, закутанная в теплый бумазейный капот, обутая в мягкие войлочные туфли, сидела на краю кровати.—С тех пор как она здесь, с Густавом и Леной сладу нет. И, кроме того, она так бросается в глаза своим туалетом. Еще сегодня меня спросила докторша, кто эта «такая элегантная дама», что живет у нас. Затем, когда она репетирует свои упражнения, она поет всегда эти бесстыдные, страстные любовные песни. Что может думать Ильза, когда она слышит такие слова? Я просила Маргариту не петь этих песен. Знаешь, что она мне ответила? «Господи, какая у вас испорченная фантазия!»

Господин Зельдер чистил ногти своим перочинным ножиком и был слишком углублен в это занятие, чтобы ответить.

Жена продолжала:

— Разве она ничего не говорила о своем от‘езде.

— Нет, но она намекнула, что она готова нам оказать финансовую поддержку, для того, чтобы Фридрих мог служить в хорошем полку.

— Она, видно, много заработала за последние годы.

— Поразительно, как люди много тратятся, чтобы слышать пение. Мне церковный хор доставляет куда больше удовольствия, чем пение Маргариты. Конечно, если она нам хочет помочь... Мы должны быть добры с ней, Вильгельм, ведь она твоя сестра, наконец... И возможно, что пребывание в христианском немецком доме окажет на нее хорошее влияние.

Господин Зельдер лег в кровать.—Поговори ты с ней как-нибудь о Фридрихе, так мимоходом.

— Хорошо...—глаза фрау Зельдер загорелись.

— Когда я представлю себе, Вильгельм, нашего мальчика в мундире. Он такой стройный, такой дельный. Он на военной службе далеко пойдет.

— О, конечно, не теперь, а если опять будет война, тогда...

Фрау Зельдер утвердительно кивнула головой, господин Зельдер потушил свет.

— Сегодня граф Штромвиц говорил со мной, он очень любезный господин. Его сын переходит после рождественских каникул в мой класс. Он в возрасте Густава. Хорошо было бы если бы он с ним подружился. Граф был очень мил: такой знатный человек, с рыцарскими манерами, удивительно молодцеватый. О, да, нашей аристократией мы можем гордиться.

— Я тоже в пансионе дружила с одной графиней, Вильгельм. Я всегда за нее делала арифметические задачи. Мы даже были на «ты». Ты же знаешь, Вильгельм, у меня даже ее фотография есть, и...

Но Вильгельм слышал этот рассказ по крайней мере в сотый раз. Он повернулся лицом к стене и захрапел.

* * *

Дети легли уже спать. Супруги Зельдеры сидели с Маргаритой в гостинной.

— Итак, дело сделано. Мой маленький Ваня остается у вас. Вы будете его воспитывать, как своих собственных детей. Конечно, все расходы я вам возвращу, и за это я устрою Фридриха в хорошем полку.

Красные пятна выступили на щеках фрау Зельдер. Она совсем не была согласна на пребывание «русского мальчика» в их доме, но, с другой стороны—соображения о Фридрихе удерживали ее от отказа.

— Надеюсь, милая сестра, ты понимаешь, какую большую жертву приносит тебе наша преданность, если мы соглашаемся принять к себе это чужое дитя.

— Жертву?—голос Маргариты звучал далеко недружелюбно.—Но, ведь, наконец, вы этого не делаете даром.

Господин Зельдер сделал вид, что не слышал этого неделикатного возражения.

— Можешь быть уверена, что Иван будет пользоваться всеми преимуществами воспитания, какое получают и наши дети. Я сделаю все, от меня зависящее, чтобы воспитать в нем настоящего немца.

— Сделай лучше из него человека. Это тебе, конечно, будет труднее.

— Маргарита!—волнение прорывалось в голосе господина Зельдера.—Я вижу с глубокой грустью, как тебя испортила твоя космополитическая жизнь. Ты как будто потеряла всякое чувство к родине. Не забывай там, в большом свете, что в жилах твоих течет немецкая кровь.

Маргарита рассмеялась.

— Мне достаточно труда стоит, чтобы побороть в себе эту немецкую кровь, Вильгельм, эту заносчивость, эту мелочность, чтобы избавиться от них.

Ее насмешливое лицо смягчилось. Она обратилась к золовке:

— Анни, я знаю, какая ты хорошая мать. Найди и для чужого сиротки уголок в своем сердце, полюби его.

— Я исполню свой христианский долг по отношению к нему

Маргарита вздрогнула.

— Бедный Иван. Я бы его лучше с собой забрала,—подумала она. Затем, обратившись к брату кончила:

— Итак, это дело улажено. После завтра я еду в Гамбург.

У фрау Зельдер было еще что то на душе.—Тебе не будет неприятно, Маргарита, если мы этого мальчика будем называть Иоганном? Иван звучит так чуждо, так язычески.

— О, пожалуйста, если тебе это больше нравится. Может быть, в твоем сердце найдется немного больше любви для Иоганна, чем для Ивана, ты... ты... немецкая душа!

На другой день Густав радостно сообщил Ване, что отныне его зовут «Иоганном» и что он уже больше не русский, а немец.

Ваня отнесся безучастно к этой новости. Мысль остаться у этих чужих людей без Маргариты так угнетала его, что все остальное его не трогало. Зато Лена топнула сердито ножкой и закричала вся в слезах:

— Это ужасно. Теперь они и его хотят сделать таким, как все другие. Не позволяй этого, Иван!

— Иоганн,—поправил Густав ухмыляясь.—Ведь это безразлично,—грустно размышлял Ваня, зовут ли меня Иваном или Иоганном.—Не знаю,—прибавил он задумчиво,—порой мне кажется, что когда-то давно меня еще как-то называли; но я никак не могу вспомнить.

* * *

Куда девается увядшая листва осени, куда уносятся быстро мчащиеся годы детства? Исчезают ли они бесследно в мирах,

распыленные и рассеянные, скопляются ли они, как снежные глыбы в лавину, чтобы потом, как тяжелое бремя тяготить усталые плечи, или подобны они чудесному цветку, который нуждается в бесчисленных годах дождя и солнца, зноя и мороза, чтобы расцвесть в полном великолепии?

Как туманные образы, проносятся детские годы, скользят, как будто бесследно, по молодым душам; по временам, однако, какой-нибудь яркий луч, какой-нибудь образ, или черные тени сгущаются в определенные фигуры, которые застревают в памяти.

Из маленького, вечно испуганного Вани, которого странная судьба забросила в немецкую среду, вырос теперь длинный, худой, четырнадцатилетний Иоганн. Когда он пытался вспомнить долгие семь лет, проведенные им в маленьком восточно-прусском городке, они сливались в его памяти—серые и бесцветные, монотонные и скучные; лишь некоторые обстоятельства, отдельные моменты ярко вздымаются на бесцветном фоне.

Тяжелая беспомощная грусть, когда он после от'езда Маргариты Зельдер остался один среди чужих; тягостные придирки в воспитании взрослых, злостные поддразниванья старших детей. Все это оставило в его душе тяжелые следы; лучше голод и холод, лучше по ночам петь на улицах, чем эти отвратительные дни, где все строго размерено, каждый час точно определен и подразделен. И никогда ни одного нежного слова, ни одной ласки, лишь утром и вечером тот же поцелуй фрау Зельдер, входящий в расписание дня, как кушанье или воскресная прогулка. Его единственным утешением была Лена; отчасти из духа противоречия, отчасти из бессознательной детской доброты девочка привязалась к одинокому мальчику, защищала его от нападок братьев и сестер, помогала ему в его школьных работах, оставляла своих подруг для него.

А затем наступила школа, тесные классы, несносная близость чужих тел, дисциплина, бесконечные, скучные часы ученья.

— А ведь это совсем не должно быть скучно,—жаловался он Лене.—Ведь так интересно знать, как люди жили раньше, как все стало так, как теперь. А этого нам учитель не рассказывает. Одни только годы, да короли, да императоры, да сраженья. А почему они так хвалят войну? Разве это хорошо и справедливо убивать людей?

Больше всего мирился он с уроками катехизиса. Что-то родственное звучало ему в Ветхом Завете. Иерусалим, Сион,— странно доверчивая музыка звучала в этих словах, отзвуки далекой родины. И как раз на одном из этих уроков произошел инцидент, благодаря которому ему пришлось услышать много злых слов, но который зато по странной случайности неожиданно доставил ему друга.

Ему было тогда десять лет и, как один из лучших учеников, он сидел на первой скамейке. Возле него сидел дворянский сынок Эвальд Бранкен, дерзкий мальчик и отчаянный драчун. Старик пастор говорил о распятии Христа и о том, как толпа издевалась над распятым. Старик говорил со всем чувством теплой детской веры, и Иоганн был сильно взволнован. И вдруг возле него раздался голос Эвальда:

— Господин пастор, почему мы не перебьем этих вонючих жидов? Мой отец тоже говорит, что их нужно всех перерезать.

Безумная, ему самому непонятная ярость овладела Иоганном. Он размахнулся и изо всей силы ударил товарища по лицу.

По окончании урока старый пастор задержал его в классе; добрые, выцветшие старые глаза пытливо рассматривали все еще пылавшее гневом лицо мальчика.

— Что можешь сказать ты в свое оправдание, Иоганн?

Иоганн опустил голову.

— Почему ты побил Эвальда?

Без раскаяния, без сознания своей вины, лишь растерянно и почти испуганно смотрел мальчик на старика.

— Не знаю, господин пастор.

— Тебе разве не жалко?—почти просительно звучал вопрос.

— Нет, господин пастор. То-есть, мне жалко, что это произошло во время вашего урока, но я бы вторично так сделал, если бы кто-нибудь так говорил о евреях. Я этого не могу перенести; я не знаю почему.

— Есть ли у тебя евреи друзья, которые тебе очень дороги?

— Нет, господин пастор.

— А когда ты был маленький, не вырос ли ты у евреев?

— Нет, господин пастор, когда мамочка умерла, ее хоронил поп.

Старик долго смотрел испытующе на мальчика.

— Не знаю, что тебя толкнуло на такой поступок, сын мой. Одному только Богу известно, что двигало тобой. Поэтому я не хочу тебя наказывать, тем более, что и товарищ твой был неправ. Одно только помни, дитя, побоями никого нельзя ни в чем убедить.

Господин Зельдер, очевидно, не разделял этого мнения. Узнав о происшедшем, он попытался самым энергичным образом побоями убедить Иоганна, а фрау Зельдер щедро осыпала его злыми словами.

— Зачем ты это сделал?—спросила Лена, когда Иоганн с болезненно-искаженным лицом осторожно садился в детской возле нее на диван.

— Не знаю, Ленхен, я сам себя спрашиваю, что со мной было, но я готов был его убить, когда он это сказал.

— Он наверное захочет с тобой рассчитаться. Но пусть он только попробует. Я ему глаза выцарапаю.

Странно, но после этого инцидента пастор стал с Иоганном добрее прежнего. С своей стороны в угоду старику Иоганн учился с удвоенным старанием. Однако, с этого времени уроки катехизиса стали ему неприятны, он сам не знал, почему. Ученики его класса готовились к причастию. Большинство оставалось совершенно безучастным, немногие впадали в какую-то религиозную мечтательность. У Иоганна все время было такое чувство, какъ если-б он стоял в стороне, какъ еслиб какая-то непреодолимая сила внезапно оттолкнула его от товарищей и от доброго старого учителя. С ужасом думал он о том дне, когда с алтаря ему будет протянут кубок. Слова: «возьмите это и пейте, ибо се есть моя кровь» возбуждали в нем какое-то отвращение.

Однажды он подошел к пастору и заявил ему, что он не может итти к причастию.

И как в тот день, когда он бил товарища, старик спросил его: —Почему?

И как в тот день, Иоганн ответил:

— Не знаю, господин пастор.

— Разве ты не любишь Христа, Иоганн?

— О, да, господин пастор, но... как-то иначе, чем вы.

Старый пастор задумался. Он знал, какие неприятные последствия для Иоганна может повести за собой его отказ от причастия. Он слишком хорошо знал господина Зельдера и

его ханжескую набожность. И почему как раз он, лучший его ученик, хочет уклониться от этого священного акта? Не прочел ли он каких-нибудь атеистических книг, не потерял ли он веру?

— Скажи мне подробно, что тебя мучает, дитя мое.

Мальчик покраснел. Слезы выступили у него на глазах. Он колебался, не желая огорчить учителя. Наконец, он пробормотал:

— Эти слова: «се есть кровь моя». Я не могу, мне противно.

Старый пастор печально посмотрел на него.

— Думай лучше о других словах: «Делайте это в воспоминанье обо мне». Если ты Христа не почитаешь богом, неужели ты не хочешь сделать чего-нибудь в память о благородном, добром человеке и таким образом выразить свое участие к нему?—А когда и эти слова еще не подействовали, он с детской хитростью прибегнул к другому средству:

— Сделай это для меня, мой мальчик.

Иоганн подчинился. Когда он, однако, после причастия сидел дома за столом, он не мог проглотить ни одного куска и к величайшему стыду своему, неожиданно разразившись слезами, торопливо ушел из комнаты.

Фрау Зельдер расчувствованно вытерла глаза. Она думала, что мальчик умилен обрядом причастия: милость Господня коснулась его.

— Да,—с достоинством думал учитель гимназии,—истинный чисто христианский немецкий дом влияет облагораживающе. Когда я только подумаю, что этот мальчик мог остаться русским и язычником...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— Иди сюда, Иоганн, я тебе покажу что-то,—Лена потащила его за руку на чердак. Здесь, за старым хламом, сундуками и ящиками, они оба устроили себе комнатку. Старый ящик служил столом. Лена тайком вытащила немного перьев из подушек и сделала из старых платьев две великолепных подушки, которые им служили стульями. В маленьком ящике хранилось несколько любимых книг, яблоки и груши. Это маленькое пространство называлось у них «наш дом», и это было единственное место, где они себя чувствовали действительно уютно.

Глаза Лены сверкали, щеки пылали.

— Теперь я знаю, зачем живут, что нужно делать со своею жизнью!—горячо воскликнула она.

— Какое открытие сделала ты?

Она порылась в ящике и вытащила книгу.—Вот это ты должен прочесть. Это священней библии.

Иоганн бросил взгляд на книгу.

— «Подпольная Россия»—Степняка. Вот что!.. Это я знаю.

Он снисходительно улыбнулся. Несмотря на то, что он был на два года моложе девушки, его более спокойный темпера-



— Вот это ты должен прочесть: это священней библии.

мент давал ему некоторые преимущества над экспансивной подвижной, как ртуть, подругой.

— Ты это знаешь и никогда мне не рассказывал об этом. Какой ты плохой друг!

— Откуда у тебя эта книга?

Она лукаво засмеялась.

— От зубного врача.

— От зубного врача?

— Да, на прошлой неделе мне пришлось долго ждать; пациент, который до меня вошел к нему, оставил эту книжку

на столе в приемной. Я начала читать. А когда он вышел от врача, я его совершенно просто спросила, можно ли мне взять эту книгу и прочесть? Он тебя знает по школе и сказал, что ты сумеешь ее принести ему.

Иоганн утвердительно кивнул.

— И ты вот так обратилась к совершенно чужому человеку?

— Но ведь мне было необходимо прочесть эту книгу до конца, а он был очень любезен. И кроме того, я ведь его знаю, я его видала в писчебумажном магазине его отца. Он обещал дать еще книги.

Иоганн засмеялся.—Еслиб твой отец знал, что ты одалживаешь книги у сына старого Менделя Зильберблята!

— Мой отец...—Остаток дочернего чувства не позволил Лене произнести напрашивавшееся слово «осел». Отношения между учителем гимназии и его младшей дочерью в последние годы все больше обострялись. Критическое чувство Лены не останавливалось ни перед каким авторитетом. Она снова обратилась к книге:

— Иоганн, можешь ты себе представить, что существуют такие люди, такие самоотверженные, такие мужественные! А какой бедный этот русский народ! Слушай, нужно непременно итти в Россию—помочь ему.

— Зачем итти в Россию? Неужели ты думаешь, что наш народ не нуждается в помощи. Разве рабочие графа Штромвица менее порабощены, чем русские крестьяне?

Она широко открытыми глазами посмотрела на него.

— Это мне никогда в голову не приходило. Иоганн, почему ты мне никогда не говоришь о таких вещах?

— Ты ведь девушка,—возразил он в свое оправдание.

— А разве русские женщины не жертвовали собой для народа. Какое это оправдание?

Иоганн поколебался, наконец он сказал:

— Видишь ли, Ленхен, я уж давно думаю об этих вещах. и... и они для меня что-то священное. Я боялся, ты их не поймешь, ты будешь над ними смеяться, а мне это было бы больно.

— Разве я — Ильза, которая думает только о замужестве, или Густав со своими вечным микроскопом. Я ведь человек, я уже не дитя.

Он задумчиво посмотрел на нее: она была маленькая и хрупкая, с порывистыми нервными движениями. Слова, в детстве

сказанные ею матери: «Когда я буду большая, я буду неуравновешенная», как будто осуществились.

Достопочтенная трезвость, в строгих границах сдержанный, лишь для особо торжественных случаев приберегаемый, энтузиазм родительского дома были ей чужды. Она с неудержимой силой отдавалась всякому впечатлению, ненавидела и любила, поклонялась или презирала всеми силами юной души. За коротким периодом религиозного энтузиазма, который она переживала в течении некоторого времени, последовала какая-то пустота. Она щупала, искала чего-нибудь, что могло бы дать смысл жизни, не зная хорошо, к чему она, собственно, стремилась.

— Слушай!—пальцы ее любовно гладили книгу, лежавшую на ее коленях.—Этот Анатоль Зильберблят, верит ли он тоже во все это?

— Конечно. Ведь это от него я знаю все, что знаю. Мы часто об этом говорили. Он мне одалживает книги.

— Откуда же такие мысли?

— Я его тоже спрашивал об этом. Он думает это оттого, что он еврей, а так как евреи всегда были порабощены и угнетены, то они лучше понимали бедных и угнетенных.

Лена молчала. Она вытащила из заветного ящика яблоко и задумчиво грызла его. Внезапно ей пришла какая-то мысль.

— Иоганн, мы должны заключить союз.

— Союз?

Она выбросила в окно остаток яблока.

— Да. Ты, я и Анатоль; мы должны поклясться жить за народ, освободить его. Мы должны тайно собраться и поклясться на евангелии.

— Это не годится, ты дурочка. Ведь он не верит в евангелие.

Она посмотрела на него пораженная.—Это правда. Что же тогда делать? Разве ничего нет такого, что было бы свято неверующим.

Иоганн задумался. Вопрос Лены открыл перед ним новые горизонты. Ведь должно же что-нибудь существовать, что охватывает людей всех народов, рас и вер, что для них является чем-то, вроде распятия, евангелия христиан.

Слова Лены прервали его размышления.—Если стремишься к хорошему, то ведь безразлично, еврей ли ты или христианин,

немец или русский. Должно существовать нечто такое, что стоит над всем этим, что всех людей об'единяет.

Иоганн все еще выжидательно молчал. Его молчаливость часто приводила Лену в отчаяние. Она не любила долгих размышлений и обдумываний. Она требовала ответа, на все свои вопросы, быстрого, как молния.

— Иоганн,— настаивала она,—ведь должно же быть что-то.

В его мозгу блеснуло решение вопроса.—Да, ведь Анатоль мне говорил об этом! Я только не сообразил сразу. Ты столько болтаешь, что это меня запутывает. Помнишь, Ленхен, как твой отец недавно ругал за столом «Интернационал», как он называл всех членов его предателями, безродными бродягами.

Лена пожала плечами.

— Папа вечно ругается. Но какое это имеет отношение к нашему вопросу. Почему ты об этом теперь заговорил?

— Потому, что «Интернационал» это именно то, что может обхватить всех людей, тот священный союз, в котором нет наций и религий. Анатоль тебе это лучше сумеет об'яснить.

— Хорошо. Скажи ему, в чем дело. В воскресенье все наши отправляются в экскурсию. Меня не берут, потому что я недавно была груба с этой глупой обезьяной, женихом Ильзы, а ты скажи, что тебе надо заниматься. И тогда ты приведешь Анатоля в «наш дом» и мы заключим союз, и поклянемся на «Интернационале».

* * *

Густав оторвал от книги свои близорукие, водянисто-голубые глаза, когда Иоганн вошел в их общую комнату и спросил с участливой улыбкой:

— Что ты собственно натворил, Иоганн?

— Я?

— Да, ты. Отец кипит от гнева. Тебе уж хорошенько достанется.

— Да, но ведь... Я ничего ведь не сделал.

— Какое это у вас было сочинение на этой неделе? Отец прочел даже твое сочинение матери. Это он ведь делает, когда приходит в особую ярость. Сегодня у нас будет приятный обед.

За обедом царила ледяная тишина. Затем гроза разразилась.

— Поражаюсь, как ты еще смеешь смотреть мне в глаза, Иоганн,—начал учитель гимназии.

Иоганн молчал. Лена насторожилась.

— Я прочел твое сочинение и спрашиваю тебя, как ты осмеливаешься выставлять преступников и убийц, как героев?

— Я никогда этого не делал.

— Я даю вам тему о героях, разбираю ее с вами, даю вам, как точку опоры, несколько имен, как Фридрих Великий, Блюхер, Мольтке, Вильгельм I. И что же ты пишешь? Ты пишешь о героях «свободы», не упоминаешь при этом Арндта или Теодора Кернера, что могло бы еще сойти, тебе не угодно называть немецкие имена. Твоя мудрость должна отправиться в Россию. И каких же людей ты избираешь в герои? Революционеров, вожаков, подлых негодяев, которые осмелились восстать против своего монарха! И не достаточно еще того, что ты берешь такие примеры из первой половины девятнадцатого века, нет, ты идешь дальше, ты осмеливаешься этих негодных мерзавцев, которые теперь производят в России революцию, которые грозят жизни царя, друга и родственника нашего всемилостивого кайзера, ты осмеливаешься их называть героями, друзьями человечества.

— Но...

— Молчи, ты вырос в лойяльном христианском доме, окруженный хорошими примерами. Я сам пытался сделать из тебя верного, честного гражданина. Твой брат носит мундир кайзера и скоро будет произведен в обер-лейтенанты, а ты... ты пишешь, как... как... социалист! Стыдись!

— Но...

— В этом доме ты ничего подобного не мог слышать, наши друзья, с которыми ты встречаешься, не убийцы и не грабители, «Deutshe Tageszeitung» («Немецкая газета»), которую я тебе разрешил читать (по доброте своей лишь, потому что мальчику твоих лет незачем знать, что происходит на свете),—«Немецкая газета» наверное никогда подобных взглядов не высказывала. Я ставлю себе вопрос, как это возможно, чтобы дитя нашего дома было так испорчено. Как это возможно?!

— Я...

— Молчи! Вот уж месяц, как ты возбуждаешь мое неудовольствие. Вечно я тебя вижу вместе с этим жиденком. Что общего между порядочным немецким юношей и жидом? Евреи— паразиты на теле нашего народа. Представляешь ты себе чтобы Фридрих или Густав имели дело с жидами?

Густав довольно ухмыльнулся и пробормотал:

— Почему бы и нет, если я могу от них чему-нибудь поучиться?

Отец не обратил внимания на эту реплику и продолжал.

— Твое сочинение показало мне, что все наши нежные заботы, все наши жертвы были напрасны. Ты не немец! Ты преклоняешься перед тем, что должно было бы возбуждать явное негодование, ты превозносишь то, что должен был бы осуждать. Ты пропащий суб'ект, бродяга, не наш!

Фрау Зельдер не сводила с мужа восхищенного взора: Как хорошо он говорит, почти как пастор!

Гнев господина Зельдера понемногу стихал. Он чувствовал в себе величие и мощь праведного судьи и это ублаготворяло его. Но тут произошел инцидент, который сызнова воспламенил его гнев.

Звонкий девичий голосок прокричал на весь стол:

— Нет, он, конечно, не ваш. Но и я нет, слава тебе, господи!

Фрау Зельдер с ужасом посмотрела на дочь. Ильза вся сжалась на своем стуле. Густав ухмылялся, уверенный в своей неприкосновенности.

— Елена!—Дальнейший поток речи застрял в горле учителя гимназии.

— Ни за какие блага в мире не хотела бы я быть вашей!—взволнованно продолжал гневный молодой голос.—Вы ничтожны и мелки. Вы преклоняетесь перед глупым кайзером и королями, да, они глупы и злы, а истинных героев вы презираете. Вы питаетесь кровью бедных, сосете ее, живете в роскоши и изяществе..

Учителю гимназии в пылу его гнева вдруг вспомнилось его скромное жалованье. С особенной убежденностью он вскричал:

— Молчи, Елена, это ложь!

Но дочь продолжала, не останавливаясь:

— Вы эксплоататоры, поработители пролетариата, прислужники князей. Наши порабощенные братья на востоке стремятся к свободе, а вы им в этом препятствуете, потому что вам жаль вашего неправдой нажитого добра!

Иоганн не мог сдержать улыбки. Лена была старательной ученицей. «Союз», конечно, издавал газету в трех экземплярах, чистенько переписанных, и Лена цитировала почти слово в слово передовую статью Анатоля Зильбербдята.

Учитель гимназии сидел окаменевший. Его д о ч ь! И откуда у нее эти выражения? Пролетариат, эксплоататоры, порабощенные братья на востоке? Он задыхался, и лишь, когда Лена, покончив с передовицей, вернулась к своему собственному лексикону и воскликнула: —Вы ужасные люди! Мне стыдно иметь таких родителей!—к нему вернулась способность речи, и он гневно приказал ей сейчас же оставить комнату. Она вышла, в виде последнего триумфа потянула за собой Иоганна и, гордо выпрямив свою маленькую фигурку, на пороге громко воскликнула:

— Идем, Иоганн, мы не принадлежим к капиталистам!

Все остались неподвижно на местах. Фрау Зельдер плакала. Ильза не осмеливалась поднять глаз. Густав пробормотал что то вроде:—У меня школьные сочинения!—и торопливо вышел из комнаты. Учитель гимназии большими шагами ходил взад и вперед по комнате. Наконец он остановился перед женой:

— Злой дух проник в наш дом, Анна. Нам необходимо строже следить за детьми. Я не могу понять, что случилось с Еленой.

Фрау Зельдер кивнула утвердительно, все еще плача. Взгляд ее упал на ноги мужа.

— Вильгельм, ты должен себе купить новые сапоги, в третий раз подметок не удастся положить.

Учитель посмотрел на свои изношенные ботинки.—Роскошь и излишества! Эксплоататоры, капиталисты!—с горечью воскликнул он, ударяя сжатыми кулаками по столу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ильза Зельдер сидела у стола и шила свое приданое. По временам она приподнимала левую руку и с сияющим лицом рассматривала гладкое золотое колечко, украшавшее ее палец. Лена шуршала книгой в углу кушетки и насмешливо посматривала на сестру.

— Итак через две недели мы, наконец, избавимся от тебя, наконец,—любезно заметила она.—Скажи, Ильза, почему ты, собственно, носишь траур по тете Маргарите?

Сестра посмотрела на нее с изумлением:—Но ведь полгода траура кончается лишь через десять дней!

— Ах, да, верно. Но ведь ты то собственно должна очень радоваться, что она умерла. Ведь без ее наследства твой Адольф никогда бы не женился на тебе.

— Но, Лена!..

— Что Лена? Разве я не знаю, что ты спокойно нас оставила бы умирать, лишь бы замуж выскочить. И что, собственно, тебе даст замужество?

— Этого ты не можешь понять, ты слишком молода для этого. Мы любим друг друга, и у нас будет уютный семейный очаг.

— А дальше?

— Что дальше?

— Ну, да, семейный очаг, это прекрасно. Но что ты будешь делать со своей жизнью? Что дашь ты жизни?

— Мои обязанности жены...

Лена засвистала сквозь зубы:—Каждый год ребенка, неправда ли?

— Лена, о таких вещах не говорят.

— О, нет, конечно, их только делают.

Она испытывающе посмотрела на сестру.

— Теперь ты еще довольно хорошенькая; через пять-шесть лет ты превратишься в толстую корову, как твоя подруга Кэт, или же станешь измученная и раздражительная, как наша бедная мама. А муж твой будет тебе читать вслух «Немецкую газету», а в день Седана или рождения кайзера приходить домой пьяным.

— Я запрещаю тебе говорить так об Адольфе.

— Твой Адольф! А почему он тебе сделал предложение лишь после вскрытия завещания тети Маргариты? О, это большая любовь!

— Ты вульгарна!

— Нет, я только не так глупа, как ты. Скажи, Ильза, неужели ты никогда не задумывалась о жизни?

— Я не понимаю тебя.

— Не думала ты о человеческом обществе и обо всем, чем мы ему обязаны?

— Ты не можешь сказать, Лена, что я забывала свои обязанности.

— О, нет. Ты была хорошей дочерью, будешь любящей женой и матерью, всегда будешь видеть лишь то, что перед

самым носом, и умрешь всеми почитаемая. Господи, если бы мне предстояло так жить, я бы лучше теперь же повесилась.

Старшая сестра пренебрежительно покачала головой.

— Какие тебе мысли в голову приходят!.. В этом виноват Иоганн со своими сумасбродными идеями. Теперь, когда ты останешься единственной дочерью в доме, это будет чувствоваться.

Лена вскочила.—Не говори об этом! Меня ужас охватывает при мысли сидеть дома, заниматься рукодельем и посещать кружки в кафе! А затем выскочить замуж за первого встречного для того только, чтобы только уйти отсюда. Если бы тетя Маргарита жила, я бы к ней ушла.

Фрау Зельдер вошла в комнату.

— Дети, что тут опять случилось? Чего ты так раскричалась, Лена? А я получила хорошую новость. Фридрих приезжает послезавтра.

— И это еще,—вполголоса пробормотала Лена и осторожно продвинулась к дверям.

— Куда идешь ты, Лена? Дождь идет.

— Мне нужно купить кое-что.

— Так захвати пуговиц и белого шелку. И причешись раньше. На кого ты похожа?

Холодный осенний день окутывал город безнадежным серым туманом. Крупные капли стекали с обнаженных деревьев, дома исчезали в тумане.

Лена торопливо шла по улице, враждебно рассматривая знакомые дома, прохожих. Все то же однообразие, бесцветное, скучное, мертвое. Неужели и она, как сестра, всю свою жизнь проведет в этом отвратительном городишке?

Перед писчебумажным магазином Зильберблята она просвистала первые звуки Интернационала—на верхнем этаже открылось окно, и темная голова посмотрела вниз.

— Идем гулять, Анатоль.

— В такую погоду?

— Да идем же!

Через несколько минут высокая, худощавая фигура Анатоля показалась в дверях магазина.

— С ума сошла ты, Лена? В такой дождь прогуливаться!

— Будь хорошим, Анатоль. Мне необходимо проветриться.

Широко и лениво неслись серые волны мощней реки; бесконечная равнина утопала в тумане, безграничная грусть тяготела над всем.

Лена молчала. Это случалось с ней так редко, что Анатоль почти озабоченно спросил:

— Что случилось опять, дитя?

Она взглянула на него полными слез глазами.

— Я этого не выдержу. Теперь, когда Ильза уйдет!.. Я ведь не переносила этого глупого существа, но она была полезна, потому что все внимание мамы было обращено на нее. А теперь я должна изображать маменькину дочь. А ты уезжаеш, в Берлин, и Иоганн в будущем году уходит из дому. Я лучше хотела бы умереть.

Он успокоительно похлопал ее по плечу.

— Сколько тебе лет, собственно?

— Семнадцать исполнилось.

— Да, тогда тебе нужно ждать еще четыре года, пока ты будешь свободна.

— Этого я не перенесу. Когда ты уезжаешь?

— На будущей неделе.

— И ты в самом деле хочешь стать журналистом?

— Да, но не рассказывай этого моему отцу. Он думает что я пойду на юридический.

— Анатоль?!

— Что?

— Знаешь, я ведь очень практична. Я даже умею готовить.

Он недоумело посмотрел на нее:—Возможно. Зачем ты мне это рассказываешь?

— Потому что...—она запнулась. Маленькое личико покрылось румянцем.—Анатоль, милый Анатоль, не женишься ли ты на мне?

— Ты совсем с ума сошла?

Она преодолела свое минутное смущение.

— Знаешь так, как русские студентки когда то... чтобы уйти из дому. Я тебе совсем мешать не буду. Пожалуйста, Анатоль, женись на мне.

Он засмеялся:—Нет, ты маленькая дурочка.

— Почему?



— Анатоль, милый Анатоль, не женишься ли ты на мне?

— Я не женюсь на христианке,—нелюбезно ответил он,— и затем это было бы смешно. В девятнадцать лет ведь не женятся. Но ради Бога, не плачь. Я ведь тебя не хотел огорчить.

Лена прислонилась к стволу дерева и горько плакала.

— Это называется дружба? Такого пустяка ты не можешь сделать для меня? А мы ведь поклялись быть всегда за одно!

Он стал серьезным. Это не был тон капризного ребенка. Измученная молодая душа рвалась на волю. Внезапная жалость овладела им. Он притянул ее к себе.—Не плачь, маленькая Лена, не теряй мужества! Когда для тебя будет работа, я приду за тобой.

— Наверное?

— Наверное!

* * *

Все сидели за свадебным обедом. Фрау Зельдер беспрестанно вытирала себе глаза. Учитель гимназии любезно болтал с матерью жениха, молодая парочка ворковала вдвоем, а Фридрих, обер-лейтенант теперь, ухаживал за своей новой золовкой.

— Хорошая партия,—говорила старая тетка фрау Зельдер директору гимназии.—Судебный ассессор и такой способный молодой человек.

— Да, он был, поверьте, славным студентом! Посмотрите-ка, сколько у него шрамов.

— Рассматривали ли вы когда нибудь, фрейлейн, глаз мухи под микроскопом?—спросил Густав свою соседку.—Это истинное произведение искусства.

Молодая девушка почти испуганно посмотрела на него.

— Нет, господин Зельдер.

— А теперь вы на очереди, фрейлейн Елена,—говорил шафер, элегантный молодой офицер.—Вы, однако, должны выйти замуж за офицера, уже хотя бы ради вашего брата.

— Я терпеть не могу офицеров,—резко вырвалось у нее, и, смутившись, она прибавила:—То есть я думаю, военщину вообще.

— Это ведь не может быть серьезно.

Иоганн сидел на конце стола около младшего брата жениха, студента. Он чувствовал себя одиноким и печальным. Как чужды были ему все эти люди, несмотря на долгие про-

веденные с ними вместе годы. Лишь маленькое капризное личико Лены доверчиво ободряло его.

— Что будете вы изучать?—спросил сосед.

— Медицину?—Смотрите, вступите в хорошую корпорацию. Я охотно окажу вам содействие.

— Спасибо. Я не вступаю ни в какую корпорацию.

— Как? Это вы должны сделать непременно, это ведь главное в студенческой жизни. Когда кончаете вы школу?

— В будущем году.

— Мы, конечно, будем встречаться в Берлине.

Учитель гимназии встал и поднял свой бокал. В хорошо заученной речи он произносил тост за своих гостей, выразив радость доверить свое дорогое дитя такому порядочному человеку. В то время, как все чокались, Лена пробралась незаметно к Иоганну.

— Давай, улизнем!—прошептала она.—Старый генерал провозгласит тост за кайзера, а я, конечно, не хочу пить за его здоровье.

— Ты дитя, Лена.

Она с упреком посмотрела на него.

— Нельзя итти на компромиссы. Идем, никто не заметит как мы выйдем.

Он последовал за нею.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Лучезарный солнечный день придал банальному восточно-прусскому городку какую то дивную, сияющую красоту. Розы и гвоздики ярко пылали в садах, колеблемые ветерком мальвы качали свои толстые головки. Празднично-чистые лилии целомудренно улыбались, вознося нежное благоухание к небесам. На изгородях цвел густой зарослью жасмин, и так тесно прижимался цветок к цветку, что еле видны были между ними зеленые листья.

За городом волнисто простирались бесконечные поля, безграничное золотистое море, из которого там и сям выделялись кроваво-красные островки мака или, как клочек неба, мелькали васильки. Праздничное благоухание поднималось из плодородной земли, все стремилось, толкало к завершению, к процветанию; все праздновало воскресенье, день солнца.

Волшебник-солнце проникало даже и в серые дома, и тесные каморки расширялись внезапно от врывающейся волны всепобеждающего света; на измученных тяжелой зимой лицах ложился праздник природы, в привыкших ко тьме глазах заиграли солнечные лучи.

Густав Зельдер укладывался; Лена и Иоганн помогали ему. Близорукие глаза Густава ищуще ощупывали комнату.

— Где моя синяя тетрадь, Лена, в которой мои заметки? Я ее должен взять с собой.

Сестра засмеялась:—Да перед самым носом твоим, слепой крот. Да поторопись, хочется на воздух.

— Сейчас, сейчас! А книга с таблицами? Я ее не вижу.

— Господи, надоел со своими книгами!

Густав заботливо укладывал книги, обертывая одну за другой в газетную бумагу и почти нежно укладывая их в сундук.

Наконец, все было готово.

— Вот,—с удовольствием произнес он,—теперь каждый из нас получит папиросу в награду, но отойди от окна, Лена, чтобы не видели тебя курящей.

Она уселась на запертом сундуке.

— Ты рад, Густав?

— Чему?

— Что уезжаешь.

— О, да. Здесь, конечно, приятно, спокойно работать. Но когда я подумаю об инструментах и лабораториях, которые имеются в Берлине!—Близорукие глаза засветились удовольствием.

— Да неужели ты и там будешь торчать над своими книгами?

— Конечно. А что же другого мне делать? Пусть меня только этот противный парень, шурин Ильзы, оставит в покое со своими корпорациями! И зачем только отец ему написал, что я еду в Берлин?

Лена засмеялась:

— Наивное дитя! Да для того, чтобы ты завел «хорошие» знакомства, вошел бы в «общество». В корпорации Адальберта почти одна лишь аристократия.

Густав беспомощно посмотрел на нее.

— А что мне собственно делать с этими людьми? Они ведь ничего не знают, играют, пьют, дерутся и...—он запинался, приискивая приличные для девичьего уха выражения,—и проводят время с женщинами. Лучше бы мне иметь рекомендации к профессорам.

— Разыщи Анатолия Зильберблята. Он попал в интересный круг,—заметил Иоганн.

— Не нужен мне ваш милый Анатоль. Нет, не потому, Лена, что он еврей. Незачем тебе смотреть на меня так свирепо. Я уважаю евреев. Они много дали в области науки; но эти господа с их лихорадкой человекоосчастливления мне несносны; они всюду кричат, думают своими речами достигнуть чудес, а в конце-концов все остается, как было. Что мне политика? Есть только одна истина на свете: наука!

— Но если ты пойдешь избирать, надо же тебе иметь какие-нибудь политические убеждения!

— Убеждения? Во-первых, я более чем вероятно никогда не буду избирать. Все это в общем мне в высшей степени безразлично. Но если я все-таки это сделаю, то я подам голос за того, от кого можно большего ожидать для науки.

— Как, даже социалиста?

— А почему бы и нет? Все эти партийные дела мне представляются ребячеством. Я знаю, Лена, что я тебя оскорбляю в твоих самых священных чувствах. Впрочем, одного социалиста для нашего почтенного консервативного дома достаточно.

Лена покраснела.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что я не так слеп, как вы все думаете, и великолепно знаю, почему первого мая моя сестрица уже в семь часов ушла спать из-за головной боли и просила, чтобы ее, ради Бога, не беспокоили. Думаешь ты, глупышка, что в этом городишке ты можешь ходить неузнаваемой на социал-демократические собрания?

Она посмотрела на него полуиспуганно, полувызывающе.

— Ты это скажешь отцу?

— А зачем? Каждый может делать, что ему хочется, и, между нами, отец со своим «Deutschland über Alles» еще более несносен, чем ты со своим пролетариатом. Я интернационалист, нет, не в таком смысле, как ты. Об'единение всех научных работников для требований науки. Впрочем, ты—интересный случай, Лена.

Предки—одни лишь пасторы да учителя, а последний продукт—дикая революционерка. Удивительная реакция, отражающая наверное какого-нибудь предка из каменного века. Надо было бы.

— Густав, тебе только девятнадцать лет. Неужели нет ничего, что могло бы тебя воспламенить?

Изумленный взгляд был ей ответом.

— Вот глупая! Да работа моя, конечно. Кроме того,—добрая улыбка осветила некрасивое лицо,—иногда еще и моя сестричка. Теперь только, уезжая, я начинаю замечать, что порядком таки люблю этих двух дурачков в нашей семье, тебя и Иоганна.

Она вскочила и бурно обхватила его.

— Ты все-таки значит человек, Густав!

— Осторожней, Лена, мои очки!



Иоганн потушил свечу. Бледный лунный свет залил комнату; неуютные тени задвигались по стенам. Сквозь открытое окно тихий ночной ветерок приносил запах свежескошенного сена. Иоганн вперил неподвижный взгляд на опустевшую улицу, которая, подобно темному ущелью, казалось, убегала в бесконечность. Кое-где мелькал еще свет в комнатах; боязливо мерцавшие огоньки боролись с ночной тьмой.

Сегодня, после обеда, уехал Густав. Вся семья провожала его на вокзал. Учитель гимназии, гордый сыном, который с отличием окончил школу, говорил громко и внушительно, как если-бы его последние мудрые наставления касались и носильщиков. Фрау Зельдер отдалась радостно-грустной растроганности, а Лена поразила всех, разрыдавшись при отходе поезда.

— Доброе дитя,—шепнула фрау Зельдер мужу,—в ней все-таки сильна семейная привязанность.—А Лена до боли сжимала руку Иоганна.—Он может уехать, а я должна здесь остаться. Господи, если-б не существовало семьи!

Иоганн улыбался про себя: он вспомнил маленькую комическую сцену, происшедшую накануне между отцом и сыном. Он и Густав уже были в кроватях, когда учитель гимназии вошел и опустился на стул возле стола. Он казался растроганным и несколько смущенным.

— Ты уходишь в широкий свет, Густав, не забывай там поучений своего родительского дома. Ты узнаешь различных людей, никогда не забывай, что ты лютеранин и немец.

Густав пробормотал что-то невнятное в подушку.

Учитель гимназии поднялся и стал ходить взад и вперед по комнате. Он поперхнулся несколько раз, остановился у умывальника, переставил стакан с одной стороны на другую и, наконец, продолжал:

— Одно из свойств, выгодно отличающее нас, немцев, от представителей других наций, это наша чистая, красивая, семейная жизнь.—Он остановился, беспомощно оглядываясь по комнате. Густав насмешливо оскалился.

— Ты, как я уже сказал, будешь встречать различного рода людей... людей, то-есть... не одних только мужчин... Опасность больших городов... Не все женщины похожи на твою мать и на сестер. Есть и...—он еще раз запнулся.

— Проститутки,—спокойно закончил Густав,—я знаю, отец, что ты хочешь сказать. Не беспокойся обо мне. Я вообще не переношу женщин, они только отнимают драгоценное время, а научиться от них тоже нечему. Кроме того, это очень спорный еще вопрос в науке, вредно ли воздержание: Форель, например, возражает профессору...

Учитель гимназии быстро подался к двери.—Спокойной ночи, Густав,—прервал он сына, открывая дверь,—спокойной ночи, Иоганн!

Иоганн опять стал серьезным; он думал об уезжающем товарище. Завтра он будет в Берлине. Он начинает свою собственную жизнь. Весь мир открывается перед ним на долгие годы, в течение которых он может соприкасаться с ним. Как спокоен он был при этой мысли. Для него свет —его излюбленная наука, он не заглядывает ни направо, ни налево, идет своей прямой ровной дорогой между двумя высокими стенами вдали от жизни, чуждый людям. И это отчуждение, которое так мучит Иоганна, его нисколько не волнует. Он совершенно не видит людей, не имеет представления об их горестях и радостях.

Через год он сам уйдет в этот мир; он глубоко вздохнул. Не окажется ли это прыжком в огромное темное море с бушующими волнами? Не изменят ли ему силы? И куда понесут его волны, куда стремится он? Он не такой, как Густав. Наука для него не все. Чего же собственно он хочет? Он подумал о Лене. «Я хочу помочь людям бороться за лучший мир», сказала она недавно. Она верила в победу. Ее порывистый упрямый темпе-

рамент увлекала борьба. «Помочь людям», да, и он стремился к этому. Но необходимо для этого стать ближе к ним.

Помощь сверху отталкивала его. Нужно войти в самую массу, бороться в ее рядах, с нею, не только за нее.

Ему пришел в голову Анатоль Зильберблят, писавший восторженные письма из Берлина. «Я принимаю участие в рабочем движении, мы ведем пропаганду, устраиваем собрания, просвещаем массы. В университете много русских, которые хорошо знают революционную работу. Хорошо, что ты выиграл год учения. Приезжай к нам скорей». И он верит в свою работу, в применяемые ими средства. Пропаганда? Вот уж десятки лет, как она ведется, как устраиваются собрания, просвещаются массы. И, несмотря на это, нищета все растет, закрепощая бесправных более, чем когда-либо.

В руках немногих находится судьба многих.

Богатство страны не течет, подобно благословенному ручью, через все слои, а тяготеет, как тяжелое бремя, над измученными, натруженными телами. Прогресс, достигнутый столетиями, еле заметен. Если так пойдет дальше, то поколения за поколениями падут жертвой раньше, чем будет достигнуто царство справедливости.

Что же нужно поставить на место пропаганды словом? «Пропаганду действием», —прорезалось из тумана в его мозгу. Нет, и единичные действия не принесли спасения. Что дали России героические подвиги Каляевых, Сазоновых? Они достигли того, что напуганная, дрожащая за свою жизнь и богатство буржуазия, теснее сплотилась, образовала более компактную массу, которую еще труднее побороть. Каким образом, какими средствами можно достигнуть победы?

Иоганн выглянул в окно. Как холодно и грозно глядит луна с неба! Не напоминает ли она бессердечного властелина, который спокойно и бесчувственно, в полном сознании своей мощи взирает с высоты на борющихся, страждущих, замученных подданных.

Маленькая тучка, гонимая ветром, на минуту закрывает ее, но вновь торжествующе показывается ее насмешливо-злобное лицо. Странное чувство овладело Иоганном. Удастся ли облачку затмить навсегда эту дышащую злобой мощь? С напряжением не сводил он глаз с неба. Туча за тучей набрасывалась на грозное лицо, но рассеивалась от холодных лучей, подобно копьям,

врезывающимся в пушистую белизну облака. На западе, однако, все больше скоплялись темные, грозящие бурей облака. Со всех концов неба неслись они. Поднялся ветер, могучая черная масса боролась с луной. Молния прорезала небо. И вот черная масса навалилась на луну, поборола ее, мощно втянула в свое грозное темное море. Луна исчезла. Сильные раскаты грома прорвали ночь. С воем бросился вихрь на дома. Буря победила!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Лена Зельдер быстро поднималась на четвертый этаж большого, набитого жильцами берлинского дома. Здание находилось в бедном квартале, в узкую улицу не попадал ни один солнечный луч, а в этот холодный зимний день улицы и дома имели особенно безутешно-грустный вид. Грязная, растрепанная женщина мыла лестницу.

— Господин Зельдер? Но четвертом этаже, вторая дверь налево.

Лена постучалась. Ответа не последовало. Неужели Иоганн еще спит? Она еще раз постучала и вслед за тем дернула звонок.

Дверь соседней комнаты открылась, и выглянула темная голова.

— Его нет дома, он вернется лишь часам к двенадцати. Господи, Лена! Как ты здесь очутилась?

— Анатоль! И ты здесь живешь? Впусти меня. Я только что приехала и вся продрогла.

Анатоль Зильберблят вышел в коридор. У него был усталый и заспанный вид.

— Как ты очутилась в Берлине?

Она рассмеялась немного смущенно:

— Я мимоходом.

— Да, но...

— Я расскажу тебе все, впусти меня в комнату погреться.

— Войди, но я не один.

Она последовала за ним. Комната вся утопала в синеватом табачном дыме; за письменным столом сидел пожилой человек с легкой проседью и что-то писал. На диване развалился человек помоложе.

— У нас гостья,—оповестил Анатоль,—приезжая из дому. Кернер, это сестра Зельдера, о которой мы уж не раз рассказывали. Савин, подвинься, она очень устала с дороги.

Пожилой человек, не поворачиваясь подал Лене руку, а молодой русский быстро поднялся с дивана.

— Мы вас уж хорошо знаем, фрейлейн; Иоганн часто говорит о вас. Какие у вас холодные руки. Дай спиртовку, Анатоль. Нужно вскипятить для нее чаю.

Немного растерянная, озирала Лена комнату. На неубранной кровати валялись газеты, единственный стол весь завален был книгами. На полу валялись окурки папирос и пепел. Она украдкой взглянула на находящихся в комнате. Анатоль несколько переменился: лицо его стало жестче, энергичнее, веки несколько покраснели, как от недосыпанья. Человек за письменным столом имел вид немца: добродушное, обветренное лицо с бесчисленными морщинками и складками; острая черта возле рта придавала ему выражение глубокой грусти, противоречащей живому выражению голубых глаз, в эту минуту поднявшихся с бумаги и дружески улыбнувшихся Лене. Савин стоял у умывальника, прополаскивая стакан и возясь с чайником с отбитой ручкой; движения его были мягки и ловки, как у женщины. Не тот ли это молодой русский, который удрал из московской тюрьмы, и о котором ей писал Иоганн?

Анатоль сбросил несколько газет на пол, чтобы очистить место, и уселся на кровати.

— Что, собственно, хочешь ты здесь делать, Лена?

— Я еще не знаю, —отвечала она несколько смущенно. — Надеюсь уговорить Густава, чтобы он меня приютил у себя.

Анатоль рассмеялся.

— Густав? Проще всего будет, если ты пойдешь к нему, уютно устроишься там, у него ведь две комнаты, у этого буржуя, и не будешь много разговаривать. Недельки через три он, может-быть, заметит твое присутствие. Тогда ты можешь уговорить его, что ты там всегда была и что он только забыл об этом...

— А он разве так занят?

— Занят! Скажи лучше, помешан. По целым дням торчит он в лаборатории, а вечера проводит за своими книгами до поздней ночи. Мы недавно были у него, я и Иоганн, он был очень любезен, очень рад нас видеть. Но через пять минут он сказал: — А не уйдете ли вы сейчас, детки? Мне нужно работать.

Савин подал Лене стакан чаю.

— Вы, вероятно, очень устали, фрейлейн, снимите шляпу. Анатоль, брось сюда подушку. Ей неудобно сидеть.

Он засунул ей подушку за спину, покрыл ее озябшие ноги пледом, зажег ей папиросу. И опять подумала Лена, что он нежен и заботлив, как женщина. Она совершенно иначе представляла себе русских революционеров.

В это время Анатоль поднялся к письменному столу и вполголоса о чем-то говорил с Кернером.

Лена почувствовала себя одинокой и потерянной. Какая-то тоска по ненавистном родительском доме овладела ею. Что она делает тут, между этими чужими людьми? К величайшей своей досаде, она почувствовала, что слезы навертываются ей на глаза и сдержанные рыдания сжимают горло.

Савин как будто почувствовал ее настроение. Он осторожно отодвинул чайник и присел на краю стола.

— Вам странно, неправда ли, немного чуждо и неуютно? Не надо грустить, фрейлейн. Через недельку вы себя здесь почувствуете как дома. Иоганн вам очень обрадуется, я думаю он все время скучает по вас.

Мягкий славянский голос на нее хорошо подействовал. Она почувствовала, что мужество возвращается к ней.

— Мы скоро найдем работу для вас,—продолжал молодой русский,—ведь вы наша?

— Конечно! Но... я так неопытна... Я ведь ничего не знаю.

Он усмехнулся.—Мы сведем вас как-нибудь в рабочий квартал, фрейлейн. Если б вы видели этих детей: рахитичные, заморыши, с бледными старческими лицами, испуганными голодными глазами. А эти женщины—ведь это не женщины, а какие-то вьючные животные, рабочие машины. Когда вы все это увидите, вам сразу станет ясно, в чем дело.

Он говорил тихо, чтобы не мешать Анатолю и Кернеру, но ледяной гнев и с трудом сдерживаемая ярость, звучали в его голосе, серые глаза заблистали.

— Я бы так охотно работала,—сказала она, вздрагивая.

— Вы и будете работать. До сих пор вы все это знали из книг. Когда же вы увидите это в жизни, эту нищету наряду с богатством, эти шикарные улицы, этих важных людей, и когда будете знать, что из-за каждой такой элегантной дамы, из-за каждой такой франтихи сотни жизней погибают, лишаются всякой возможности счастия или просто человеческих прав,

тогда вам совершенно не будет жалко, что вы оставили свой уютный родительский дом.

Лена невольно улыбнулась. —Не так уж был он уютен, —вслух подумала она, —теперь все зависит от брата.

— Ваш брат —замечательный человек,—сказал Савин.—Совершенное незнание жизни. Он представления не имеет о том, что вокруг него происходит. Несмотря на это, он мне очень нравится. У него сильно развито чувство справедливости. Недавно на одной фабрике очень несправедливо рассчитали рабочего, отца шестерых детей. Ваш брат, который в это время как раз вел переговоры с фабрикантом по поводу одного своего небольшого изобретения, узнав об этом случае, прервал переговоры, заявив что не желает иметь дела с такими свиньями.

– Густав?—с радостным изумлением воскликнула Лена.

— Да, но его отказ был характерно обоснован: —Такой человек, —сказал он,— позорит науку и поэтому не имеет права извлечь из нее какую-нибудь пользу.

Оба засмеялись. Савин налил ей еще стакан чаю.—Теперь вам теплее?

Она утвердительно кивнула головой. —И на душе? —Да, откуда вы знали, что мне было тяжело?

Он стал серьезен. —Ведь и я происхожу из этой проклятой буржуазной среды и знаю, сколько нам приходится стряхивать с себя. Эта обеспеченная, спокойная жизнь цепляется за нас, как репейник, препятствуя всякому движению. Я часто завидую таким людям, как Кернер.

Она вопросительно посмотрела на него.—Это бывший рабочий; теперь он секретарь союза металлистов. Этот человек знает лишь одно: рабочее движение, это его жизнь, его счастие, его надежда.

Анатоль подошел к ним.

— Идем, Лена, мы встретим Густава у университета. Вот он изумится, когда тебя увидит.

Но Густав совершенно не был поражен неожиданным появлением сестры. Он взглянул на нее, приподняв глаза от книги, рассеянно кивнул с приветливым: —Ты, Лена? Очень мило, что зашла ко мне. Садись, минуточку! Я сейчас готов.

Из минуты получилось полчаса. Наконец, он закрыл книгу и повернулся к сестре.

— И мама здесь?

— Мама? Нет...

— Неужели они тебя одну пустили в Берлин. Меня очень удивляет...

— Они даже не знают, что я здесь. Они думают, что я в деревне, у родителей мужа Ильзы.

Густав остался бесстрастным:

— Так, а что собственно тебя тянуло сюда?

— Я уже не могла больше терпеть этого дома. Ты же знаешь, как у нас. И я думала... Густав, хороший, милый Густав... Дай мне остаться у тебя...

— У меня?

Она уселась на ручке его кресла и, гладя его по голове, в взволнованных выражениях говорила об однообразии и невыносимости жизни в родительском доме.

Он сокрушенно посмотрел на нее:

— Почему ты, собственно говоря, не выходишь замуж? Ты ведь стала совсем хорошенькой, и у тебя приличное приданое. Тебе ведь нетрудно найти жениха.

Лена рассмеялась почти сквозь слезы. Во-первых, никто еще ко мне не сватался, а главное, выйти замуж? Вести жизнь, как Ильза, у которой вся жизнь вертится вокруг ее ребенка и ее противного Адольфа?

— Дай мне здесь остаться, я тебе ни чуточки не помешаю.

— Не помешаешь? Сегодня вечером я из-за тебя полтора часа потерял.

— Это было лишь сегодня, пока мы обо всем поговорили. Густав, я прошу тебя...

— Не толкай письменного стола. Ты перепутаешь все мои бумаги. Разве ты непременно должна жить у меня? Ты же можешь пойти в пансион. Я каждое воскресенье буду навещать тебя.

— На это родители никогда не согласятся.

Теперь она плакала, прижавшись тесно к брату. Он неловко гладил ее кудрявые волосы.

— Осторожнее, ты зальешь своими слезами все мои записки. Рядом со мной есть свободная комната. Там ты могла бы жить...

— Какой ты хороший!

— Подожди, не так стремительно. Давай раньше обо всем условимся:

— Ты можешь завтракать со мною, но не должна при этом разговаривать; это меня отвлекает. Днем я не бываю дома, пусть тогда Иоганн о тебе заботится или друзья его. Вечером мы можем вместе обедать, но ты должна взять книжку и не болтать. Моего письменного стола ты не касаешься. Ты не должна также приставать с глупыми вопросами, вроде: «Над чем ты теперь работаешь?» или «Что означает эта формула?». А после ужина ты меня должна оставить в покое. Согласна ли ты?

— О, да, да, спасибо, милый, добрый Густав!

— Ну, так иди к моей хозяйке и растолкуй ей все. Конечно, скажи ей, что ты моя сестра, а то она бог знает, что подумает. Сегодня у меня для тебя нет больше времени. Спокойной ночи.

— Да, но, Густав...

— Что еще?

— Ты должен также написать родителям. Если ты их попросишь оставить меня здесь, они согласятся. Они так тебя уважают. И чтобы они прислали мой сундук. Он уже уложен.

— Ах, это еще! —Он бросил взгляд полный отчаяния на часы.—Еще полчаса потерять! Ну, ладно, теперь иди!

Перед тем, как лечь спать, Лена подошла к открытому окну. Бесчисленные огоньки сияли в темном ночном небе, трепетно мерцая в воздухе. Темные громады домов тяжеловесно высились перед ней, стучали экипажи, автомобили с резкими свистками проносились по улицам. Город пыхтел, выбрасывая удушливый, темный воздух. Какая то тяжесть легла на сердце девушки. Все эти бесчисленные дома, а в домах люди, люди. Громадные великолепные палаты, в которых развалилось богатство, жалкие клетушки, в которых сжалась бедность, трущобы, притоны, в которых задыхается теснится нищета. Последнее слово бросило новый образ в ее мозг. Теснящаяся, задыхающаяся нищета, это готовый к прыжку хищный зверь, напрягший все мускулы в ожидании этого прыжка. Скоро-ли этот мощный зверь бросится на врага?

Она вздрогнула и закрыла окно.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Через несколько дней после приезда Лены, Иоганн зашел за ней как-то вечером:

— Пойдем к Борису Израилеву; он опять болен.

— А это кто—Борис Израилев?

— Один из моих лучших друзей и из наших способнейших голов. У него ты познакомишься также и со всем нашим кружком.

Она взяла его под руку.—Ты все еще хромаешь?

— Врач говорит, что это никогда не пройдет совсем. Как только я устаю, я начинаю волочить ногу. А сегодня я весь день бегал.

— Какая неприятность, этот прошлогодний перелом ноги во время катанья на коньках.

— Да, и кроме того хромога особенно неприятна тем, что это особая примета в случае поисков полиции.

— Иоганн, что у вас там?!

— Ага, твоя восточно-прусская буржуазная душа взволновалась при одном только упоминании полиции? Ты совсем еще дитя. Впрочем, Савин уж собирался тебя привлечь к работе. Ты ничего против этого не имеешь?

— Конечно, а что я буду делать;?

— Он сам с тобой об этом потолкует.

Они шли в морозной зимней ночи. Шаги их гулко звучали по тротуару. Через четверть часа они вошли в под'езд большого дома.

— Борис живет на пятом этаже.

Они вошли в обширную мансарду. Лене показалось, что она полна людей. Прежняя смущенность овладела ею. В кровати у стены лежал исхудавший человек с седыми волосами, плохо гармонировавшими с его молодым еще лицом. Иоганн подвел Лену к кровати.

— Вот Борис! Борис, я тебе привел мою сестричку.

Борис Израилев крепко пожал руку молодой девушке.

— Мы вас уже ждем. Садитесь, товарищ.

Лена повиновалась. Она оглядывала комнату со смущенным любопытством.

Здесь было уютнее, чем в комнате Анатоля. Бесчисленные книги по полкам, картины на стенах, большей частью портреты, между которыми много людей в русской арестантской одежде. На маленьком столике шумел самовар; даже алая герань украшала комнату. Она обвела глазами присутствующих. На единственном кресле сидела седая, старая женщина с тонкими интересными чертами лица. Она возбужденно говорила с Кернером, который ей что-то об'яснял. Савин в другом конце

вел дискуссию с каким-то молодым блондином. Старик с белой бородой грелся у печки. Анатоля не было.

Савин подошел к Лене.—Хотите знать, кто эти люди? У нас нет торжественных представлений, мы друг друга узнаем постепенно.

Борис смутился.—Простите, я совершенно забыл, что вы еще никого не знаете. Об'ясни ты, Савин, меня утомляет разговор.—Голос его стал хриплым, он закашлялся.

— Вы простужены?—спросила Лена необдуманно. Борис усмехнулся:—Нет, я тот неизбежный чахоточный русский еврей, который должен быть во всяком революционном кружке. Лена густо покраснела. Савин пришел ей на помощь.

— Итак, твоя личность, Борис, уже выяснена. Кто же из остальных вас больше всего интересует?

— Эта старая дама там. Она как-то сюда не подходит. нее такой спокойный вид, такой...—Она запнулась.

— Такой важный, хотите вы сказать, о дочь буржуазии! Вы как будто тоже верите, что революционеры непременно должны выглядеть, как разбойники. Эта старая дама горячая симпатия вашего брата Иоганна. Неужели он вам ничего про нее не рассказывал?

— Нет.

— Ее зовут фрау фон-Рейпер, и чтобы уж вас вовсе посвятить,—она урожденная англичанка. Она была замужем за каким-то умершим теперь министром, из настоящей прусской знати. Напишите об этом вашему отцу для успокоения. Он лукаво засмеялся, а Лена бросила ему сердитый взгляд.

— Я вообще не пишу моему отцу.

— Возмутительная дочь!

— Да, но каким образом эта женщина...

— Очутилась у нас, проклятых злодеев? Она очень неуютно чувствовала себя в этой феодальной среде. Ее единственной радостью был ее сын, милый, славный юноша, умерший год тому назад. В своем безутешном горе эта женщина с отчаянием ухватилась за его друзей, а эти друзья—это мы. Кроме того, ей, англичанке хорошего старого либерального пошиба, прусская система совсем не по душе. Во многих вопросах она нам, конечно, не единомышленница, но в главном мы с ней сходимся. У них что-то уж очень горячий спор. Послушаем, в чем дело.

Молодой блондин в этот момент резко выкрикнул:

— Саботаж—преступление! Насилием ничего не сделаешь. Только эволюция может нас двинуть вперед.

— Осел!—проворчал вполголоса Савин.—Саботаж мне представляется неправильным,—сказала старая дама,—потому что это трата ценного материала, однако в данный момент он может быть применен так же, как и всякая сила.

— Сударыня,—молодой блондин понизил голос и любезно улыбнулся.

— Исторический материализм...

— Пожалуйста, оставьте меня в покое с вашей теорией, Филипп, вы ведь знаете, что я в ней ничего не понимаю. Я уясняю себе только то, что видели мои старые глаза в течение шестидесяти семи долгих лет. А то, что я видела—уж очень оно было неприглядно—научило меня тому, что к справедливости нужно стремиться всеми возможными средствами,—будь это даже насилие, если другие безрезультатны.

— Насилие—это зло— раздался с печи глубокий певучий голос, —насилие—это зло. Дайте духу любви проникнуть в сердца, тогда настанет царство божье на земле.

— Наш пророк,—прошептал Савин Лене,—раввин из России. Во время погрома перед его глазами убили его жену и двоих детей. С тех пор он немного помешался.

— А кто этот блондин?

– Он добрый малый, но уж очень глуп. Типичный немецкий ревизионист*). Человек, который в состоянии итти на все уступки и никоим образом не может мыслить будущее дальше завтрашнего дня. Вообще, немецкие товарищи...

– Не будь несправедлив, Савин.

Борис Израилев повернулся к товарищу:—Они хорошо работали.

— Но им не хватает размаха, священного огня, ясновидения. Они слишком прилипли к земле. Социализм не только вопрос заработной платы, философская теория. Социализм прежде всего религия! Немцы довольны, если они могут залепить пластырем раны человечества, сюда закон, туда закон. Но бьющая из раны кровь отталкивает пластырь, и организм

*) Т.-е. последователь Э. Бернштейна, «раз'яснившего» учение К. Маркса, как построенное на принципе эволюции (постепенного изменения), а не революции.

истекает кровью. Это несчастие для мира, что численно немцы играют руководящую роль в Интернационале.

— Патриот!—рассмеялся больной.—Что же ее перенять русским?

— Не непременно. Может быть, итальянцам.

Борис покачал головой.—Пламенный дух, но без необходимой глубины. Я верю в немцев. Когда дело станет серьезно, они выдержат испытание.

Савин пожал плечами.—Несколько избранных, за которыми пойдет толпа, но не партия.

Разговор стал всеобщим. Лена слушала молча. Непонятные слова ударялись об ее ухо. Новые понятия создавались в голове. Невольно она перенеслась мыслью в родительский дом. В это время отец сидит над тетрадями, а мать штопает и чинит. Ее родной дом показался ей маленьким островком на бушующем бурном океане; жители островка глухи к бою волн, к реву бури. Как много таких островков в Германии, как много людей, которые безрассудно считают себя в безопасности на них.

Когда разговор на минуту затих, она обратилась к Савину.

— Иоганн сказал мне, что у вас есть для меня работа.

Он утвердительно кивнул:

— Раньше я должен с вами позаняться. Ведь вы еще безгранично невежественны. Позже же мы вас пошлем к женщинам вести пропаганду.

— Меня?—Лена не на шутку испугалась.

— Да, несмотря на темные глаза и волосы, у вас совершенно арийский тип. Вашей пропаганды нельзя будет оборвать словом «жидовка».

Она молчала, несколько смущенная, он засмеялся.—Да, это бывает, и у Иоганна был такой случай.

Дверь внезапно растворилась. Анатоль спешно вошел.

— Ребята, началось на Балканах!

Все переглянулись. На минуту установилась пугливая тишина, которую прервал Филипп.

— Это нас мало касается,—спокойно заметил он.—Далеко!

— Разве преступление перестает быть преступлением от того, что оно происходит в другой части света? —с упреком сказала г-жа фон-Рейнер. Минуту царила тишина. Затем раздался болезненный выкрик старого еврея: «Горе и злодеяние! Грех и преступление! Пламя пожирает дом, и злой вихрь гонит

его все ближе и ближе. Кто охранит нас от пожара, когда дом соседа в пламени?»

* * *

— Как сильно ты переменился, Иоганн,—заметила Лена на обратном пути,—дома ты был всегда такой тихий и замкнутый, производил всегда впечатление чужого, чувствующего себя неуютно в непривычной среде.

— Оно так и было, —ответил он. —Меня та атмосфера давила. И затем на душе было так неспокойно, как если бы я должен бы на минуту передохнуть, а затем мчаться все дальше, все дальше. Куда? я и сам не знал.

— А теперь?

— А теперь, я как будто нашел пристанище. В этой маленькой комнате Бориса я чувствую себя дома. Эти люди мне близки. Я чувствую свою принадлежность к ним, мы говорим на одном языке. Я даже понимаю этого старого раввина Леви.

— Но это ведь ужасно, что на Балканах война.

Он кивнул головой.

— А что этот старик хотел сказать с пожаром?

— Он все толкует о мировой войне, которая накажет человечество за его безбожие. Но это вещь невозможная. Пролетариат во всех западных странах восстанет, как один человек. В день об'явления войны вспыхнет всемирная забастовка.

— Ты думаешь?

— Я в этом убежден.

Он дошел до квартиры Лены.

— Ты зайдешь?

— Нет, слишком поздно. Спокойной ночи!—Лена вошла в комнату брата.

— Густав, на Балканах началась война.

Он не оглянулся.

— Да, но это не основание, чтобы мешать мне. Какое мне дело до войны на Балканах.

Лена долго не могла уснуть. Когда она, наконец, забылась, ей стало мерещиться что-то кошмарное. Старый Абрам Леви стоял на высокой горе и с воплями указывал на долину. Страшное море огня трепыхалось, заливало все своими волнами, которые рвались все вперед, через села и города. Языки пламени лизали небо.

Она проснулась с бьющимся сердцем; неопределенный страх сдавливал ее грудь. В полусне она пробормотала, как утешительную волшебную формулу:

— У нас это немыслимо. Всемирная забастовка...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Серый пейзаж ранней весны. Мчался поезд, мартовский вихрь мощными порывами схватывал клубы дыма и разрывал их в тонкие нити, которые он разгонял по бледно-голубому небу. Река, освободившаяся, наконец, от ледяных оков, в своем безудержном стремлении на свободу, выступила из берегов, заняла равнину, которая, незаметно заливаемая волнами, уподобилась одному огромному морю. Мрачные сосны сонно потягиваются, стряхивают свои зимние иглы, стройные березы, покрытые еще листьями, весенние, свежие и ароматные, в своих белых одеяниях, тянутся навстречу ласкающему бледному солнцу. На горизонте стая диких уток острым зигзагом прорезала воздух.

Лена далеко высунулась из окна вагона. Странная болезненная радость охватила ее всю. Как хороша родина, какой-то безутешной, грустной красотой, которая милее сердцу, чем благословенные, благодатные края юга. После полутора лет отсутствия она впервые возвращалась домой. Мать уехала на год с Ильзой, которая зимой захворала, и Лена должна была ее замещать дома. Она неохотно покидала Берлин, хоть и чувствовала, что нуждается в отдыхе. Иоганн и его друзья использовали ее рабочую силу во всю; каждая минута была чем-нибудь занята. Савин пришел в негодование, узнав об ее от'езде; он опасался, что ее затянет опять буржуазная среда, что она может выйти замуж или по крайней мере перемениться и вернуться назад непригодной для прежней работы.

Лена улыбалась при одной мысли об этом. Последний год с его переживаниями и образами глубоко врезался в ее душу. Один за другими то и дело возникали в ее душе настроения, картины пережитого, яркие, как в момент переживания.

Первое мая в Берлине; сияющее золотыми лучами солнце, глубина голубого неба.—Королевская погода,—сказал толстый бюргер своей жене, забыв, что день этот посвящен другому властелину, обездоленному, единственно законному вла-

стелину мира, рабочему люду, который раз в год проникается сознанием своей власти и достоинства. Вдоль Лип *) потянулся кортеж, бесконечный, глазом не охватить. Организация за организацией. Руки, труд которых создает и поддерживает мир, отдыхали не обычным своим воскресным отдыхом, бессознательным, лениво-усталым; нет, это был отдых, полный сознания своего достоинства и силы, своей непобедимой мощи в этот день своего собственного великого праздника. Лена вспомнила одну группу, которая ее особенно поразила—группу женщин-судомоек. „Женщин"—это слово казалось насмешкой в применении к этим созданиям. Неуклюжие, сгорбленные, искривленные ревматизмом фигуры, истощенные бледные лица тяжелыми шагами тащились в кортеже, синие, красные потрескавшиеся руки висели безнадежно. И все-таки, даже в этих усталых глазах светился праздничный отблеск, чувствовалось сознание своей силы; сегодня они были не разрозненные, надломленные непосильной работой, недоедающие вьючные животные; сегодня они обрели свое место, стали частью мощной массы, требования и чаяния которой гордо звучали под ярким весенним небом. Организация за организацией, толпа за толпой, все воодушевленные одним чувством, движимые одной мыслью. А во главе шествия, развевающийся по воздуху символ мученичества, символ надежды и великого об'единения — красное знамя.

Символ мученичества! Лене припомнился зимний вечер у Бориса Израилева, где она была с Иоганном и Анатолием. Они сидели, покуривая в сумерках у печки, и Борис, который себя чувствовал лучше обыкновенного, рассказывал им о русском рабочем движении, его вождях и героях.

— Расскажи Лене про свою жизнь в тюрьме, это на нее произведет громадное впечатление,—сказал Иоганн.

— Но я всего четыре года пробыл в Шлиссельбурге,—уклончиво сказал Борис.

— Всего четыре года!—с ужасом воскликнула Лена

— Не знаете вы разве, что многие из моих товарищей были в тюрьме по двадцати и больше лет?—И он стал рассказывать. Перед ее глазами возвысилась мрачная крепость на пустынном острове Невы, окутанная тяжелым туманом, место ужаса, безу-

*) «Unter den Linden»—(липовая аллея)—одна из главных улиц Берлина (*прим. перевод.*).

мия и смерти, но также и освященное место. За этими непроницаемыми стенами, в одиночках и застенках жили лучшие люди России. Некоторые из них были сломлены тяжестью судьбы; вечное одиночество свело с ума одних, другие покончили с собой, чтобы своей жуткой смертью облегчить судьбу своих товарищей. Большинство же сохранило силу и мужество, даже когда их тела разрушались.

— Верующие католики средневековья,—сказал Борис, — были убеждены, что святость церкви дает грешному свету отпущение грехов, и молитвы монахов и монахинь сгущаются в покрывало, которое простирается между богом и людьми, охраняя последних от гнева божия. Чем были в средние века монастыри, тем стали для России тюрьмы. Эти места пыток и немого героизма искупили грехи страны и дали вечную живучесть идее. Бесконечная любовь, горячий порыв к свободе наших мучеников зажгли сотни молодых борцов. Каждый заключенный, как факел освещал ночную тьму и указывал дорогу будущему.

— Поэтому, Россия—страна величайшего страдания—в то же время и страна будущего, откуда свет польется во все концы мира,—тихо сказал Иоганн.

— Ex orientae lux *)—сказал Анатоль.—Раз там уже зажегся свет, но врагу удалось его потушить. Если же он вспыхнет вторично, он будет так могуч, что прорвется во все страны и окончательно прогонит тьму.

* * *

Учитель гимназии сам пришел на вокзал встречать дочь. Он показался Лене постаревшим, более мрачным, хотя и казался очень обрадованным ее приездом. В первое мгновение они оба были несколько смущены, стояли друг против друга, как чужие. Из соседнего купэ вышла молодая женщина. Господин Зельдер почтительно поклонился, помог ей снять ее сумку и видимо был доволен этим отвлекающим обстоятельством.

Медленно шли отец с дочерью по улицам. Господин Зельдер расспрашивал про Густава, рассказывал об Ильзе и матери. Лена отвечала почти механически. С изумлением она осматривала здания. Как малы и тесны они! Ей казалось, что весь городок как-то с‘ежился и сжался.

---

*) Свет идет с Востока.

- Кто эта красивая дама, с которой ты поздоровался на вокзале?—спросила она, когда наступила маленькая пауза.

— Молодая графиня Штромвиц. Граф Гейнц женился год тому назад. К сожалению, он почему-то нашел себе итальянку. Его родители были в отчаянии. Это смешение рас в наше время ужасное зло. Чужой элемент врывается в чистокровную немецкую семью. У нее и имя какое-то сумасбродное—Джойя или что-то в этом роде.

— Это значит—радость. Как прелестно!

— У нас, кажется, довольно красивых девушек,—продолжал учитель гимназии, не обратив внимания на ее вставку,—хорошо воспитанные немецкие девицы, более подходящие матери для будущих владельцев майоратов. Я бы своим детям никогда не позволил жениться на иностранках.

— Бедный папа.—подумала Лена,—твои дети тебя спрашивать не будут.

Они дошли до дома. Когда Лена вошла в комнату, ей показалось, что она никуда не уезжала. Все было совершенно по прежнему. Красный плюшевый альбом все еще лежал на большом столе в зале, а рядом с ним рабочая корзинка матери. И люди остались такими же. Здесь, в этом маленьком городке время как бы остановилось. За столиками в кафе разбирались все еще прежние темы: нужда в прислуге, помолвки, свадьбы, рождения и смерти. Читали все ту же «Беседку» и «Неделю», и оставались так же незатронутыми какими бы то ни было политическими событиями. С радостью встречалось известие о рождении какого-нибудь члена императорской семьи...

Через неделю после своего приезда Лена встретила старого пастора. Он подошел к ней с распростертыми об'ятиями.—И он стал как-то меньше,—подумала девушка, рассматривая согбенную старую фигуру.

Старик стал расспрашивать про Иоганна и не мог наслушаться о своем любимце.—Теперешние ученики меня совсем не радуют; я думаю, они меня украдкой высмеивают,—с горечью жаловался он,—да и я не понимаю теперешнюю молодежь.

— Еще один, кому мешает прогресс,—нетерпеливо подумала Лена, но сейчас же устыдилась этой мысли, потому что старик продолжал:—Уже совсем нет человеческих идеалов. В наше время, в семнадцать или восемнадцать лет мы уж мечтали о свободе и человеческих правах, даже и те, что позже

становились мирными бюргерами. Теперь молодежь вся предана милитаризму и коммерции. К тому же она крайне эгоистична и нечутка. И этим трезвым головам мне нужно проповедывать любовь! Конечно, они никогда и не являются на мою проповедь. Но в этом, возможно, и я виноват: я слишком скучен.

Добрые старые глаза с такой искренней горечью смотрели на нее, что Лена дала себе слово каждое воскресенье ходить в церковь.

— А какова молодежь в городе, дитя мое,—спросил старик. Вы наверное знаете многих из друзей Иоганна.

Они между тем незаметно подошли к пасторскому дому. Старик привел Лену в сад. Они уселись на скамье, на солнышке; древняя хромоногая собака подошла к ним и стала тереться мордой о колени своего хозяина.

Лена стала рассказывать про Иоганна и его друзей. Речь ее потекла горячо. Вот уж неделя, как она не могла произнести слова, не обдумав его предварительно всесторонне. Старый пастор слушал с интересом и утвердительно кивал седой головой.

— Вы называете это социализмом?—сказал он наконец— Мы это называем христианством. Это почти то же самое. Бог— это любовь, а любовь—это бог. Благо нам, если мы можем уразуметь эту простую истину. Но,—голос старика стал внезапно жестким и резким, —что мы сделали из христианства? Мантию, чтобы прикрывать свои грехи, знаменем, под которым мы грешим против священнейших заповедей. Торгаши осквернили храм, и на кресте, с которого они сорвали спасителя, они распинают бедных.

Старик преобразился. Внезапно исчезла его старческая дряхлость, маленькая фигура как бы выросла и полна была достоинства.

Девушка с участием смотрела на него.

— Удивительно, как он теперь похож на старого раввина, Абрама Леви,—подумала она.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

В маленьком садике у пасторского дома на маленьком столике был сервирован старинный кофейный сервиз со старомодной пузатой серебряной сахарницей и маленьким изящным медным подносиком, которые перешли к пастору еще от ма-

тери. Старик маленькими шажками деловито семенил взад и вперед, отрезал от любимого розового куста самые красивые цветы и клал их на белоснежную скатерть, тщательно сняв с них сперва шипы. Лена Зельдер сидела в глубоком плетеном кресле и улыбаясь смотрела на него хлопоты.

— Да отдохните же немного, господин пастор,—сказала она наконец,—все прелестно, и вы не должны выбиться из сил еще раньше, чем придут гости.

Старик положил ей на колени прелестную розу.—В благодарность за то, что вы пришли мне помочь. Бедная, маленькая иностранка будет очень рада застать здесь человека, с которым она сумеет поговорить по-французски. Ее немецкий все еще немного хромает.

Он уселся возле Лены.—Будьте с ней приветливы, с этой молодой женщиной. Мне кажется, бедное дитя чувствует себя здесь очень покинутой и чужой. Я мало обращаю внимания на людские толки, однако слышишь много кое-чего.

— Как это Гейнцу Штромвицу пришла идея жениться на итальянке?

— Он с ней познакомился во Флоренции. Бабушка ее была дальней родственницей Штромвицов.

Старая экономка прибежала запыхавшись; ее добродушное румяное лицо еще более раскраснелось от возбуждения.

— Гости едут, —сообщила она, переводя дух.

Старый пастор пошел встречать гостей. Пока он их приветствовал, Лена с интересом рассматривала обоих. Гейнц Штромвиц мало изменился: все та же барская, высокомерная физиономия, тот же холодный взгляд. Его высокая, хорошо сложенная фигура была слишком пряма.—Как он говорит со стариком!—мысленно возмущалась Лена.—Эта снисходительно-любезная манера, как с подчиненным.—Взгляд ее упал на молодую женщину.—Джойя, радость, как это имя подходит ей!—Все в этой стройной фигуре дышало жизнерадостностью: отсвечивающие червонным золотом горячего оттенка рыже-каштановые волосы, большие светящиеся темные глаза и свежий ярко-розовый рот.—Бедненькая!—подумала Лена,—как попала ты в наш трезвый, бесцветный край?

Джойя Штромвиц казалась несколько смущенной. Вежливо, как благовоспитанное дитя, отвечала она на вопросы старого пастора. Она говорила по-немецки правильно, но медленно и

запинаясь, как будто подыскивая слова. Гейнц Штромвиц вежливо поздоровался с Леной и осведомился о Фрихюсодд и Густаве

Настроение за столом было холодное, неуютное, разговор все прерывался, и пастор бросал Лене зовущие на помощь взгляды. Лена обратилась к молодой женщине:

— Может, вы охотнее говорите по-французски, графиня?

Темные глаза засветились радостью. —Вы говорите по французски? Как славно! Тогда мы можем, как следует, поболтать.

— Привыкни, наконец, к тому, чтобы говорить по-немецки, Джойя, —с явным нетерпением сказал ей муж.

Она посмотрела на него почти боязливо. Старый пастор вмешался.

— Идемте, граф, вы хотели посмотреть мои ульи. Оставим дам здесь.

Гейнц Штромвиц последовал за стариком по направлению двора, а Джойя живо обратилась к Лене по-французски:

— Откуда вы знаете французский язык и почему я вас еще не видела?

Лена улыбнулась ее живости: —Французский я знаю еще со школы, таков он и есть. Что касается вашего второго вопроса, то я вернулась теперь домой после полуторагодового отсутствия.

— А где же вы живете?

— В Берлине.

— А вы были когда-нибудь в Италии?

— Нет.

— Жаль, мне так бы хотелось поговорить с кем-нибудь кто бывал в Италии и любит ее.

Сильная тоска по родине зазвучала в мягком голосе. Лена спросила участливо:

— Скучаете вы по родине?

— О, как сильно! Здесь тоже очень хорошо,—прибавила она полуиспуганно, как бы боясь, что оскорбила любовь молодой девушки к ее родине,—но все как-то здесь бесцветно, так холодно! И эта бесконечная зима! Я прямо в отчаянии, что так долго не вижу солнца. И эта большая, серая равнина так мрачна! У нас такие приветливые ландшафты, так сини, так мягки линии холмов; здесь все угловато и жестко, совсем как люди! —Она опять смущенно посмотрела на Лену. —Простите меня, я не хотела сказать ничего плохого о ваших земляках.

Лена рассмеялась. —Вы могли это спокойно сделать. Я тоже нахожу здешних людей противными. Много у вас знакомых?

Джойя грустно кивнула головой. —Очень много, у Гейнца бесчисленные родственники. У нас бывает столько посетителей, и я не знаю, о чем мне с ними говорить. Детей у меня нет, о берлинской придворной жизни мне ничего неизвестно, все же остальное их не интересует. Мне жалко этих людей; жизнь их так бедна, а ведь на свете столько прекрасного!

— Прекрасного? —Лена последний год видела столько горя и нищеты, столько уродливого и несправедливого, что это утверждение показалось ей слишком рискованным. —О, конечно, картины, дивные здания, сады, заход солнца, погружающий в золото Сан-Миннато, походящий тогда на волшебный замок. И музыка, и краски, и живые люди.

Лена нахмурилась. —А о тех бесчисленных людях, которые не могут иметь ничего из всех этих красот жизни, об обездоленных вы не думаете, графиня?

Джойя ответила не сразу. —Считаете вы меня злой? —промолвила она с детской серьезностью. —Это делает жизнь здесь еще более грустной. Как эти люди живут! Целые семьи теснятся в одной каморке и работают с шести часов утра до позднего вечера. А как помещики обращаются со своими людьми, прямо, как с рабами. Гейнц... —Она запнулась, густо покраснела и затем торопливо заговорила опять: —Я бы так хотела подружиться со всеми людьми в имении, помогать им, но они возмутительно недоверчиво ко мне относятся, и как-то черезчур почтительно, как к высшему существу. К тому же я плохо знаю немецкий язык, и мне вдвойне трудно уяснить им, что я их люблю и не потерплю никакой несправедливости по отношению к ним.

Лена слушала ее со снисходительным превосходством. Однако тон ее последних слов заставил ее прислушаться внимательнее... Она хотела что-то возразить, но в это время мужчины вернулись.

— У господина пастора образцовое пчеловодство, —милостиво сказал Гейнц. —Если бы наша дворня не была так ленива, можно было бы этим порядочные деньги заработать.

Лену злил этот высокомерный тон. Она хотела что-то возразить, но старый пастор как будто отгадал это. Он успокаивающе положил ей руку на плечо:

— Так, Ленхен, теперь идет награда добродетели.—Он порылся в кармане и вытащил коробку папирос.—Теперешние девушки курят.

— Пожалуйста, дайте и мне,—попросила Джойя. Ее муж сделал сердитое лицо.

— Это у нас не принято, мое милое дитя,—сказал он сухо.

— Я думаю, это уж не такой большой грех, пустить немного дыму в воздух,—сказал пастор добродушно.

Джойя бросила ему благодарный взгляд и сказала со своей милой манерой запинаться:—Я вас хотела спросить что-то господин пастор. Мальчик нашего мельника болен; ему нужно лежать на солнце. Где бы здесь можно было достать хорошее мягкое кресло для лежания. Я безрезультатно искала во всех магазинах.

— Моя жена изображает из себя друга человечества,—насмешливо сказал Гейнц Штромвиц.—Но это у нас пройдет, когда она увидит, как неблагодарна эта сволочь. Их не нужно баловать, а то они становятся ужасно нахальны. Но моя жена не желает этого видеть. С каждым больным она так возится, как если бы это был кто-нибудь из нашего круга. Притом ведь совсем не мешает, чтобы от времени до времени такой грязный парнишка отправлялся к праотцам. Ведь у этих людей, как у кроликов, каждый год являются новые.

Лена больше не могла сдержаться.

— Будете ли вы так же говорить о своих собственных детях, граф Штромвиц?—спросила она дрожащим от гнева голосом.

Он с изумлением посмотрел на нее.

— Но ведь это совсем другое дело, фрейлен Зельдер.

Лена украдкой взглянула на Джойю. Молодая женщина вся побледнела, закусила нижнюю губу и бросила своему мужу полный ненависти взгляд.—Милое, доброе дитя не так уж укротимо,—подумала Лена злорадно.—Бравому Гейнцу не так-то с ней будет удобно.

Старый пастор успокоительно провел по узкой, белой руке молодой женщины:—Я достану вам кресло, графиня.

Джойя задержала добрую старую руку в своей руке:—Не говорите мне «графиня», милый господин пастор, и вы тоже, фрейлен Зельдер, зовите меня, просто Джойя. Вы оба первые настоящие люди, которых я здесь нашла.

Наступило неловкое молчание. Затем старик быстро заговорил о других безразличных вещах.

Когда подали экипаж, Джойя стала просить Лену часто бывать у нее.—Придите завтра же, к обеду, с тем, чтобы остаться на все послеобеденное время.

Когда они уехали, старый пастор со вздохом облегчения сел возле Лены.

— Эта женщина мне нравится,—сказала она.

Он утвердительно кивнул головой; его морщинистое доброе лицо стало грустным:—Бедное дитя! бедное дитя!

* * *

— Ты совсем сумасбродная, Джойя!—раздраженно сказал Гейнц Штромвиц своей жене, когда экипаж катился по шоссе.

— Ты совершенно забываешь, что это не люди нашего круга. Старый пастор очень хороший человек; господин Зельдер тоже очень почтенный господин, но ведь они все-таки бюргеры. Мы не можем с ними быть в интимных отношениях.

— Но мне они гораздо больше нравятся, чем твои родственники и друзья,—вызывающе ответила Джойя.

— Я не говорю, что ты с ними не должна быть любезной, но ты не должна представлять себе, что они принадлежат к нашему кругу,—сказал он более спокойно,—вы за-границей слишком легко относитесь к этому. У нас же, наоборот, умеют соблюдать должное расстояние.

Она не обратила внимания на его последние слова.—Не принадлежат к нашему кругу,—повторила она в раздумьи.—Но и я, Гейнц, не принадлежу к нему.

— Как моя жена, ты к нему принадлежишь. Кроме того, ты не должна быть слишком скромной. И твоя семья из хорошего, старого дворянства. Форроджиони получили дворянство уже в пятнадцатом веке, и вот еще что: эта Лена Зельдер будто бы вращается в Берлине в невозможной среде,—социалисты, жиды, анархисты и как они еще там называются. Мне совсем не желательно, чтобы ты прониклась ее идеями. Я знаю, что у некоторых людей даже нашего круга считается модой иметь либеральные воззрения. Но я лично в своем доме этого не выношу. В роду Штромвиц еще не было и не должно быть людей, которых можно было бы обвинить в либерализме.

Джойя молчала. Приехав домой, она зашла в свой маленький салон. На стене висел большой вид Флоренции. Глазами, полными тоски по родине, рассматривала она стройные башни, устремленные в солнечное небо, мягкие холмы, окружавшие, как рамой, город. Затем она бросила через окно враждебный взгляд на большую равнину. Да, она ненавидела эту страну, ее серую монотонность, и также людей, этих жестких, угловатых людей с их ограниченными идеями и глупым высокомерием.

— Я не ваша,—сказала она сквозь рыдания, пряча лицо в руки,—никогда не была и быть не хочу.

Она опустилась на софу и горько заплакала. Над ней, в темнеющей комнате, улыбалась вся в солнечном свете Флоренция, город цветов и света.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Запах сосны наполнял дом. В зале фрау Зельдер убирала елку, в то время, как Фридрих, растянувшись в качалке, рассказывал про свой гарнизон. Густав, Иоганн и Лена приехали накануне. Господин Зельдер настоял на том, чтобы на сей раз Рождество праздновалось семьей в полном сборе. Кроме Фридриха, который во всем сходился с отцом, дети явились неохотно. Лене, которая имела на сей раз особые основания оказать родителям немного нежности, стоило большого труда уговорить обоих молодых людей поехать с ней.

Теперь они сидели все трое в комнате Лены. Густав громко зевал.—Какое дьявольское учреждение, эти семейные празднества. Какая, собственно, радость родителям в том, что мы здесь будем скучать. Что ты сюда притащилась, Лена, это я еще понимаю. Ты хочешь отпраздновать в последний раз христианское Рождество.

Лена рассмеялась, но сейчас же стала серьезна.—Когда я подумаю о том, каким это горем будет для родителей, мне становится очень тяжело.

— Зачем же ты это делаешь? Неужели ты уж так страстно влюблена в Анатоля.

Она не отвечала, задумчиво глядя на снежные хлопья, пригоняемые ветром к окну. Страсть в ее романе как будто никакой роли не играла. Они так привыкли друг к другу, что иначе не могли представить жизнь. Все устроилось в высшей степени

просто и прозаично. Недели три тому назад она засиделась поздно у Анатоля, диктовавшего ей какую-то статью, которую она быстро писала на машинке. Когда она поднялась, чтобы уйти, он сказал с досадой:

— Как это скучно, что ты всегда должна уходить. Иногда мне ночью придет в голову что-нибудь важное, что нужно еще до утра написать, и тогда тебя нет, конечно.

— К сожалению, против этого ничего не поделаешь!

Он в раздумьи посмотрел на нее.

— Тебе ведь уж, собственно, двадцать один год.

— Да, с Пасхи. А что?

— Ты, значит, сама себе уж господин.

— О, да, слава-богу!

— Тогда я действительно не вижу причины, почему бы нам не пожениться.

Она с изумлением посмотрела на него.

— Жениться?

— Чему же ты так удивляешься? Мы так хорошо уживаемся; лучшего секретаря я себе представить не могу. Кроме того, ты ведь совсем недурненькая.

— Но...

— Решись, Лена,—настойчиво сказал он.—Уже действительно поздно.

— Ты мог бы по крайней мере сказать мне, что любишь меня, —с упреком сказала она.

— Прости, об этом я совершенно забыл, но ведь это само собой разумеется.—Он поцеловал ее в свежие, розовые губы, глаза его с ее лица перешли на рукопись.—Ты уж там опять ошиблась, на второй строчке.

Нет, он не был страстно влюбленным женихом, но все-таки при мысли о нем, Лене делалось легко и хорошо. Он был ее лучший друг и человек, перед непреклонной волей и поразительной работоспособностью которого она больше всего преклонялась. Так как они оба знали , что родители Лены никогда не дадут согласия на этот брак, они решили пожениться в январе и сообщить об этом семье Зельдер, как о совершившемся факте.

Иоганн и Густав узнали об этом уже на следующий день. Густав принял эту весть с обычным для него спокойствием.

— Тем лучше, теперь я опять сумею спокойно работать.

Голос Иоганна прервал мысли Лены.

— Теперь Савин уже в России.

— Да, жаль, что он уехал. Он мог с таким же успехом остаться в Берлине ..

— Он удрал от немецкой трезвости. Ему хотелось опять подышать революционной атмосферой.

— Будем надеяться, что он там не застрянет надолго.

Густав потянулся: — Ну, я иду спать, невыносимая скука!

Вся семья собралась у елки; даже Ильза с мужем и двумя детьми приехала к празднику. Лена была молчалива и грустна, Густав с трудом скрывал свою скуку, господин Зельдер оглядывался в кругу своих с гордой растроганностью.

— Вот наш святой праздник и об'единение всех. Как прекрасна мысль, что в этот вечер во всем нашем отечестве горит везде елка, и все сердца об'единены мыслью о Спасителе.

— Есть и несколько сот тысяч жителей, которые в Христа не веруют,—сказал Густав.

Учитель гимназии бросил на него строгий взгляд:—Я говорю только о наших единоверцах, других не считаю.

Фридрих подошел к Лене:—Мама рассказала мне, что ты очень дружна с молодой графиней Штромвиц. Ты можешь меня взять с собой, когда пойдешь туда? Я ведь знаю ее мужа?

— Джойя неохотно знакомится с чужими людьми.

— Джойя? Ты зовешь ее Джойя? Вы так интимны? Ты, оказывается умнее, чем я предполагал, умеешь завязывать хорошие знакомства. Может быть, они тебя и в Берлине пригласят. Они там ведут дом на очень широкую ногу. Даже кронпринц бывает у них.

Ильза вполголоса жаловалась матери.—У Адольфа столько неприятностей с его подчиненными. Эти люди становятся с каждым днем все нахальнее. Это ужасно расстраивает его. И как раз теперь, когда я в положении.

Иоганн забился в уголок и наблюдал семейную идиллию. Как чужды друг другу были эти люди, как мало понимали они друг друга! Он вспоминал многие рождественские вечера, проведенные им в этом доме. Всегда было то же самое: принужденно-праздничное настроение. Старая детская грусть овладела им. Так он в детстве забивался в уголок, чужой между чужими. Там, в жизни, где кипела работа, он не знал этого чувства, там нашел он свое место, нашел людей, среди которых он был свой.

Мужчины собрались отдельно, Ильза и мать играли с детьми. Лена незаметно выскользнула из комнаты. Отдельные слова долетали до Иоганна. Он слышал резкий голос Фридриха:— Дисциплина... Порядок... Проклятая красная бомба...—И хриплый голос Адольфа: —Надо действовать машинами...

— Наш кайзер уж с ними справится,—это учитель гимназии.

— Да, мама, маленькая Анни уж недурно поет. Я научила ее петь рождественский псалом, хочешь спеть его бабушке, голубчик?

Фридрих все больше горячился:

— Этот проклятый гнилой мир. Он разоряет Германию. А другие нации становятся все заносчивее. Нам необходима хорошая война, тогда...

Маленькая Анни встала, сложила ручки и запела тоненьким детским голоском:—Слава Господу на небе и мир на земле и во человецех благоволение.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Когда горный поток приближается к обрыву, с которого он свергается шумным водопадом в грозную глубь, маленькие волны спешат, перегоняя друг друга, вперед, скользя через камни и глыбы, чтобы ринуться в чуждую, неприютную бездну, как если бы разрушение звало их манящим голосом, обещая обманное счастие, украшая бедствия и смерть сладкими словами. И маленькие волны спешат, перегоняясь, не чуя опасности, подбодряя друг друга к быстрейшему бегу, и свергаются вниз, не отдав себе в этом отчета.

Так бегут годы, укутанные неведомым ужасом, тайно подкарауливающим их во тьме. По временам молния прорезывает тучи, освещая близость бездны, и тогда более мудрые предостерегают: «Мы идем к гибели!». Но большинство смеется над ними, над галлюцинациями и привидениями, среди бела дня преследующими их.

Борис Израилев принадлежал к этим осмеиваемым пророкам.—Но видите ли вы, что мы с каждым днем больше приближаемся к катастрофе?—говорил он друзьям.—Неужели вы думаете, что вооружение народов, травля, поднятая прессой ничего не значат, являются какой то незначащей игрой? Работайте; работайте, агитируйте массы, вырывайте с корнем ядови-

тое растение, называемое патриотизмом. Разве вы не замечаете, как оно повсюду разрастается и своим удушливым запахом затуманивает и усыпляет мозги людей?

И Савин писал из России в том же духе: —Готовится преступление, самое ужасное в человеческой истории. Наше правительство чувствует близость революции и старается всеми средствами отвлечь народ от нее. Мы делаем все, что можем. Работайте и вы. Каждый час неизмеримо важен.

Друзья смеялись: —Вы, русские, сумашедшие. Никогда еще идея интернационализма не была так устойчива. Неужели вы допускаете возможность войны рабочих одной страны против рабочих другой. Если это понадобится, в течение нескольких часов вспыхнет всеобщая забастовка во всех странах, тогда пусть правительства дерутся между собой, рабочие с места не сдвинутся.

Больше всего развивал эти идеи Филипп Шерман, когда разговор об этом поднимался в их тесном кругу, он говорил: — Вы не знаете немецкого рабочего, вы не подозреваете, какой культурной высоты он достиг. Он не пойдет на удочку военных лозунгов, как это возможно на востоке или в романских странах. Кроме того, вы недооцениваете наших вождей; ни один из них не будет голосовать за военные кредиты.

Кернер качал своей седой головой.

— В вождях я далеко не уверен. Вот уже некоторое время, как сквозь их речи проходит какой-то «немецкий» дух. На рабочих же положиться можно. Классовые противоречия особенно обострились в эти последние годы. Пролетариат никогда не пойдет биться за господ. Он пойдет в один лишь бой,—свой собственный.

Так прошло лето, знойное и благоуханное. Прошла и зима с трескучими морозами; со стремительной быстротой вертелось навстречу гибели колесо времени.

Маленький круг друзей мало изменился. Лена и Анатоль поженились, и маленький, черноглазый мальчуган с шумом возился в их скромной квартирке. Иоганн окончил медицинский факультет и занялся практикой, которая материально мало его обеспечивала, так как пациенты были почти исключительно бедные. Густав создал себе имя в ученых кругах. Он был все тем же книжным червем и, как прежде, не выходил из своей одинокой комнаты. Фридрих окончательно порвал с сестрой после ее

замужества; его возмущение не знало границ, и все его старания были направлены на то, чтобы скрыть от своих товарищей по полку, что его сестру зовут фрау Зильберблят. Он же не переставал все сызнова возбуждать гнев родителей против блудной дочери и добился того, что родительский дом был для нее совершенно закрыт. Учитель гимназии не нуждался для этого в сильном воздействии, а фрау Зельдер совершенно подчинилась его воле, как она это делала всю жизнь. Однако в каждом ее письме к Густаву неизменно повторялся в виде post scriptum'а вопрос:—Как поживает Лена?

Уже с полгода, как их тесный круг увеличился еще одним членом. В один декабрьский вечер в квартире Лены раздался звонок, и когда она открыла, на пороге стояла Джойя Штромвиц.

— Могу я у вас остаться?

— Конечно, но...

Джойя крепко сжала руку Лены.

— Не расспрашивай много, я смертельно устала. Впусти меня. Мы расходимся.

— Наконец-то!—несколько бестактно вырвалось у Лены. Она увлекла за собой приятельницу в столовую. Понемногу она узнала всю историю.

— Я не могла этого выносить больше,—рассказывала сильно осунувшаяся и побледневшая женщина,—я не могла больше видеть, как Гейнц обращается со своими людьми. Можешь ты себе представить, он бьет их палкой. А когда я попробовала заступиться, он закричал: «Это мой дом. Здесь все делается так, как я хочу». А кроме того, затаенные и открытые упреки семьи, что у меня еще нет сына. «Такие прекрасные владения! К кому же они перейдут?»

— Бедненькая!

— Я сжимала зубы, стараясь уговорить себя, что это мой долг—остаться у Гейнца. Но тут случилось нечто такое, что я совсем не могла перенести. У старшего из наших рабочих была славная молодая жена, милое, нежное создание. Она оба так были счастливы, а когда она стала готовиться быть матерью, она ходила с каким-то просветленным лицом. Однажды вечером была ужасная погода—дождь и буря; рабочий пришел к моему мужу и просил его послать за врачем, потому что у его жены начались роды. «В такую погоду запрягать моих лошадей и

гнать их два часа!—закричал Гейнц.—Вы с'ума сошли?» Рабочий остался внешне спокоен, хотя и видно было, как он мучается беспокойством за жену. «Она очень слабая женщина,—сказал он,—я очень прошу милостивого господина. Графиня, вы всегда были так добры к нам. Помогите нам теперь». Тогда мы оба, он со слезами на глазах, я, дрожа от подавляемого негодования, стали просить Гейнца. Он пришел в ярость.—«Ваши жены рожают легко, как собаки. Сегодня ни одна лошадь не выйдет из конюшни!» Он позвонил и велел сказать кучеру, чтобы он не дал запречь ни одной лошади. Лена, лицо этого рабочего! Эта беспомощная ярость, это отчаяние! Я пошла с ним к его жене. Это была страшная ночь! К утру она родила мертвого ребенка, а часом позже она сама умерла. Муж как бы окаменел, не проронил ни слова. Лишь раз, проходя мимо меня, — я плакала в углу комнаты, —он погладил меня по руке и сказал: «Не плачьте, вы сделали все, что могли, а для моей жены лучше было умереть. Господин бы нас все равно прогнал, а где бы мы теперь нашли работу? Помещики не берут теперь семейных рабочих с маленькими детьми, потому что жена не может идти на работу».

К полудню Гейнц пришел за мною. Комната полна была народа, женщины пришли попрощаться с умершей. Я была, как помешанная. Когда Гейнц вошел, я указала ему на кровать и закричала ему: «Убийца». А когда он властно заговорил со мной, я потеряла всякое самообладание. «Ты хочешь сына от меня, преступник!—закричала я.—Ты не коснешься меня больше. Я тебя привлеку к суду, убийца! Убийца!»

Люди окружили нас. «Идем домой, Джойя»—убеждал он меня испуганно.

«Я не войду больше в твой дом!» Я обратилась к людям:—«Не давайте ему дотронуться до меня».

«Марш работать, сволочь, или вы все будете прогнаны!»—зарычал Гейнц. И люди выскользнули один за другим до последних двух старух.

— Я уже не вернулась в замок. Мать мельника дала мне приют. Теперь бракоразводный процесс начат. Мои родители негодуют на меня и не хотят меня больше знать. Тут я о тебе подумала, Лена. Вы же боретесь против зла, против преступлений, примите меня! Я должна отомстить за умершую женщину и за другие бесчисленные жертвы.

Когда Лена рассказывала своим друзьям про Джойю, Борис Израилев кивал удовлетворенно:—Из этого теста лепят фанатиков. Пусть она останется у нас. Я буду следить за тем, чтобы она не делала никаких ненужных сумасбродств.

Джойя легко приспособилась к кружку. Она была готова ко всякой работе, и Анатоль, особенно умевший использовывать все способности людей, вскоре открыл в молодой женщине ораторское дарование. Пылающий гнев ее речи захватывал самых равнодушных слушателей, в коротких фразах она набрасывала картину за картиной, рисовала несправедливость за несправедливостью, пока перед всеми глазами не восставала жуткая картина порабощения, несправедливости и человеческих страданий, режущая глаза, прожигающая мозги.

— Олицетворенная революция!—сказал молодой художник, приставший тоже к кружку.—Так надо рисовать ее. С этими отливающими золотом волосами, развевающимися, как пламя. Все в ней жизнь, движение, рвущаяся ненависть.

Весь кружок полюбил ее и радовался ее жизненной силе, ее пылу. Что касается Иоганна, то для него она явилась каким-то откровением. Ее светлая жизнерадостность была для него согревающим пламенем. Всякое уныние, всякие колебания и слабость проходили в ее близости. Тяжелое детство, чувство одиночества, которое еще и теперь по временам его охватывало, исчезали из его души, яркий, сверкающий свет открывался перед ним. У него было такое чувство, как если бы он, наконец, после долгих, бесплодных исканий нашел заветную, солнечную, блаженную, родную страну.

— Она как раз то, что требуется нашему мечтателю,—радостно говорила Лена своему мужу,—она его встряхнет.

— Он смотрит на нее такими же сияющими глазами, как ребенок на сверкающую огнями елку,—смеялся Анатоль.

Но Иоганн, тихий и замкнутый, не решался заговорить, пока однажды вечером, после собрания, они вместе не возвращались домой. Перед квартирой Лены они остановились, чтобы проститься. Прилив всепобеждающей страсти к этой женщине внезапно охватил его. Ему казалось, что он умрет, если в этот момент расстанется с ней. Он крепко сжал ее руку, задерживая ее в своей.

— Джойя, не уходи к другим, иди со мной, ты моя!—неожиданно вырвалось у него.

Она не отвечала. Тогда вся тоска безродного, все стремления и искания одинокого излились в потоке пылких, бессвязных слов. Наивные, почти детские излияния любви, страсти. И еще раз, как бы подкрепляя их, настойчивое:—Ты моя!

— Ты теперь лишь узнал это?—тихо спросила она. Не только слова, но и тон их были желанным ответом.

В темноте он обвил ее руками и увлек за собой в свою маленькую комнатку. Душистые липы извне наполняли ароматом его уголок. Тихий ветерок шевелил занавеску на окне.

* * *

В Сараеве был убит австрийский наследник престола.

— Какое нам до этого дело? Одним Габсбургом меньше,—спокойно заметил Филипп Шерман. Но Анатоль был другого мнения:—Это удобный предлог для милитаристов.

— У нас они слишком слабы, чтобы вызвать катастрофу, — убежденно утверждал Шерман.—Они кричат, бряцают саблями, но ничего не дерзнут сделать, потому что они знают хорошо, что в случае об'явления войны весь народ будет против них.

— А в других странах?—озабоченно вставила Лена.

— Англия слишком разумна, чтобы не быть против войны,— отозвалась фрау фон-Рейтер, сидевшая у окна с маленьким Эммануилом на руках. Она великолепно знает, с какими колоссальными материальными убытками это для нее связано.

— А во Франции социалисты слишком сильны, кроме того, у них есть человек, умеющий держать в руках массы.

— Жорес всеми силами воспрепятствует войне.

Старый Абрам Леви забился в уголок. Глубокая грусть овладела им после сараевского убийства. Он все время молчал, казалось, не слышал обращенных к нему слов, уставившись неподвижно вдаль, как бы видя там что-то страшное.

Прекрасный летний день яркими солнечными лучами заливал Берлин. Лена накрывала на стол, жалуясь на неаккуратность Анатоля. Борис Израилев, которого солнышко выманило из дома, стоял у окна. Абрам Леви тоже пришел к обеду.

— Мне кажется, продаются какие-то листки на улице, — сказал Борис.—Люди толпятся. Я сойду посмотреть, в чем дело.

— Нет, Борис, не ходите по лестницам. Сейчас придет Анатоль, и мы все узнаем.

— Зло готовится,—пробормотал в своем углу Абрам Леви.

Дверь с шумом распахнулась. Анатоль ворвался, запыхавшийся и весь бледный:

— Жорес убит!

— Жорес?

Стакан вылетел из рук Лены.—Невозможно! Когда?.. Кто это сделал?

Вопросы посыпались со всех сторон. Потом все замолкли. Гнетущий страх, злые предвидения охватили всех. И внезапно старик в углу возвысил свой голос, звучавший возмущением и отчаянием:

— Горе! Разрозненные факелы освещают ночную тьму, колеблются на ветре. Вихрь задул большой, светлый, а другие трепещут и горят все слабее и темнее.

— Горе! И они потухнут. Ночь ворвется и прогонит свет. Ночь царит повсюду, и из тьмы вопли вздымаются к небу!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Большой яркий факел, освещавший Францию, был потушен. Остальные трепетали в мощном вихре, дрожали, горя все слабее и слабее и, наконец, тухли. Ночь безумия ширилась над землей, проникала в мозг и душу. Едкий яд лживых речей и печати отравлял мозги. Люди превратились в стадо, в бессильно-перепуганное стадо, которому крик ужаса пастуха возвещает приближение волка. Необдуманно они мчатся вперед, топча ногами все и всех, препятствующих безумному бегу. Никто не вырывался из стада, никто не открывал правду одураченным. Действительно ли не возвышается ни один голос или терялись они в реве массы? Где были вожди? Где мужи, дух которых управлял массами десятки лет? Укрылись ли они трусливо от вихря, или и их мозги были ослеплены, как мозги самых бессознательных из их последователей?

Из накопленных страстей, из низкой зависти, из честолюбия и жадности, из трусости и легковерия люди собственными руками созидали Молоха, чудовище с тысячью щупальцами и ненасытной жадностью, кровавый призрак, дышащий смертью и разрушением. Они возвысили его, молились ему с самоистязующим неистовством и назвали его: отечество.

Отечество! Никогда больше после этих жутких лет ни один мыслящий человек не сумеет без содрогания произносить это слово. Две священные вещи, соединенные вместе, образовали демона, уничтожающего человечество: отец-хранитель, заботливый покровитель своих; земля: плодотворная, щедрая почва, золотистые поля, плодородие, благодать[1]).

Один факел потухал за другим; да горели ли они когда либо? Во всех парламентах представители народа голосовали за военные кредиты. Лишь в Сербии два человека имели мужество голосовать против них, да еще в Германии один во время голосования покинул зал. Один единственный!

Где были вожди? Слепые и предатели взывали к народу, слепые и предатели ради собственных выгод теснились у трона. Типографские чернила вливали яд в толпу.

— Всеобщая забастовка? Пусть начинают другие, и мы последуем их примеру,—так говорилось в каждой стране.—Мы не должны оставлять нашу страну на произвол судьбы.

Как внезапно у них всех появилась родина, у этих людей, которые называли родиной весь мир и смеялись над пограничными столбами. Как внезапно у них появился свой народ, у тех, которые раньше знали один лишь Интернационал. Люди, не признававшие никакой борьбы, кроме борьбы классов, заговорили звучными словами на площадях и трибунах о «нашей» войне, призывали порабощенных и угнетенных на бой против своих братьев рука об руку со своими угнетателями.

— Бог вдунул безумие миру, и никто не может от него обороняться,—вздыхал Абрам Леви, когда однажды вечером, после об'явления войны Англией, друзья собрались у Лены.

— На нас сделано нападение. Мы принуждены защищаться!—воскликнул Филипп Шерман.

— На нас не нападали,—твердо сказал Иоганн, а Джойя воскликнула запальчиво:—Эту ложь несете вы в народ, чтобы поднять его на войну.

— Должны мы свою страну дать врагу на опустошение?—возмущенно протестовал Филипп.

— Что такое страна, когда дело идет о людях?—кроткий, старый голос госпожи фон-Рейтер дрожал.—Я не могу выйти на улицу и видеть этих марширующих молодых, сильных лю-

1) По-немецки отечество—Faterland, в дословном переводе земля отца. Прим. пер.

дей. Румяные, крепкие, распевающие песни, они в то же время лишь призраки, мертвецы, чувствующие себя еще живыми. У меня такое чувство, что я должна во что бы то ни стало остановить эти поезда, уносящие людей, здоровых, полных жизни людей на смерть.

— И никто ничего не делает, никто,—мрачно сказал Анатоль.—Одни потеряли голову, другие, как мы, сидят дома и возмущаются.

— Германия не виновата в войне. Враги нам ее навязали! —

— Враги? Филипп, кто эти враги? Несчастные пролетарские массы, сгоняемые изо всех стран на фронт, или правительства своих же стран?

— Он говорит уже совершенно патриотическом стилем,— с'язвил Анатоль.—Враги!.. ты быстро нашел свое место, милый Филипп.

— Теперь неуместны эти глупые выходки.—Свежее лицо Филиппа побагровело. -Теперь, когда отечество в опасности, прошло время мелочных дрязг. Это видят и наши вожди и остановили борьбу против правительства на время продолжения войны. Мы не имеем возможности действовать иначе, но социалисты других стран, которые легко могли это сделать, стали изменниками Интернационалу.

— Интернационал!—в раздумьи сказала Лена.—Не звучит ли это слово насмешкой! Мы были уверены, что строим нерушимое здание, а оно разлетелось при первом порыве вихря.

Анатоль вскочил.—Мне надоело это бесполезное нытье. Иоганн, Джойя...—Он отвел обоих в угол и с жаром заговорил с ними о чем-то.

— Я забрала Бориса Израилева к себе,—сказала г-жа фон-Рейтер,—как русский и как революционер, он может ожидать всевозможных неприятностей. Я его укрою от них своим именем.

— Я надеюсь, что вы, однако, будете следить за тем, чтобы он не вел никакой пропаганды против войны. В настоящий момент...

— Если вы хотите принять меры против антимилитаристской пропаганды, милый Филипп,—прервала его старуха со спокойной улыбкой,—то вы должны начать с меня. Я не скрываю, что при всякой возможности говорю против войны и что всегда это делать буду.

Филипп Шерман был несколько смущен.—Вы не можете хорошо понять моей точки зрения. Вы, как англичанка...

— Это вы не можете понять, Филипп. Я так же точно поступала бы и у себя на родине. Но вы, кажется, забыли все, что люди бывают не только немцами или англичанами, австрийцами или русскими, но и прежде всего людьми вообще. И как таковые, они должны быть интернационалисты, думается мне.

Джойя и Иоганн стали собираться уходить. Другие последовали за ними. Анатоль сел на диванчик возле жены.

— Лена, старушка подала мне идею. К войскам мы не можем добраться. Не попробовать ли нам на железнодорожников действовать.

Она одобрительно кивнула. —Ты хочешь пойти к ним?

— Да, сейчас же. Сегодня еще отходит большой транспорт войск с Фридрихсбангофа. Мне сказал Кернер. Один из его друзей там служит.

— Я пойду с тобой.

— Нет, Лена, это опасно. Ты не должна рисковать из-за ребенка.

Она обвила его руками.—А ты? а ты?

— Леночка, мой лучший, дорогой товарищ, не удерживай меня.

Она побледнела.—Нет, этого я не делаю.—И прибавила тише, дрожащим голосом:—Ты знаешь, Анатоль, как счастлива я была все эти годы с тобой.

Он крепко прижал ее к себе.

— Что они тебе сделают, если задержут?

— Не знаю, —сказал он поднимаясь.

— Будь только осторожен.

— Да, Лена. Если бы я не вернулся, ты будешь продолжать нашу общую работу.

— Да.

Он вышел. Она долго смотрела в окно вслед быстро удалявшейся фигуре, пока он совсем не скрылся из глаз.

На вокзале была дикая давка. Голоса заглушали друг друга. Топот бесчисленных ног глухо отдавался под сводами. Пыхтящие паровозы выбрасывали черные клубы дыма. Часовые мерно шагали взад и вперед, со скучающими неподвижными лицами глядя на сумятицу.

Внезапно все как бы приостановилось, затем поток людей устремился в одно место где, на наваленных высокой грудой

ящиках поднялась фигура человека. Бледное лицо возвышалось над бесчисленными головами, теснящимися вокруг него. Громко, дикой, яростной силой зазвучал его голос.

— Что делаете вы все? Вы работаете! Знаете ли вы, что значит ваша работа? Смерть называется она, смерть вашим братьям. Без этой работы поезда не пойдут. Ваша работа уносит людей на смерть. Это все равно, как если бы вы каждого из них в отдельности потащили к гибели.

— Остановите работу! Как часто останавливали вы ее, когда дело шло о незначительном повышении заработной платы. Теперь же, когда дело идет о бесчисленных человеческих жизнях, вы усердствуете для угнетателей. Как часто в ваших собраниях раздавались слова: «Мы не хотим больше работать для господ»! Теперь вы для них убиваете. Рабочие, ни один поезд не уйдет без вашей воли! Дайте пример другим! Когда об этом узнают наши братья в других странах, те самые, которых вы теперь в своем безумии называете врагами, и они...

Сильные руки сзади стащили его с возвышения. Четыре солдата накинулись на него. Он оборонялся изо всех сил. Дикая ругань полилась на него:—Изменник! шпион! жид! бей его!

Дежурный офицер выступил вперед:

— Вяжите его!

Его увели.

Работа вновь закипела. Шум и грохот, торопливые шаги, крики, пронзительные свистки вновь заполнили вокзал.

Ночью пыхтящие паровозы увозили переполненные вагоны на восток.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Густав мягко, но энергично оттолкнул маленького Эммануэля, который с надоедливой нежностью все цеплялся за его колени, и посмотрел на свою сестру.

— Ты должна радоваться, что дело твоего мужа так благополучно окончилось. Шесть лет тюрьмы еще очень мягкое наказание. И кому ты этим обязана?

— Густав, милый, я знаю, что ты для нас сделал.

Он прервал нетерпеливо:—Да разве я говорю о себе, хотя и мои друзья приняли в этом горячее участие. Главная заслуга

принадлежит, однако, Фридриху. Если бы он неделю после этого не отличился на фронте...

— Как шурин «героя», Анатоль еще дешево отделался. Я бы только хотел знать, что собственно его толкнуло на это безумие.

— Он должен был, Густав, он не мог иначе.

— Удивительно. Что мне в нем нравится, это то, что он, этот импульсивный человек, может так совершенно не поддаваться массовому внушению. Но ведь ему незачем было это выкрикивать перед всеми.

— Не скрывать же нам своих убеждений.

— Не становись сейчас же на котурны. Впрочем, скажи мне, что такое убеждения? Пять месяцев тому назад мы все утверждали, что убить человека преступление, а теперь, когда у кого-нибудь достаточное количество убийств на совести, он получает за это железный крест.

— А ты это одобряешь?.

— Нет. Мне вся эта история представляется массовой растратой ценностей. Я очень рад, что моя близорукость избавила меня от военной службы. У меня нет охоты ни себя самого давать убивать из неизвестных мне побуждений, ни убивать других людей, которые никогда мне ничего дурного не сделали. Но это еще недостаточный повод для того, чтобы кричать об этом на улице и рисковать виселицей. Если люди так глупы, что позволяют с собой обращаться, как со скотом, который ведут на убой, то так им и надо. Впрочем,—прибавил он, становясь серьезным,—я питаю известное уважение к Анатолю и ко всем вам, остальным дурачкам. Вы, по крайней мере, последовательны, не так, как этот невыносимый блондин, которого я часто у вас встречал и который не в состоянии сказать пяти слов, не прибавляя к этому: «я—социал-демократ», и такой человек идет и записывается в добровольцы. Как его зовут?

— Филипп Шерман.

— Надо надеяться, что его скоро убьют. Терпеть не могу патриотических социалистов, как и чистых патриотов. Мне кажется, мне все люди вообще противны стали. Куда ни придешь: Слышали уже? Новая победа! Пленные! Неприятель потерпел тяжелое поражение! Какое мне дело до всей этой войны! Я хочу работать спокойно.

— И ты не сумеешь остаться равнодушным. Теперь приходится пристать к той или к другой партии.

— Не изображай из себя ясновидицы. Это ты переняла у старого раввина, который вечно торчит у вас. Впрочем, и мать мне пишет приблизительно то же. Я принес тебе ее письмо,— это документ нашей эпохи. Вот оно, читай!

Лена прочла:

«Милый Густав!

Ты наверное знаешь уже, что наш милый Фридрих получил отличие—железный крест. Отец и я очень гордимся этим и благодарим бога, что он дал нам такого храброго, благородного сына, и что мы можем подарить его отечеству.

Твое последнее письмо очень огорчило твоего отца; он не может понять, как ты можешь так замыкать свое сердце в такое время. И я тебя не понимаю. Неужели ты в родительском доме не проникся любовью к родине и к нашему милостивому кайзеру. Неужели тебе не дорог твой народ? Отец очень огорчен тем, что ты оказался негодным для военной службы. Он был бы счастлив отдать родине обоих сыновей.

Только что он принес мне радостную весть, что на востоке одержана большая победа, и неприятель потерял около двадцати тысяч человек. Бог и впредь нам будет помогать»...

Лена раздраженно бросила письмо на стол.—Не могу читать дальше, противно!

Густав рассмеялся.—Наша добрая, кроткая мать! Радостная весть, что двадцать тысяч человек убиты. Это, впрочем, я могу еще понять. Она ограничена и лишена воображения, как все женщины. Она даже не постигает, что враги тоже люди. Но как она пишет о Фридрихе, своем любимчике! Горда его отличием, счастлива, что может принести его в дар отечеству! Мне всегда казалось, что женщина будет кричать: «Отдайте мне назад моего сына! По какому праву подвергаете вы его жизнь опасности? Какое мне дело до вашего проклятого отечества. Верните мне мое дитя»!

— Бесчисленные женщины так именно и думают,—грустно возразила Лена.

— Почему же они не кричат об этом? Почему они ничего не делают? Вы ни к чему не пригодны, вы, женщины!

- Потому что мы трусливы. Но дай только горю и отчаянию пересилить эту трусость, и ты увидишь, на что мы способны.

Неустанно лил холодный, мелкий дождь. Фонари отсвечивали на мокром асфальте, туман окутывал все, несколько за-

глушая шум колес и свистки автомобилей. Джойя спешила домой, крепко сжав руки в своей муфте. В комнате она застала Иоганна, неподвижно сидевшего в глубоком кресле.

— Ты опять все время с места не двинулся, Иоганн?

— Зачем?

— У меня хорошие новости.

— Нет хороших новостей.

Она сняла шляпу и села на ручку его кресла.

— Иоганн, нет никакого смысла здесь сидеть и отчаиваться.

— А что мне делать?

— Работать! Наших так мало, каждый человек важен. Почему ты не пришел к фрау фон-Рейтер?

— Чтобы слушать, как три-четыре человека, собравшись в салоне, украдкой шепчут слово «революция», когда перед окнами толпа рычит: «Победа»!

— Сегодня было не три или четыре человека. Нам казалось, что все вожди исчезли. Есть еще вожди!

Он болезненно улыбнулся:— Возможно еще, что нашелся один или другой. Но что могут сделать вожди без массы? А народ настроен так, как этого хотят правительственные газеты.

— Потому, что мы даем этим газетам свободно действовать.

Он вздохнул:—Ты ребенок, Джойя! Неисправимая оптимистка. Все разрушено, сломано, а ты выхватываешь из развалин незначительный камень и, радостно сияя, восклицаешь: Из этого камня я воздвигну все здание!

— Сегодня прибавился новый камень, нет, целых два. Да не смотри ты на меня с таким отчаянием! А то ты и у меня отнимаешь всякое мужество.

Он нежно погладил ее огненно-рыжие волосы, влажные пряди которых небрежно выбивались.

— Не будь нетерпеливой, Джойя! Ты должна понять мое настроение. Все, во что верили годами, рухнуло в одну неделю! Из этого разрушения ничего уж нельзя отстроить. А люди! Я прохожу по давно знакомым улицам, как по чужому городу. Незнакомый язык звучит вокруг. Я встречаю друзей, рад их видеть и после первых же слов замечаю, что они мне чужие.

Она озабоченно смотрела на него: — Ты не должен так опускаться.

Он продолжал, не обратив внимания на ее замечание и как бы говоря сам с собой:

— Я чувствую себя теперь, как в детские годы; какие-то старые неясные воспоминания пробуждаются во мне. Я вижу большой город, слышу дикие крики. Приходят люди с дубинами, нападают на других людей. Откуда эта картина? Я ничего подобного не припоминаю. А затем еще картина, которая меня преследует даже во сне: на высоком холме разрушенное здание. Кругом плач и стенания, и я ясно чувствую, что вместе с этим зданием разрушены все надежды людей.

— Мы его вновь отстроим!—с жаром воскликнула она.— Строители уж на работе у нас и в других странах.

Он сокрушенно покачал головой.—Я их не вижу.

Затем после некоторой паузы:

— Ты мне хотела что-то сказать.

— Да, пришло письмо от Савина.

— Из России? Как это возможно?

— Мы сами не знаем. Сегодня утром Борис нашел в своей двери грязный пакетик без надписи. В нем лежала записка, почерк Савина, всего несколько слов: «Не теряйте мужества, великие события готовятся. Несмотря на все, мы работаем вместе. Привет товарищам». Видишь, у нас есть друзья, Иоганн!

— Я всего этого не понимаю. Не ловушка ли это? Будьте осторожны. А твоя вторая новость?

Она нагнулась к нему и заговорила вполголоса:

— Знаешь, кто был сегодня у нас на собрании, чтобы организовать работу?

— Ну?

— Я не хочу называть имен, у стен есть уши. К нам вернулся наш вождь, человек, которому мы больше всего доверяли и в котором были так горько разочарованы.

Иоганн вскочил.—Джойя! Возможно ли? Он одумался! Он вернулся к нам!

— Да, он втихомолку собирает товарищей, никто не должен знать об этом. Ну, что, ты все еще отчаиваешься?

Он весь преобразился. Румянец залил его бледные щеки. огонь вспыхнул в усталых глазах. Он не находил слов.

— Он, этот человек! Олицетворение всего лучшего в Германии! Если существует человек, который может излечить

массы от их безумия, это он! Джойя! Неужели он опять с нами? Он остался верен нашему делу!

— Теперь ты веришь, что все пойдет хорошо? Мы здесь, наши друзья в других странах, мы друг друга не видим, не слышим, но мы знаем, что каждый приносит свой камень к общему зданию. Каждый помогает строить храм свободы, пока он не возвысится над слезами и кровью опозоренного человечества.

* * *

Как свинцовая тяжесть медленно тянулось время. За мрачными зимними днями потянулась безрадостная весна. Зачем сияет солнце? Зачем деревья наряжаются свежей зеленью? Там, на фронте люди гибнут в отчаянии и муках. Здесь, в каждом углу траур по погибшим окутывает все черным покрывалом. Неужели нет конца этому? Победа или поражение, лишь бы конец этому ужасу! Неужели народы все еще не двинулись? Тупо тянутся они на фронт, тупо возвращаются оттуда раненые и калеки. И все еще правительства заглушают сознание своих верноподданных словом «отечество» и заглушают плач отчаявшихся патриотическими фанфарами.

Пепел серой тупой безнадежности покрывает страны. Никогда не прорваться из-под него освобождающему пламени!

И все-таки! Не вспыхивает ли там и сям как бы скрытая искра? Не освещает ли по временам тьму красный отблеск?

В толпе опьяненных победой людей, среди угнетенных тяжестью поражений народов, появляются люди, говорящие на другом языке, языке, который был так понятен многим до войны. К нему прислушиваются то один, то другой; боязливо, тихо, как во сне повторяют они запавшие в душу слова. Мертвое оживает вновь. Окаменелое приходит в движение. На всех языках начинают звучать эти слова. Пока это еще шопот, но день за днем новые голоса присоединяются к этому хору. Виновные, укрытые в верных местах, палачи, без раскаяния посылающие на смерть свои народы, глухи к этому ропоту подземелья. Они упиваются лишь звуками своих боевых лозунгов. А хор все разрастается. Наступает день, когда звуки его заглушают канонаду и крики «ура!», когда из окопов и госпиталей, из нищенских



Он говорит им..: Долой войну! Долой правительство!

каморок и тюрем тот возглас, как молния, прорвется к небесам: «Мир, свобода, революция!»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

В угасающих лучах, в мягких синеватых тенях переходит первый майский день в сумерки. Зажженные фонари борются еще с дневным светом, мерцая тускло и таинственно.

На улицах оживленное движение. Люди спешат, толкаются, теснятся в одном направлении, как если бы они были туда притягиваемы магнитом. На Потсдамской площади толпится народ; суровые лица рабочих, бледные, измученные женщины, самодовольно-откормленные, любопытно глазеющие бюргеры, полицейские с вызывающими лицами, все это стремится и движется одно за другим. По временам свист прорезывает воздух, доносится громкий возглас, тихий, заглушенный рокот омывает площадь, как волны бьют о скалистые рифы.

Еще и еще приходят люди, все больше и больше. Странно изменившимися кажутся лица, притупленные двумя годами животной тупой покорности. В безутешных глазах внезапно прорывается луч надежды, полуоткрытые уста как будто тянутся к освежающему напитку, расслабленные мускулы напрягаются, воодушевленные новыми чаяниями.

Люди все прибывают, тесно скучиваются на почерневшей от множества голов площади, и все еще прибывают, прибывают...

Один их созвал, один, кому они доверяют, друг угнетенных и порабощенных, человек, из тины трусости, в которой погрязли его бывшие товарищи, восставший против господ и угнетателей.

Он говорит им. Молниеносны его короткие резкие слова, освещающие жуткую тьму, творчество—его речь; из запуганных стадных животных она создает людей, разрывает цепи, вновь связывает порванную нить между народами. Из уст в уста передаются его слова, падают непотухающие искры на воспламеняющуюся почву. Трепещущий страх бюргеров толкает вперед полицейских: «Не давайте говорить этому человеку; его слова для нас гибель. Горе нам, если народ узнает всю правду. Уберите этого человека с нашего пути!»

Полицейские протискиваются через толпу. Но человек возвышает голос; тысяча голосов из разных стран звучат в одном этом голосе, угроза, пророчество, суд всего мира возвещает он:—Долой войну! Долой правительство!

Двое полицейских схватывают его; он обороняется; его тащут. Крики, свист ударяются о стены домов. Медленно расходится толпа. Она уносит с собой запавшие в душу слова, будет их хранить и беречь, пока они не разгорятся в огненный луч, который ворвется в гнилые стены здания, для всех них являющегося тюрьмой.

Грубые руки закрыли рот человека, и все-таки слова его перелетают границы, воспламеняя сердца немногих, оставшихся верными в других странах, радостной надеждой покрывают лица других, которым не хватает мужества отстоять свои убеждения румянцем стыда.

— Слава Богу, он теперь безвреден,—с облегчением вздыхают бюргеры.—Теперь мы можем беспрепятственно вести нашу священную войну; в ней ведь есть и свои хорошие стороны.

Джойя принесла известие об аресте Карла Либкнехта. Удрученные сидят они с Иоганном и Леной в квартире последней.

— Что же теперь?—спрашивает Иоганн с прежним отчаянием.

У Джойи пылающие щеки и сверкающие глаза:—Двойная работа для нас. И в тюрьме он остается нашим вождем; влияет оттуда, может быть, еще больше, чем раньше. Разве ты не знаешь, что сказано в мессе про мучеников: «Кровь мучеников—семя церкви». Самая трудная работа сделана, массы осознали весь ужас, которым они окружены. Теперь и такие маленькие светила, как мы, могут дорогу указывать.

Лена пожала подруге руку:—Ты самая мужественная из нас, Джойя, ты никогда не теряешь присутствия духа.

— Ах, если бы вы его видели сегодня вечером?—с энтузиазмом воскликнула молодая женщина,—это не был человек, который стоял и говорил. Это было олицетворение всех человеческих стремлений к свободе и справедливости, любовь всех любящих и ненависть всех ненавидящих. Пока...—Она запнулась, кто-то резко позвонил. Лена пошла открыть и сейчас же вернулась в сопровождении Густава. Густав очень бле-

ден, еле отвечает на приветствия остальных и прямо обращается к сестре.

— Лена, когда собираются вместе все ваши дурачки?

— Наши дурачки?

— Да, дурачки, революционеры, святые, как ты их там хочешь называй. Я хочу пристать к вам, работать с вами. Не могу больше стоять в стороне.

Все трое в изумлении смотрели на него.

— Что с вами случилось? —спросила Джойя, пораженная.

Густав бросился на софу:—Случилось? Да ничего особенного. Я просто увидел, что всякий, кто не работает против этой проклятой войны, преступник, что всякий, кто стоит в стороне, преступник, что...

— Но каким образом ты внезапно пришел к этому заключению?—Иоганн в остолбенении смотрел на своего друга. Никогда еще не видел он его в таком возбуждении.

— Вы были на Потсдамской площади,—воскликнула Джойя, догадываясь.

— Да, случайно, я проходил мимо. Какой-то человек сунул мне листок в руку; я пробежал его и нашел, что все там правда, несмотря на неуклюжесть стиля. Затем я увидел, как люди теснились вокруг одного человека. Я последовал за ними, спросил, кто этот человек. Один рассмеялся: «Вы не знаете? Это же Карл Либкнехт». Откуда мне было знать его? Я первый раз слышал это имя. Я стал слушать, что говорил Либкнехт. Это было немного слов, но это была правда. Когда же я увидел, как его утащили за то, что он сказал правду, у меня вдруг появилось странное чувство. Мне даже кажется, что я присоединился к его последнему выкрику: «Долой войну! Долой правительство!»—Густав перевел дыхание и стал вытирать платком пот со лба.

— Потом,—продолжал он,—я бесцельно бродил взад и вперед и, погруженный в раздумье, сам не заметил, как очутился на Фридрихсбангофе. Тут я вспомнил Анатоля, сегодня я в первый раз его понял. Я вошел на перрон,—он засмеялся несколько смущенно,—все вместе как-то подействовало. Это как раз поезд с ранеными прибыл. Вы знаете, я не особенно мягкосердечный, но мне захотелось реветь при этом зрелище, а еще больше—убить пару злодеев, во всем этом виноватых. Разве недостаточно такого настроения для революционера?

Джойя бросилась ему на шею: —Милый старичок Густав! Завтра мы вас поведем к «нашим дурачкам». Не сказала я тебе этого, Иоганн? Кровь мучеников...

* * *

Спустя около недели после этого, квартирная хозяйка Густава ворвалась, вся запыхавшись, в его кабинет.

— Господин помощник статс-секретаря и профессор Вествальд спрашивают, может ли господин доктор их принять?

Густав сделал сердитое лицо: —Чего им еще понадобилось? Ну, попросите войти.

Оба господина вошли, рассыпаясь в извинениях и любезностях. Густав, который стал догадываться о причине этого визита, держался сухо, почти невежливо, чего его гости как будто не замечали. Говорили раньше о различных, к делу не относящихся вещах. Наконец, Густав нетерпеливо прервал какой то изысканный комплимент помощника статс-секретаря словами:

— Какому собственно обстоятельству обязан я честью этого визита?

Статс-секретарь смущенно стал рассматривать свои выхоленные ногти, затем, кашлянув, начал:

— Господин профессор Вестфвальд уже с некоторого времени обратил мое внимание на то, что вы, господин доктор, особенно работаете над изготовлением ядовитых газов. Если я верно понял господина профессора, вам удалось найти состав, далеко превосходящий до сих пор известные.

Густав усмехнулся.—Льщу себя надеждой, что моя формула лучше.

— Мы, конечно, ожидали,—елейно продолжал статс-секретарь,—что вы, господин доктор, предоставите нам свое открытие, но так как до сих пор вы этого еще не сделали, я решил посетить вас, чтобы...

— А почему я собственно должен был предоставить вам свое открытие?

— Нам известно, из какой истинно патриотической семьи вы происходите. Ваш брат показал на фронте чудеса храбрости и...

— Мой шурин в тюрьме.

Статс-секретарь был на минуту неприятно смущен. Овладев собой, он снисходительно положил руку на плечо Густава: — Милый доктор, никто не может отвечать за своих свойственников. Никому в голову не придет сделать вам какой-нибудь упрек по поводу не патриотического поведения вашего шурина. Но именно, принимая во внимание этот факт, вам, как патриоту, вдвойне важно притти на помощь отечеству в такой момент.

— Я не патриот.

Густав становился все более нетерпеливым.

Статс-секретарь неспокойно заерзал на своем стуле.

— Господин доктор хочет сказать, что он против аннексий, —примирительно вмешался профессор Вествальд, —этот взгляд разделяют многие вполне честные, лойяльные люди.

Наступило неприятное молчание. Наконец, статс-секретарь заговорил опять.

— Итак, вы сами видите, господин доктор, что это ваш долг представить нам свою формулу.

— А если я этого не вижу?

— То, как нам это ни неприятно, нам придется принять более суровые мероприятия.

Тут Густав потерял остаток терпения. Он вскочил с места и воскликнул:

— Суровые мероприятия! Кто дал вам право на мой мозг и продукты его деятельности? Я работал над этим вопросом, потому что он меня интересовал, а вовсе не для того, чтобы стать убийцей бесчисленных невинных жертв. Не дергайте меня за полу, господин профессор Вествальд, я великолепно знаю, что делаю, и я решительно заявляю вам, ваше превосходительство, что вы этой формулы у меня не получите.

Статс-секретарь поднялся и весь бледный от гнева уставился на Густава.

— Вы вынудите правительство прибегнуть к мерам, которые вам, господин доктор, будут крайне неприятны.

— Я плюю на ваше дрянное правительство!—и вне себя от ярости, Густав выдвинул ящик письменного стола, выхватил оттуда исписанный листок бумаги и раньше чем кто-либо из его посетителей успел сделать малейшее движение, изорвал его в мелкие клочки.—Вот, ваше превосходительство, теперь можете производить обыск. Это и была моя формула.—Он злорадно рассмеялся:—Но здесь, в моем мозгу она стоит вся не-

тронутая, и я еще, быть может, сумею использовать ее в иных целях.

Статс-секретарь повернулся к профессору.—Хорошо ли вы слышали последние слова господина доктора? Сумеете ли вы их подтвердить в случае надобности?

Профессор Вествальд утвердительно кивнул:—Конечно, ваше превосходительство.

Оба господина безмолвно поднялись и направились к выходу. Густав с изысканной вежливостью проводил их до дверей:—Чувствительно тронут оказанной мне честью, ваше превосходительство.

Оставшись один, он рассмеялся:—Что это на самом деле произошло со мной? Бог знает, что я здесь натворил. И откуда во мне появилась эта ярость? Из революционных ли побуждений, или из-за насилия над наукой?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Капиталисты, обогащавшиеся войной, потеряли сон и аппетит; тайные, бессознательные страхи отравляли вкус еды, отнимали у дорогих вин их букет, превращали великолепные постели в жесткие неудобные ложа. Капиталисты и все живущие войной почувствовали себя не по себе.

Вечером 28 июня этим господам еда показалась значительно вкуснее. Карл Либкнехт был приговорен в первой инстанции к двум с половиной годам тюремного заключения.—Одним бунтарем меньше,—говорили они друг другу в клубах,—и с остальными как-нибудь справимся. Все же другие социал-демократы ведут себя прекрасно; они—наши лучшие союзники. Пока они с нами, народ в наших руках.—И буржуа чокались—за здоровье нашего военного суда (приговор, конечно, мог быть несколько строже!), наше воинство и наших бравых друзей—социал-демократов!

Однако они еще не окончательно успокоились. Были еще и другие элементы, которые мутили и беспокоили народ. И их необходимо обезвредить. Но вот в июле вторично попала в тюрьму Роза Люксембург, в августе та же участь постигла Франца Меринга.—Старик был особенно опасен,—делились своими соображениями почтенные бюргеры,—его семьдесят лет

производили впечатление на сентиментальные массы. Надо надеяться, что при таком возрасте он не долго выдержит режим тюрьмы.—И на некоторое время их сон стал опять безмятежен.

Жертвой хорошего аппетита и спокойного сна этих господ явились и другие, менее известные и мало проявившие себя люди. Между такими очутился и Густав Зельдер. Его неосторожные, в запальчивости произнесенные слова о том, что он, может быть, при случае, в других целях использует свою формулу, были мотивом обвинения, поведшего к тюремному заключению. Он отнесся к этому со свойственным ему хладнокровием, возблагодарил судьбу за предоставленный ему покой одиночного заключения, которое не помешает его работе.

Бесконечно тянулись дни. Над миром как бы тяготело проклятие судьбы.

Все нервы были напряжены в одном ожидании, ожидании изо дня в день, из часа в час. Ожидание освобождения, которое не приходит, но притти должно. Нужда и голод острыми длинными зубами грызли людей, тупая безнадежная ярость отравляла души, надломляла силы. Недоверие овладевало массами: недоверие не только к господам, но и недоверие к тем, которые мужественно и неотвратимо работали над тем, чтобы пробудить в них сознание:—Вы только говорите; почему же вы не делаете ничего? Вы такие же, как и другие,—сказала Джойе одна старуха, у которой второй сын пал на фронте, и Джойя не нашла ответа. Она сама толкала своих друзей к действиям и приходила в отчаяние от их трезвой рассудительности:—Еще слишком рано; мы недостаточно сильны,—говорили они. Борис Израилев утешал ее:—Освобождение должно притти, Джойя, но оно не будет исходить из одной страны, особенно такой, которая затвердела и окаменела от целого ряда сытых лет. Оно придет из страны, где нищета и горе в течение веков поддерживали пламя, раздували его. Лишь распинаемый на кресте народ может стать Мессией других народов.

Старая фрау фон-Рейтер, казалось, была наиболее подавлена. Теперь, когда зверское преступление блокады морило голодом женщин и детей, она с отвращением думала о том, что страна, которая виновна в этом преступлении —ее родина.

— Мне стыдно смотреть людям в глаза,—говорила она Лене, и слезы катились по ее тонкому старому лицу.—Мы все несем на себе вину за войну. Меня же, кроме того, гнетет вина и позор моей страны.—Она не разрешала себе минуты покоя; усталые, старые ноги поднимались по бесчисленным ступеням, чтобы разносить пищу и одежду в убогие каморки на чердаках. У друзей стало привычной шуткой спрашивать ее при каждом посещении:—Что вы сегодня продали?—Старушка краснела, как молоденькая девушка.—Ничего, ничего,—уверяла она. Но Лена не успокаивалась:—А где же твое бриллиантовое кольцо?—На пальце какой-нибудь толстой буржуйки,—ворчал Борис Израилев со своей кушетки.—Старухе не нужны бриллиантовые кольца,—возражала, улыбаясь фрау фон-Рейтер,—а детишкам молоко необходимо.—Красиво обставленный салон с каждым днем пустел и становился все более убогим. Ценные предметы обстановки один за другим переходили в лавки антиквариев. Когда дороговизна жизни стала безмерно возрастать, она однажды удивила друзей известием, что отказалась от своей комфортабельной квартиры и сняла для себя и Израилева две маленькие комнатки в одном из бедных кварталов.

Почти вся моя детвора живет там,—об'яснила она в виде оправдания,—мне не придется тогда столько ходить.

— Она совершенно разоряется,—озабоченно говорила Лена Борису Израилеву.

— Не мешайте ей,—возразил Борис.—Она не может выносить эту нищету, когда она сама живет в довольстве. Она еще продукт старой школы, возлагающей надежды на частную благотворительность, эта милая старушка. Впрочем, совсем недурной продукт этой школы.

Ожидание, ожидание, ожидание! На фронтах гибнут миллионы; калеки возвращаются домой, слепые, больные. Дети умирают с голоду. Вся страна превратилась в одну скорбную палату бесконечно огромного госпиталя. Неужели никогда не придет избавление? Отчаяние взывает к небу, отчаяние стонет в трущобах и в тесных лачугах. Небо глухо, и глухи люди, которые в силах остановить этот ужас. Свинцовые дни осени тянутся один за другим. На смену им идут зимние дни. Бесконечна эта зима, никогда не настанет весна. Когда-то, до войны приходила весна, таял лед, обновленная счастливая жизнь

вырывалась из-под него. Это было давно. Это звучит, как в сказке. Не скрывается ли тут какой то другой смысл?

Ждать, ждать, ждать!

* * *

Мартовский ветер, с юной силой прогоняющий зиму, принес это известие. Звуки его, как бичем, врезались в черные тучи, разорвали их и открыли синеющее небо; волшебные слова:— Россия! Революция! Царь свергнут! Социалисты у руля правления! Мир!—повсюду отдавались эхом:—Россия! Спаситель народов восстал из гроба, спасение приходит.

Чужие останавливали друг друга на улице.—Читали? Неужели это правда?

Газеты, вести с востока расхватываются, читаются как евангелие. Согбенные фигуры выпрямляются, в запуганные, забитые души проникает новое мужество.—Они могли это сделать, почему же нам нельзя?

— Революция в России! Это превосходно! Теперь мы окончательно справимся со всей этой бандой!—самодовольно потирают руки бюргеры.

Борис Израилев качает головой, читая имена вождей. Не радуйтесь слишком рано: это лишь первая ступень. Это буржуазная революция. Но она проложит дорогу следующей, настоящей. Это еще не день, это лишь утренняя заря на востоке. Но он придет, светлый день!

И день пришел и принес за собой Германии темную ночь, ночь, в которой огненными буквами выделялись два слова, вечная печать позора: «Брест-Литовск».

Господа капиталисты победили: немецкие солдаты ворвались в сложившую оружие страну, и честь Германии облита грязью, растоптана немцами на улицах России. Но этот позор был ударом бича для тех, которые, отупев от безумия и ужаса, всему подчинились.

— Они нас продали,—восклицал Кернер, трясясь от бешенства, на одном тайном собрании,—и мы это потерпели. Мы ведь испокон веку привыкли к тому, что наши жизни, наши тела принадлежат капиталистам. Теперь же они хотят продать наши души. Этого мы уж не потерпим. Они еще наши, и никакой кайзер, и никакой полководец у нас их не отнимет. Наши братья на востоке не напрасно к нам взывают.

Но господа все еще слишком сильны, народ слишком слаб. Единичные голоса заглушены. Одно только сделано: глаза немецкого рабочего открылись; он постепенно начинает понимать, кто его настоящий враг, представивший ему подлых вождей, как друзей. Он начинает также узнавать своих братьев. Восток протягивает руку, и бесчисленные руки тянутся к ней, через проволочные заграждения, через окопы, через тюремные камеры, из притонов нищеты. Еще царит тьма, но уже алеет восток. Кто-то могучий во второй раз сказал: «Да будет свет!». И рассеивается туман, и разогревает уже, скрытое еще за тучами, солнце, замерзшую землю и победоносно вздымается над слепым хаосом, над ненавистью и зверством—торжествующий дух!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Борис Израилев лежал на смертном одре. Вот уж долгие месяцы, как Иоганн с изумлением ставил себе вопрос: что дает этому истощенному телу жизненные силы; непреклонная ли воля бывшего каторжанина, который не хотел уйти из жизни, не дождавшись конца ужасов, или горячее томление по первом луче свободы в Германии?

Он становился все нетерпеливее, и его властный окрик раздавался, когда друзья давали отчет о своей работе, о выпущенных листках, о тайных собраниях.

— Вы все еще сидите на первой главе евангелия!—восклицал он раздраженно:—У вас все еще «В начале было слово». Когда же наступит дело? Ваше многословие, письменное и устное, подавляет действия. Но, очевидно, в этой проклятой стране порядка вы выжидаете, пока революция будет вам милостиво разрешена свыше.

Но постепенно он все больше слабел и вместе с этой слабостью и нетерпение его улегалось.

— Что же, придет оно и без меня! Дорогу мы вам показали.

Он говорил о России. Безграничная тоска по родине овладела им. Когда длинные тени летнего вечера ложились в комнате, он говорил в забытьи:—Видишь, как светится—равнина? Бесконечно, безгранично. А там за ней вдали этот березовый лес, какой аромат! Земля мучеников и спасения. Увижу ли я тебя

когда-нибудь? Он говорил со своими старыми товарищами: «Завтра, Иван, когда министр выедет...

В порядке ли твой револьвер?.. О, эти кандалы! Они, как ледяные, зимой!.. Кто это в соседней камере? Постучи еще раз, товарищ, я тебя не понял».

А затем настали дни, когда он лежал немой, без сознания.

В августовский день, однажды на рассвете он открыл глаза. Фрау фон-Рейтер, дремавшая у его кровати, встрепенулась, когда его рука коснулась ее плеча. Он глядел на нее, не узнавая, со светлой улыбкой на лице, сказал несколько слов по-русски, поднял руку и последним усилием выкрикнул: «мы побеждаем!». Высохшее тело вытянулось, еще раз забилось, и бессильно упало. Широко открытые глаза неподвижно глядели в окно на восходящее солнце...

* * *

Когда Лена, неделю спустя, зашла к Иоганну и Джойс, она остановилась у порога как вкопанная:

Этот человек, у окна, но ведь это невозможно... и все-таки...

— Савин!

Хорошо знакомое лицо весело рассмеялось ее изумлению.

— Маленькая ошибка, милая Лена, господин Ротбергер, купец из Линца.

— Как это возможно?

— Все возможно и более чем все станет возможным. Как дела, соломенная вдовица? Как поживает Анатоль? И Густав арестован? И я посидел, чертовски долго даже, до второй революции.

Вечером все собрались у г-жи фон-Рейтер. —Наших совсем мало осталось,—сказал Савин, оглядываясь кругом.—Как больно, что не удалось повидать бедного Бориса. А где ваш пророк?

— Он уже совсем не выходит. Торчит по целым дням дома и молится. Он верит, что близок приход Мессии.

— Это его вера, мы же в России осуществляем свое дело. Строим! —сказал Савин.

— Расскажи

И он рассказывал много и вдохновенно, как напряжение воли измученного народа приняло плоть и как из этой плоти вышла Советская Россия.

— Кровавая, говорите вы, была революция? Что же, неужели вы считаете, что мы можем свергнуть врага лишь доводами чистого разума. Они, конечно, обороняются, это вполне логично и понятно, а мы обязаны защищать все завоевания революции. Это не значит, что без нас все погибнет. Перебейте нас всех, пусть восторжествует даже опять самодержавие, все равно из русской земли восстанут люди, которые явятся нашими продолжателями, которые будут бороться за нашу идею. Вся Россия ею проникнута, она овладевает всеми душами; наши вчерашние враги сегодня борются в наших рядах. Пропаганда? Конечно, мы ведем пропаганду. Но мне кажется, что мы в ней совсем не нуждаемся. Мы осуществили тысячелетние стремления народов, и одно наше существование уже является достаточной пропагандой.

— Если б и мы уж так далеко зашли,—вздохнул Кернер.

— У вас другое дело. Вы должны бороться не только с тиной крупной буржуазии, но и с мелкобуржуазным болотом, с этой грубой честолюбивой мелкой буржуазией. У вас нет размаха, чтобы сразу перескочить через эту ступень. У нас это учитывают, и мы на вас не расчитываем еще. Может быть, через три-четыре года.

— Но ведь и мы не были праздны,—вставила Джойя.

— Я знаю это. И у вас хорошие вожди, но большинство из них теперь в тюрьмах. И еще одно. Русский пролетариат сумел истинных своих вождей узнать и оценить. Немецкий этого не умеет. Дайте ему Лениных и Троцких, он их не поймет и отнесется недоверчиво к ним он даст себя восстановить против них.

— А вы нам ничего не привезли, Савин?—спросила Лена.

— Ротбергер, пожалуйста; да, но я должен это сначала передать другим, а потом уж вы узнаете.

Они засиделись до рассвета, спрашивали, рассказывали. У них всех было такое чувство, как будто с приездом Савина волна свежего воздуха ворвалась в их затхлую атмосферу. Они слушали его, как слушают странника, вернувшегося из сказочной страны, страны, к которой все мечтания и чаяния превратились в действительность.

* * *

Весь мир затаил дух и ждал. Центральные державы предложили мир. Не было громких проявлений радости; слишком

дорого достался этот мир. Сжатые кулаки злобно поднимались.

Патриоты дрожали. Они готовы были всем пожертвовать, даже «возлюбленным кайзером», чтобы успокоить народ. Народ! Что сделалось с «тупой массой», с этими «беззащитным стадом», которым господа могли управлять беспрепятственно? Внезапно эта масса двинулась, и с трепетом стали различать, что она состоит из людей, из полных горечи и гнева людей. И как их много!

Раньше отмечали с самодовольством:

— Да, у нас он имеется, человеческий материал!—и радовались числу их, числу тех, которых можно послать на смерть. Теперь же господа проклинали эту бесчисленность. Да, с небольшим народом легче справиться. Двух-трех порядочных верных полков для этого достаточно. Верных полков? Но на какие полки можно теперь опереться? Матросы бунтуют, солдаты тоже. Удивительно, этим господам и в голову не приходило, что и солдаты из народа, что и они народ. Теперь им пришлось узнать это.

События чередовались одно за другим. В Баварии была провозглашена народная республика. Шли еще споры об отречении кайзера, но уже и в Берлине говорили о республике.

— Революция?—сказал Савин Джойе, сиявшей от восторга.— Это еще не революция. Это, может быть, только прелюдия. Кто возвестил эту революцию? Социал-патриоты. Кто будет у власти? Социал-патриоты. Мелкая буржуазия у руля, Керенские и Даны. Народу так же плохо, как и раньше, хуже даже, потому что его еще легче провести, чем прежде. Думаете вы, что революция игрушка? Пока она не стихийна, пока она не взрыв народного возмущения, она ничего не может достигнуть.

— Ты неправ, Савин,—сказал Иоганн.

— Посмотрим. Если гроза осветила ночную тьму, вам кажется, что день настал. Поверьте мне, тьма, покрывающая эту несчастную страну, еще темнее станет раньше, чем рассветет.

С улицы раздавались возгласы радости и торжества. Джойя открыла окно и далеко высунулась из него.

— Это ложный Мессия, — с раздражением проворчал Савин,—Мессия, спаситель буржуазии,—нечего радоваться!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

— Господи, на что им понадобилось выпускать нас из тюрьмы!—мрачно сказал Анатоль с глазами, печально устремленными в серый зимний туман. —Мы там были счастливы, чувствовали уже давно, что что-то готовится, что наполняло радужными надеждами наши серые тюремные дни. И затем эта чудесная весть о девятом ноября. Мой сосед по камере первый узнал ее. Каким образом? Такие вести быстро проникают через стены. Он выстучал мне: «Победа! Революция!». Я заставил его три или четыре раза повторить эти слова, мне необходимо было их слышать еще и еще раз. Когда я передал их дальше, я услышал, что мой сосед разрыдался, как ребенок. Мы ведь чуть с ума не сошли от счастья. Наконец-то! И вот мы на свободе и находим —вот это!

Он повернул к Лене страдальческое лицо.

— Милый, —пыталась она его утешить, —но ведь это же только начало.

— Нет, это конец. Как вы это могли допустить? Ведь в один прекрасный день вся власть уже была в руках пролетариата, и он выпустил ее. У него не вырвали ее силой, нет, он сам дал забрать ее у себя, думая, что он передает ее друзьям...

— Но ведь и в 1905 году мы были побиты, —вставил Савин.

— Это было совсем другое. Тогда вам пришлось уступить врагу, но вы твердо знали, что через несколько лет борьба начнется сызнова. Но у нас большая часть народа уверена, что все обстоит великолепно.

— Но в правительстве есть и наши друзья,—Лена хваталась за каждую соломинку.

— Их понемногу вытеснят. Одного—сегодня, другого—завтра.

— Мы этого не потерпим,—воскликнул Иоганн, а Густав добавил:—Ты уж черезчур мрачно на все смотришь, Анатоль, мы можем каждую минуту иметь подкрепления из Шпандау и Франкфурта на Одере. Впрочем даже не потребуются такие средства. Пусть только состоится воскресная демонстрация, так у нашего правительства уже душа в пятки уйдет.

Но Анатоль не успокаивался.

— Вы все забываете, кто теперь у власти. Незначительные, омещанившиеся людишки, которые впервые показались себе

великими и важными. Они уцепятся за власть, как собака за кость, они пойдут на уступки буржуазии, военщине, они все сделают, чтобы только остаться у власти.

— Ну, на предательство они не пойдут,—горячо возразила Джойя.

Анатоль горько рассмеялся.– Они в течение четырех лет достаточно привыкли к предательству. Чего иного можно ждать от них? Это известно и нашим вождям. Они великолепно знают, что это борьба не на живот, а на смерть.

— Идем, Анатоль, на собрание. Либкнехт будет говорить.

— Я не могу выйти на улицу, не могу видеть, как развевается красное знамя, загрязненное и обесчещенное руками, которые ему были всегда враждебны. Германия уже два раза убивала идею: в Брест-Литовске и в революции!

Он закрыл лицо руками. Глубокая, тяжелая безнадежная тишина водворилась в комнате. Наконец фрау фон-Рейтер прервала молчание. Ее старая дрожащая рука ласково легла на склоненную голову Анатоля:– Я не знаю хорошо, в чем дело, я только неясно чувствую, что опять люди низвели святыню и обесчестили ее, но это позорит людей, дитя мое, а не святыню. Она останется вечной и непобедимой. И здесь она осталась у многих в сердце. Поверь мне, она так сильна, что если даже один единственный только человек сохранит ее в своей душе, она из этой единственной души запылает для всего света.

Анатоль поднял голову. Он, казалось, не слышал слов старухи. С изменившимся лицом он стал смотреть в окно.—Как снег падает и все покрывает. Вся улица кажется могилой.

Они понимали его настроение, которое постепенно передалось всем. Лишь старушка улыбнулась и сказала тихо, но уверенно:—О, молодежь, вы еще не знаете, что могила, это не смерть, а воскресение!

Бесконечный кортеж тянулся по аллее Победы,—темная угроза в беловатом тумане зимнего дня. И недоумело дивились ему мраморные статуи со своих пьедесталов:—что это значит? В наше время ничего подобного не происходило. Бедные люди тогда скромно теснились и подчинялись нашим приказаниям. Что это за люди проходят сегодня мимо нас? Они по виду бедны, и по наружности и по платью не отличаются от наших верноподданных, но никогда не видели мы в чертах нашего славного народа такого выражения. Послушание, преданность

олицетворяли они собой, они едва осмеливались поднимать на нас глаза. У этих же твердые, решительные лица, смело глядящие, пылающие глаза. Право, это уже не подданные! —И мраморные статуи властелинов зябко кутались в свои снежные плащи и возмущенно покачали бы головами, если бы им это позволила мраморная неподвижность их затылков.

Это уже не были верноподданные, те люди, что бесконечным кортежом тянулись мимо них, это были люди, сознавшие свое достоинство и не признававшие над собой никакого господина; люди, понявшие, наконец, что они сами себе господа, они, народ, пролетариат. Это были люди со смертельной горечью на душе от сознания, что их вторично провели и что на сей раз обманули их не исконные враги, а бывшие друзья, которым они десятки лет безусловно верили, которые были их вождями.

Это сознание жило, переходя от одного человека к другому, удваивалось при каждом ударе, при новом натиске. Пламя ненависти разгоралось, и каждая новая мысль как бы подливала масла в этот огонь. Слова вождей врывались в него, как вихрь, разжигали его все сильнее, и пламя с удвоенной силой возносилось ввысь. Долго сдерживаемая ненависть, священный гнев проходил в то воскресенье по улицам Берлина.

Анатоль, присоединившийся к кортежу, чувствовал, что с его груди свалился тяжелый камень.—Побеждены? Как мог я верить этому? Каждый удар лишь удваивает наши силы. Мы—пламя, пожирающее эту непроходимую чащу лжи, мы—море, заливающее дюны. Вместо каждой, отраженной скалами волны, сотни других поднимаются. Мы бессмертны, потому что мы—человечество. Пусть нас убьют, уничтожат, новое пламя воспрянет из пепла и сожжет их крепости и твердыни. Мы непобедимы!

Бой кипит на улицах Берлина. Стрельба все усиливается. Кровь потоками заливает улицы, дикие крики, войска.

Гражданская война! Побежденные 9-го ноября, офицеры, «верные войска» свирепствуют. Они внезапно очутились в тесной дружбе с ненавистным им раньше правительством. Разнузданная жестокость торжествует, и радостно упивается резней затаившаяся за ней реакция.

Маленькая горсть — ожидавшиеся подкрепления не явились—вступила в отчаянный бой, бой, могущий прекратиться лишь с поражением их. Не всегда они будут слабыми.

Царство свободы должно быть куплено кровавой ценой. И эти истерзанные, смертельно раненые, на улицах умирающие, раздавливаемые лошадьми, люди, оставляют своим детям последнее, которому цены нет,—идею. И пусть падут все вожди, мы не останемся без предводительства, с красным знаменем в руках осветит нам путь идея, как огненные столбы освещали евреям путь в обетованную землю.

Густав ранен. Анатолю и Иоганну, бьющимся рядом с ним, удается протащить его в квартиру Иоганна. Когда они спешно выходят, Джойя цепляется за Иоганна:—Когда ты вернешься?

— Не знаю. Лены здесь не было?

— Она привела сюда ребенка и опять убежала. И я теперь должна сидеть здесь.

— Должен же кто-нибудь остаться в живых, Джойя.

Она испугалась серьезного выражения его голоса.

— Ты думаешь, что нет никакой надежды? что мы напрасно умираем?

— Не напрасно, дорогая. Это не решительный еще бой, это лишь начало долгой, отчаянной борьбы.

Он горячо обнял ее.—Прощай!

Ранний зимний вечер все окутал серым туманом. Бой на улицах ослабевает. Кое-где еще раздается выстрел, вдали грохочут орудия. От времени до времени рефлекторы бросают яркий свет на асфальт.

Иоганн стоит на своем посту. Он смертельно устал, холодный ветер пронизывает его, тяжелая грусть давит мозг. Конский топот глухо звучит с мостовой. Иоганн поднимает ружье. Его уже заметили:—Еще один проклятый спартаковец!

Молния прорезывает зимнюю ночь. Резкий треск. Солдаты мчатся дальше. Иоганн лежит на мостовой, чувствует, как теплая, липкая жидкость струится по нем.

На дальнем конце улицы происходит еще одна стычка. Рефлекторы прорезывают тьму. Затуманивающимися глазами Иоганн видит устремляющиеся одна за другой черные точки. Отчаяние овладевает им. Неужели это конец? Неужели побеждает несправедливость, конец свободе? Неужели никогда не будет достигнута обетованная земля? У ворот ее—войска и орудия.

Издали доносится конский топот. Странно, это кажется чем-то другим, как будто бы удары молотками по камням строю-

щегося здания. Его мысли путаются. Ему внезапно становится тепло и хорошо, свинцовая тоска, тисками сжимавшая ему грудь, куда-то исчезает. Нежный, заглушенный звон звучит в его ушах,—бубенчики, да, бубенчики. Перед закрытыми глазами проносится картина. Широкая, бесконечно длинная улица ярко освещена. Он, маленький мальчик в теплой шубке, мчится в санках рядом с красивой женщиной... Руки ее тесно обвивают



Иоганн лежит на мостовой за полуразрушенной баррикадой.

его и прижимают к себе... Санки проносятся... Видение исчезает... А вот уютная комната; у письменного стола сидит Джойя. Свет электрической лампы ярко горит на рыже-каштановых волосах, они отливают бронзой... А там вдали, сквозь все эти неясные образы все тот же странный стук, стук молотка по камням.

В конце улицы все еще идет сражение между черными, мелькающими точками. Иоганн видит, как они приближаются, удаляются друг от друга, немногочисленные черные точки. По временам что-то освещает их, яркий луч света тянется из одной точки к другой. Холодная струя действительности проникает

в мозг Поганна, леденит его. Это люди — борющиеся люди. Но снова мягкий, розовый туман окутывает его. К нему доносится запах сирени. С напряжением всматривается он в борющиеся черные точки. И смеется. Как мог он на минуту допустить, что это сражающиеся люди, люди, несущие смерть друг другу? Это был лишь злой сон. Теперь глаза его опять все ясно видят, а стук молотков делается все явственнее, и перед ним открывается бесконечное шествие людей, взбирающихся на холм с каменьями в руках... Все новые и новые прибывают, со всех концов света, и приносят камень за камнем.

В глазах его темнеет... Он закрывает их, ловя воздух... Потом снова отвертывается, и перед его счастливым взором возвышается храм, сияющий и сверкающий неземным светом, в завершенном великолепии возносящийся в вечерние небеса.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Герминия Мюлен

Zur Mühlen

РОЖДЕННЫЙ В ШАХТЕ

ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод с немецкого

А. ДВОРИНА.

„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“

1924

Отпечатано в 1-й типографии
Моск. Сов. Народн. Хозяйства
„Печатное Искусство“, аренд.
С. Я. Цузмер и С. Г. Гликин,
Москва, Маросейка, Армянский пер., д. 6, в количестве
10.000 экземпл. Главлит № 4188.

ГЛАВА I.

По происхождению Андрея никак нельзя было причислить к благородному сословию. Мать его работала в шахте, на глубине 500 саженей под землей, когда он решил начать свою жизнь появлением на свет. Нельзя было также про него сказать, что он сразу увидел свет солнца; когда голубые глаза его впервые открылись, их окружала непроницаемая тьма, чернота во всех оттенках,—от острого блеска каменного угля до черносерой пыли шахты,—бросала жуткие тени на его глаза. Его первый крик раздался в узком пространстве вечной ночи и, ударившись испуганной дрожью в сырые стены подземелья, был заглушен тяжелыми ударами бьющих породу кирок.

Матери его, Лине, уже давно следовало прекратить работу в яме. Распухший живот девушки стал посмешищем молодых парней. Утром и вечером, при встрече в подъемной корзине, они, хихикая, бросали насмешки, задавали вопросы и были чрезмерно любопытными. Только надсмотрщик, будто ее не замечая, казался совсем слепым точно его это не касалось. Он, повидимому, знал причину этой полноты.

Лина была круглой сиротой. Никто о ней не заботился; она была предоставлена самой себе. Она привыкла с самого детства работать и зарабатывать себе на жизнь. Зачем же ей было и сейчас сидеть сложа руки, когда еще силы не совсем оставили ее, когда можно еще своим трудом заработать деньги? Они ей пригодятся, когда появится на свет этот несчастный червячек—дитя, отца которого она сама назвать не могла. Может быть, надсмотрщик? Как-то раз осенним вечером он заманил 17-ти летнюю девушку к себе;

она, правда, сопротивлялась, но мышцы ее ослабли—дневная работа оставила свои следы. Ее охватила тяжелая сонливость, затуманилось сознание, как будто свинец сковал все ее движения. К тому же она ни на минуту не забывала, что надсмотрщик—важная персона, в большом почете у владельца шахты и прочего начальства. Все было бы хорошо, если бы он не застал ее дней через пять с Францем. Она смогла бы уверенно сказать, что ребенок принадлежит именно ему, надсмотрщику. К несчастью, и Франц погиб при катастрофе на шахте. Значит ребенок должен расти без отца, все муки и расходы упадут только на нее.

После первых приступов дикого отчаяния, охватившего ее, когда она сообразила, в каком положении очутилась, девушка впала в тупую покорность судьбе. Повидимому, такова уж участь работницы; все это так же естественно, как боль в пояснице, подгибающиеся от усталости колени и воспаленные глаза. За все приходится расплачиваться—за несколько веселых часов, проведенных с Францем, за рабский страх перед надсмотрщиком, за все, за все... С тех пор, как она себя помнит, она знает, что на этом свете ничто не дается даром, за все нужно платить. За хлеб, который она ест, за убогую лачугу, в которой она живет вместе с подругой, ей приходится расплачиваться беспрестанным напряжением молодых упругих мышц, постоянной болью во всем теле. Так было, так оно будет и впредь. Весь мир — черная клетка, шахта, в которой работают вспотевшие, согбенные, усталые люди.

В одно светлое апрельское утро Лина почувствовала острую боль. Казалось, что-то сверлит внутри ее, не хватало сил подняться с постели.—Нет, сегодня я еще должна работать,—проборматала она сквозь стиснутые зубы.—Завтра воскресенье, пусть эта дрянь завтра появится на свет. Сегодня мне некогда.

Боли немного утихли, девушка в полусознательном состоянии потащилась к подъемной корзине. Несмотря на головокружение, она нагрузила одну тачку проклятого угля. Но снова наступили боли, и она почувствовала, что что-то тяжелое тянет ее вниз. Казалось, что раскаленные щипцы разрывают ее внутренности, огромный живот поднимался и опускался, рыдания и стоны слились в звериный рев. Впервые

в своей тяжелой жизни она протестовала, возмущалась против своей судьбы. Она сжимала ноги, как будто желала преградить дорогу рвущейся наружу жизни. Боль, крики, все в ней слилось в ощущение протеста, в вопрос: почему? —Почему именно у меня должен быть ребенок? Ведь, другие девушки имеют по полдюжине любовников без всяких последствий, без детей. Почему я должна валяться тут, извиваться от боли, глотать пыль? Другие женщины имеют мягкие постели, мужей, которые о них заботятся. Почему же я должна?..... Почему?... Все больше и больше ее охватывала жгучая боль. Она в бешенстве корчилась от нечеловеческих мук. „Гадина!“ „Проклятие!“ вырывалось из ее уст. Относилось ли это к маленькому существу, раздиравшему ее внутренности, к надсмотрщику, или к покойному Францу? Или, может быть, ко всему свету? Лина этого не знала.

Лина не смогла бы сказать, что именно вызывало ее бессмысленный гнев. Она кричала, стонала, хрипела, рыдала, бессознательно повторяя: „Гадина“! „Проклятие“!

Она судорожно обхватила жесткими руками свой живот, царапала себе тело, бессмысленно глядела влажными от слез глазами в пространство, пытаясь что то увидеть, что могло бы подать ей помощь. Вдруг она увидала уголь, черный, блестящий уголь. Она почувствовала всю ненависть к этому черному камню, высасывающему все ее силы. Казалось, что он, только он, этот уголь, во всем виноват. Проклиная, она закричала: „Гадина! Черная вонючая гадина! Ты съедаешь наших мужей, съедаешь нашу силу! Проклятая гадина!“

Ее крики заглушали удары кирок, охватили подземные коридоры, и казалось, что все задрожало, все готово было обрушиться на нее. На крики сбежались углекопы. Несколько молодых парней с улыбкой презрения посмотрели на корчившуюся от боли девушку и затем ушли. Только старый Петр Леэр остался около девушки, утешал ее. Лина бессознательно слушала его. Неужто кроме этих чудовищных мук, разрывавших на части ее тело, кроме этого холодного камня, злорадной гримасой смеющегося ей в лицо, существуют еще люди? Страшный с небывалой силой вырвавшийся звериный крик заполнил собой все подземелье, и вдруг после замирающего стона наступила жуткая тишина. Затем раздался другой звук, тихий, жалобный, как писк молодого зверенка.

Старый Леэр с трудом согнул колени и, подняв с земли что-то красное, окровавленное, ласково кивнул девушке: „Лина, мальчуган, мальчуган, Лина!“

Узнав о происшедшем, надсмотрщик начал бранить девушку, но замолчал, когда увидел ее измученное, бледное лицо.

Рабочие понесли девушку к подъемной машине. За ними шел Петр Леэр с ребенком на руках. Лина лежала неподвижно, впала в прежнюю тупую покорность и, глядя пред собой, бормотала тихо, бессвязно: „Проклятие!“ „Проклятие!“



Старый Леэр поднял с земли что-то красное, окровавленное...

ГЛАВА II.

Лина была крепкая здоровая девушка; уже через неделю после рождения мальчика, она опять работала в шахте. Правда, у нее болели груди, они были тяжелые и, казалось, притягивали все тело к земле, когда ей приходилось нагибаться при погрузке угля. Но Лина не роптала. С глухой ненавистью подчинилась она судьбе, ходила на работу, и, возвратившись домой, кормила грудью ребенка с каким-то безразличием, не чувствуя ни любви, ни ненависти к этому маленькому крикливому созданию.

Старая Мария Ротт взяла к себе ребенка; она была прачкой и получала ничтожную пенсию от шахтовладельца, после того как трое ее сыновей погибли при ужасной катастрофе в шахте. Первым воспоминанием детства Андрея была маленькая согнутая старушка, прилежно работающая весь день, напевая при этом хриплым голосом. Когда приближался вечер, старушка становилась неспокойной. Худощавые руки начинали дрожать, щеки воспламенялись, глубокие глаза глядели куда-то в пространство, туда, где шахты, где подъемная корзина выбрасывала на поверхность сотни тысяч рабочих. Она быстро бросала работу, накрывала на стол и ставила четыре стула, четыре прибора. Укутываясь в старый серый платок, она неизменно повторяла:

— Пойдем, Андрей, нам надо спешить к подъемной корзине. Скоро поднимутся наши парни, мы должны их встретить.

Подъемная машина подымалась и опускалась непрерывно, выбрасывая вверх группы углекопов. Старуха стояла неподвижно и пристально всматривалась в лицо каждого проходящего, ждала, пока поднимется последняя корзина, ждала и

надеялась. Недоумевая качала головой, останавливала запоздавших рабочих, спрашивала их, но вопросы ее оставались без ответа. Сначала про себя, затем все громче и громче, крича, угрожая, она неизменно повторяла один и тот же зловещий вопрос: — Где же пропадают мои парни? Где они?! Где? Иной раз она получала в ответ от мимо проходящего опаздавшего углекопа:—Завтра, завтра, Мария! Завтра твои парни несомненно придут! Старушка медленно шла домой, постоянно оборачиваясь на ходу,—может быть сыновья запоздали, догоняют, может быть они уже ждут ее дома.

Пять лет прошло со дня катастрофы на шахте, при которой погибло около 100 рабочих. После раскопок, их трупы были положены в большой сарай, куда собрался весь поселок, все родственники погибших. Большинство трупов было совершенно обезображено силой взрыва. Когда Марию подвели к изуродованным телам ее сыновей, которых она утром видела еще здоровыми, крепкими парнями, она долго молча глядела на разлагающиеся уже тела. Вдруг раздался резкий, хриплый, полный безумной радости смех. Старушка мать смеялась у изуродованных трупов своих сыновей. Этот смех перешел в безумный крик. Смеясь, молясь, угрожая, она кричала: „Что?! это мои сыновья?! вы с ума сошли? мои сыновья красивые, здоровые парни; ведь, тут лежит падаль, а не люди. Ведь это не мои сыновья. Мои парни живут, сидят уже дома, ждут, сердятся на свою старую мать. Стол еще не накрыт... Да, да, я должна спешить домой. Они меня ждут!“

Все еще смеясь, она вышла из сарая. Видя плачущих женщин, она, соболезнуя, утешала их:—Ваши мужья погибли. Бедные жены, бедные жены! Ко мне господь был милостив, мои парни живут, поднимутся со следующей машиной, скоро будут дома.

Она казалась тихой, спокойной, довольной. Только раз сильно рассердилась, когда ей намекнули, что следует хоронить сыновей.

— Хороните мертвых!—кричала она.—Мои сыновья живы! Бросьте эти черные мысли! Да не повредят они моим сыновьям! Прочь, не хочу я слышать ваших жутких слов.

В то время она, несмотря на старость, была еще крепкой женщиной, и пастор в испуге поспешил удалиться, при виде ее угрожающих кулаков.

За эти пять лет не было дня, когда она не выходила бы встречать своих сыновей, не накрывала бы стола. Иногда она возвращалась со слезами на глазах, но чаще всего она забывала печаль и предавалась надежде на следующий день увидеть своих парней.

Когда маленькому Андрею минуло 4 года, она часто ему рассказывала о своих сыновьях. Уже будучи взрослым человеком, Андрей вспоминал тихий плеск воды в корыте, наполненном мыльной пеной, острый запах свеже-вымытого белья. Все это в его воспоминаниях смешивалось с рассказами старушки, с ее тихим шопотом, не то обращенным к Андрею, не то к себе самой.

— Когда сегодня придет Павел,—бормотал старческий голос—он тебе сделает маленький кораблик; он такой искусный мастер, Павел. К Фридриху ты не приставай, оставь его в покое, его все тянет к книгам, он беспрерывно читает. Андрей, возьми там тряпку, и сотри пыль с книг, ведь, знаешь, Фридрих не любит, когда пыль садится на его книги. Сегодня он будет радоваться, я приготовила его любимое кушание—гороховый суп....

Маленький Андрей обыкновенно ждал со старушкой у шахты, вместе с нею удивлялся, когда поднимающиеся корзины никак не хотели поднять ее сыновей, и повторял вместе с ней:—Завтра парни наверное придут. Завтра мы их увидим.

Повседневная работа у корыта и частые прогулки в зимние вечера к шахте отразились на здоровье старушки. Мария Ротт заболела и принуждена была слечь. Андрею приходилось накрывать на стол, но он всегда забывал что нибудь такое из указаний воспитательницы, что особенно необходимо ее сыновьям. Когда же стол был накрыт, старая женщина посылала его к шахте, приказывала ему не возвращаться обратно до тех пор, пока сыновья не поднимутся.

— Ты их легко узнаешь, Андрей, они самые красивые и крепкие парни. Скажи им, что мать уже давно их ждет...

Когда же мальчик возвращался домой один, старушка сердилась, упрекала его.

— Ты, вероятно, где-нибудь играл, совсем не смотрел за корзиной, нехороший ты мальчик!

Однажды вечером, когда она выбранила мальчика, последний, словно извиняясь перед ней, сказал:

— Они не придут, тетя Мария, они никогда уж больше не придут.

— Кто это тебе сказал?..

— Старый Петр Леэр; он сказал, что они умерли.

Старая костлявая рука изо всей силы ударила ребенка по лицу.

Мальчик заплакал; его охватило упрямство, гнев, и он начал кричать:—Да, да, они умерли, умерли! Старый Петр Леэр так сказал, что они уже много лет тому назад умерли, их съел огонь в шахте; от них остались только маленькие косточки, они не придут, никогда не придут!

Плача, мальчик отскочил от старушки, бегал по комнате, свеча упала и потухла, мальчик спрятался под накрытый стол, на котором были расставлены 4 прибора.

Тяжелая черная ночь спустилась в лачугу. Неподвижно лежала в кровати старая женщина, тяжело вздыхала, боролась с охватывающим ее ужасным страхом. Так сказал старый Петр Леэр. „Они никогда не придут, они умерли". Петр никогда не лжет, она знает, он хороший, богобоязненный человек. Их сожрал огонь в шахте, нашли только обуглившиеся кусочки их тел. Перед старушкой прошел образ ее сыновей, здоровых, крепких, таких ласковых... Этот образ сменялся другим. Старуха вспомнила большой сарай; резко и болезненно пронеслась мимо ее глаз картина: большой сарай, труп подле трупа, бесчисленное множество погибших углекопов, кто-то подводит ее к трем трупам, незнакомый печальный голос произносит: „Здесь лежат ваши бедные сыновья". Мария видит изуродованные тела, вдыхает, воспринимает всеми своими чувствами запах разлагающихся родных тел. Ее бедные сыновья... Что если это правда? Если это все же правда? Если эти изодранные тела, что похоронили там на кладбище, все же ее сыновья, ее красивые, крепкие сыновья? Другие верят этому, они даже поставили памятник, где золотыми буквами написано: „Павел Ротт", „Фридрих Ротт", „Ян Ротт". Но если они там лежат, там, под покрытой снегом землей, тогда они уже не могут вернуться, никогда не поднимутся на подъемной машине, никогда больше не откроют дверь лачуги, никогда не скажут: „Добрый вечер, мать, мы очень голодны!" Тогда, ведь, не имеет никакого смысла каждый вечер выходить к шахте,



— Здесь лежат ваши бедные сыновья...



ждать, тогда весь день, который только для того существует, чтобы кончиться вечером, когда можно выйти к шахте и ждать,—не имеет никакого смысла. Тогда вся жизнь не имеет никакого смысла, безцельна. Всепожирающий страх охватил старую женщину, она кричит: „Андрей, Андрей!"

Мальчик осторожно приближается к старушке.

— Андрей, не правда ли, ведь ты лгал, ведь ты, неправду, сказал? Старый Петр Леэр тебе этого не говорил? Прошу тебя, Андрей, скажи, ты солгал, ты боялся, что я буду тебя ругать?

Полубессознательно мальчик дает себя уговорить, плачущий, молящий голос старухи влияет на него, он говорит вначале отрывисто, затем все быстрее: „Да, тетя Мария... Я лгал. Это неправда". И спохватившись прибавляет: „Если ты сама захочешь пойти, может быть они придут уже завтра".

Когда на следующий день Андрей накрыл стол, старуха его позвала к себе, к кровати:

— Помоги мне встать, Андрей, ноги не хотят мне больше служить. Я должна пойти за парнями, они меня ждут.

— Ведь на улице снег идет,—озабоченно произнес мальчик.

Старуха смеется:—Это хорошо, парни будут очень довольны притти сейчас в теплую лачугу. Они увидят, как мы о них заботимся.

С тяжелыми усилиями старушка еле-еле оделась. Она пошла, опираясь на палку, с другой стороны ее поддерживал мальчик. Вся дрожа, старушка пошла в глубокую темноту холодной зимней ночи, еле подвигаясь вперед.

Корзина поднимается вверх, темные силуэты, как черные тени, направляются в казармы. Пара старых, внимательных глаз врезаются в темноту, останавливаясь на каждом проходящем. Мария Ротт сомневается, дрожит, что-то бессвязно бормочет про себя. Большая рука тихо опускается на ее плечи; Петр Леэр стоит около нее. „Иди домой, Мария, сегодня они уже не придут".

Она пронзительно кричит, осознала действительность: Сегодня не придут, завтра не придут, послезавтра не придут, никогда, никогда больше не придут!..

Андрей крепко ее держит, уговаривает: Идем, тетя Мария, пойдем домой.

Она падает на землю, плачет, рычит, как раненое животное, бьется в судорогах. „Никогда больше, никогда"! Безумный крик замирает на ее губах, ее костлявые старые руки протягиваются к шахте, пытаются что-то вырвать из темноты, бессильно опускаются вниз.

Два углекопа понесли ее домой, Андрей полный страха, поплелся за ними, все время крепко держась за конец ее платка.

В эту ночь она умерла.

ГЛАВА III.

Андрей родился в черном царстве. Все было черно, покрыто пылью каменного угля; ничего другого он не видел и не мог себе представить. Его босые детские ножки взвивали по черной дороге целые облака мелкой, проникающей во все поры пыли. В этой унылой стране все было окутано черной дымкой. Даже солнце потеряло здесь свой блеск и красоту. С чем ни встречались его детские глазки, с зеленью ли запыленных листьев, с убогими огородами, с грязью черных грядок,—все это уродливо, бессильно тянулось к солнцу, жаждало света. Его легкие вдыхали пыль каменного угля; холодный северный ветер, теплое дуновение южного весеннего ветерка, все несло, взрывало, поднимало вверх столбы черной мелкой пыли. В этом царстве угля не знали яркой зелени лета, не знали белизны зимнего снега, каменный уголь побеждал своей тяжестью, покрывал все своей чернотой. Казалось, что угольная пыль проникает даже в мозг, в душу людей, заставляет их мыслить по иному, делает их серыми, угрюмыми, притупляет их восприимчивость. Они видели мир сквозь серые очки, не видели ярких красок, все стало для них суровым, твердым, угрюмым.

После смерти старой Марии Ротт, Лина очутилась в довольно затруднительном положении. Что ей теперь делать с пятилетним ребенком? Куда его пристроить? Старушка держала его у себя за недорогую плату; другая потребует больше, но Лина не могла и не хотела больше платить. Она подкараулила надсмотрщика, начала его просить, умолять, ругала его, грозила, пока он не сдался. Он недавно женился и старался избегать скандалов, чтобы не рассердить молодую жену. На следующее утро, при первых холодных лучах рассвета, Лина разбудила спящего ребенка.

— Вставай, Андрей. Ты пойдешь со мною в шахту.

Мальчуган, дрожа, одевался, глядел испуганными глазами на мать. Он боялся своей матери, никогда его не ласкавшей, и еще больше боялся этой черной шахты, куда он должен был спуститься. Она казалась ему ужасной, бесконечно глубокой ямой, из которой очень трудно найти выход. Ему казалось, что эта яма поглотит его навсегда.

Бледное зимнее солнце вяло освещало спуск в шахту. Андрей смотрел на большой плоский, солнечный диск, как бы прощаясь с ним. Увидит ли он его снова, или может быть он точно так же, как сыновья тети Ротт останется там внизу, может быть, огонь и его сожрет?

Лина нетерпеливо толкнула съежившегося от страха ребенка в подъемную машину. Андрей судорожно вцепился в материнскую юбку, закрыл глаза. Раздался сигнал. Он с замирающим сердцем почувствовал, как он, корзина и все, находящиеся в ней, летят с бешеной быстротой вниз, вниз, в необъятную глубину. Он боялся раскрыть глаза, ему хотелось громко плакать, но он слишком боялся матери. Из его закрытых глаз потекли слезы. Кто-то обнял его, и мягкий старческий голос Петра Леэра ласково сказал ему:

— Неужто ты боишься, Андрей? Ведь ты возращаешься к себе на родину, ведь ты же там родился.

Андрей не понял этих слов, но все же обрадовался, чувствуя защиту в старике и доверчиво прижался к нему.

Подъемная корзина сразу остановилась. Лина грубо вытолкнула ребенка:—Смотри, Андрей, иди за мной, не отставай!

Мальчик с робостью оглядывался в этой новой для него черной клетке; всюду царила таинственная, пугающая темнота, неясные тени мелькали то здесь, то там. У каждой тени на груди был прикреплен маленький фонарик, бессильно боровшийся с мраком. Удушливый, тяжелый воздух спирал дыханье Андрея; тяжело дыша, он плелся за матерью по бесконечным узким коридорам, пока они, наконец, не дошли до места, где стояли тачки.

— Садись, сказала Лина, смотри, не попадайся мне на глаза, не мешай мне!

Мальчик послушно уселся. Неподвижно наблюдал он, как подавали уголь из штолен и как мать нагружала тачки.

Несмотря на боль в пояснице, несмотря на озлобленность, Лина беспрерывно нагибалась, нагружала уголь. Она всегда чувствовала усталость. Уже вставая утром, ощущала свинцовую тяжесть во всем теле, даже во сне ее преследовала болезненная утомленность. Ее глаза слезились, болела грудь, она иной раз прерывала работу, чтобы хоть немножко откашляться и плюнуть черную слизь изо рта.

Присутствие ребенка раздражало ее, усиливало ее злобу. Когда мальчика не было с ней, она совершенно о нем забывала, теперь же он напоминал о тех тяжелых часах, которые она провела тут же на этом месте, когда он родился, о деньгах, которые ей приходилось тратить, и о тех заботах и страданиях, которые этот негодяй еще принесет ей. Она думала и о том, что у нее нет никакой надежды найти мужа, что ей придется навсегда остаться одинокой,—ведь, никто не согласится взять ее с ребенком. Кому она нужна?

Острый уголь колол, как иглы, уже и без того растрескавшиеся руки Лины.

— Мама, спросил осторожно мальчик, разве тут всегда ночь?

Этот вопрос рассердил ее.

— Да, там, где мы живем, всегда ночь! Другие люди видят свет, их греет солнце. Им не приходится беспрерывно сотни тысяч раз нагибаться и каждый день нагружать этих проклятых собак [1]). У них не ломит поясница. Мы же осуждены работать в этой вечной темноте.

— Почему?

Он поднял кусочек угля, упавший с тачки и рассеяно играл им, ломая свою детскую головку над словами матери. Петр Леэр вышел, пошатываясь, из штольни, глаза его беспрестанно моргали, и он прикрыл их рукой.

— Что случилось, Петр?—спросила Лина.

— Глаза мигают,—ответил старик,—все танцует перед моими глазами. И ты и собаки двоятся у меня в глазах.

— Тебе следовало бы отдохнуть несколько дней.—Грубый голос Лины стал при этих словах мягче. В разговоре с Петром Леэр все рабочие в шахте делались как-то добрее и мягче.

---

[1]) Так на языке углекопов называют тачки.

Старик грустно улыбнулся:—Нельзя, Лина. Теперь, когда Павел учится, нам нужно много денег. Когда-нибудь впоследствии мальчик будет нас содержать, тогда и я смогу отдохнуть.

— И зачем это нужно мальчугану лезть так высоко,—проворчала Лина,—он отлично мог бы сделаться углекопом, как и его отец.

— Его тянет к книгам, он точно голодающий перед барским столом, ему все хочется узнать. А, ведь, это очень хорошо—многое знать.

— Да, для богатых, у них есть для этого и время и деньги, а мы... кажется, он учится в той же школе, где и сын нашего господина?

— Да, он учится вместе с сыном владельца шахты.

Петр Леэр намеренно подчеркнул последние слова и затем продолжал своим обычным ровным тоном:—У нас только один господин, Лина,—господь бог. Терпеть не могу, когда какого-нибудь человека называют „господином".

— А разве он не господин для нас,—гневно воскликнула Лина Мерц.—Я ничего не знаю о боге, но твердо знаю, что мы все зависим от нашего господина, что мы должны для него работать, и что он может нас уволить, когда ему заблагорассудится. И разве сам он не верит тому, что он наш господин? Ведь, он и говорит с нами, и смотрит на нас, точно мы грязь какая-нибудь и...

— И все же мы дети одного отца, Лина, и все равны перед богом.

Лина Мерц злобно рассмеялась.

— Прекрасное равенство, когда один щеголяет в лохмотьях, а другой одет в шелках. Один бездельничает, а другой должен трудиться. Да, мы, конечно, все равны между собою, богатые и бедные.

— А кто это богатые?—спросил Андрей.

Старик утирал в это время больные глаза запачканным угольной пылью носовым платком и не ответил на этот вопрос, зато Лина Мерц тупо сказала:—Все другие.

Когда Андрей вылез из подъемной корзины, он удивленно оглянулся вокруг. Он был глубоко убежден, что ночь царит только в глубине шахты, а что наверху он опять увидит

дневной свет. Но ранняя зимняя ночь окружила своей темнотой все дома, а снег был покрыт угольною пылью.

— Разве здесь тоже ночь?—изумленно воскликнул мальчик.

— Болван,—отозвалась мать.—А что же ты воображал?

Андрей расплакался.—Мама, мама, неужели мы все время теперь будем жить в темноте?

Лина Мерц устало плелась по дороге, она повернула голову к мальчику и с отчаянием в голосе произнесла: Не знаю.

ГЛАВА IV.

Потянулись черные дни. Ночи над землею, едва освещенные бледным светом звед, следовали за ночами под землею, едва освещенными мутным светом маленьких шахтерских лампочек. Короткие солнечные дни проходили внизу в черных волнах вечной ночи. Часы, дни, недели и месяцы серо и бесцветно шли друг за другом.

Мало-по-малу Андрей перестал бояться подземного мира, даже привык к нему. Правда, у него еще сжималось горло, и его маленькое сердце усиленно билось, когда подъемная корзина опускалась в шахты; но стоило ему очутиться внизу, страх приходил. Он садился на землю, играл кусочками угля, строил из них дома и мосты. Иногда он сопровождал Петра Леэра в его обходах и широко раскрытыми глазами смотрел, как еще сильные руки старика умело обращались с разными шахтерскими инструментами. Но больше всего мальчик любил взрывы. Они доставляли ему особую радость, смешанную с ужасом, напряженное ожидание, затем страшный раскат грома,—неизменно пугающий его, несмотря на тревожные ожидания,—и глухие расскаты, постепенно замирающие в глубине шахты.

В конце концов темнота, исчезающий сероватый свет, смутные очертания людей—все это стало казаться Андрею вполне естественным. Его детские глаза начинали усиленно моргать, когда на них падал солнечный свет, он ощущал острую боль, торопливо опускал веки. Вечная мгла окутала словно покрывалом его маленький мозг, притупила его мысли и движения. И если вначале ему страшно хотелось жить наверху, греться в солнечных лучах, ощущать дуно-

вение ветерка, то мало-по-малу бледнели все здоровые желания, побуждавшие его избавиться от вечной ночи. Коварное дыхание серых сумерек отравило его детскую кровь покорностью. Он больше не спрашивал „почему“? Он знал, что все идет так, как должно итти. Рано пришлось ему узнать непреодолимую силу слова „должно“, не вызывающего никаких сомнений. И когда жестокая рука матери преждевременно ввела труд в его детскую жизнь, он покорился ей безмолвно. Лина Мерц, у которой без передышки болела спина и кружилась голова, не могла выносить вида ничем не занятого ребенка.

— Помоги накладывать уголь,—резко приказала она, и Андрей послушался.

Так как ему было всего шесть лет от роду, то он рано понял, что значит усталость. Не здоровая усталость молодых зверят после веселой игры, а тупая, парализующая усталость взрослого рабочего, словно ядом отравляющая кровь. Он точно удара кнута боялся материнского окрика:—Что ты тут торчишь, без дела? Скорее за работу!

Петр Леэр не раз упрекал Лину. Ее бледно-серое изможденное лицо покрывалось краской.—Вовсе он не рано начал работать, сопляк. Ведь, он не будет, как твой Павел ученым барином, а будет здесь внизу зарабатывать свой кусок хлеба.

Эти слова острыми иглами впивались в утомленный мозг Андрея и причиняли ему острую, колющую боль. Свой кусок хлеба... И вдруг его охватило воспоминание о теплых, сияющих летних днях. Проводить всю жизнь здесь, день за днем, пока он не состарится и не будет таким же стариком с белыми волосами и красными, моргающими глазами, как Петр Леэр? Необъяснимый ужас заставил его воскликнуть:—Неужели я навсегда останусь здесь?!

Ему померещилось, что злобная радость скривила губы матери, когда она ответила:—Да, навсегда.

Андрей больше не спрашивал „почему?“ Шахта научила его, что на этот вопрос нет ответа.

Проходивший однажды обер-штейгер, увидев ребенка, обеими ручонками накладывающего уголь в подъемную корзину, довольно кивнул головой:—Вот это хорошо! Хороший рабочий всегда рано начинает трудиться.

Лина Мерц мрачно уставилась на говорящего и спросила сдавленным голосом: — А сколько лет вашему сыночку, господин обер-штейгер?

Обер-штейгер изумленно взглянул на нее: — Ему почти три года.

— А скоро он спустится сюда работать?

Обер-штейгер гневно наморщил лоб. — Что за нагласть! Он поспешно повернулся и пошел дальше.

Лина Мерц смотрела ему вслед; ее губы дрожали. Она внезапно бросилась на колени перед Андреем, схватила его маленькие замазанные ручонки, из которых уголь просыпался на землю, и страстно начала целовать их. — Перестань работать, Андрей!

Мальчика испугала непривычная нежность. — Что с тобою, мама? — Лина Мерц закрыла руками лицо, прорыдала: — Жизнь — это ад, ад...

ГЛАВА V.

Старый Петр Леэр больше не будет спускаться в шахты, никогда не возьмет в свои сильные руки мотыги или сверла, никогда поутру не сядет первым в подъемную корзину, чтобы к вечеру выйти из нее последним. Его старые глаза отказались служить. С тяжелым сердцем узнал он о своем увольнении. Как ни малы его потребности, все же он едва сможет существовать на крошечную пенсию, выплачиваемую ему предприятием.

Его, впрочем, чествовали: один из служащих произнес речь, в которой воздавал хвалу старому углекопу, в течение долгих 40 лет верно служившему своему делу. Андрей прислушивался, и судорога сжимала его горло. Ему не совсем ясен был смысл слов: „40 лет верной работы". В четыре раза больше, чем ему, Андрею, от роду. Он робко взглянул на Петра Леэра, и пытливая, бессознательная справедливость детского возраста шептала ему: „а что получил он за 40 лет работы?" Он видел перед собою старого, сгорбленного человека с серым лицом, потухшими глазами, сведенными пальцами, худого и тщедушного. Перед этим стариком стоял чиновник, молодой человек, свежий и здоровый, хорошо одетый, жизнерадостный. Андрей сравнил их между собою: „почему такая разница?" Но он не долго задумывался над этим. Опять серая ночь шахты окутала своим покровом его усталый мозг, и тяжелая усталось заглушила его мысли Но то, что неясно сознавал Андрей и не умел выразить словами, громко высказал Павел Леэр, приехавший на каникулы.

— Ведь ты работал, как вьючное животное, отец, гневно воскликнул сын,—и что ты получил за это?

Старые наполовину слепые глаза Петра Леэра взглянули в юное лицо, и, полный радости свидания, он рассеянно ответил:—Благословение труда...

Павел Леэр горько рассмеялся:—Труд достался тебе, а благословение другим... И затем прибавил с болезненной улыбкой:—Ах, если бы вы не были так возмутительно довольны своей судьбой, отец! Рассуди ты сам. Ты работал 40 лет, день за днем, и теперь ты состарился. Что же осталось тебе? Жалкая пенсия, нехватающая на жизнь, и слепые глаза. Действительно, прекрасная старость! Старость, какая же тебе награда? Но разве вообще у рабочих бывает когда-нибудь счастливый возраст? Голодное, холодное детство, утомительные, полные забот зрелые годы, беспомощная, нищая, лишенная радости старость.

Петр Леэр опустил голову, вытер слезящиеся глаза, тихо промолвил:—Ты прав, Павел, что много неправды и зла на нашей земле. Я это и сам себе говорю, когда вижу работающую беременную женщину или детишек. Но, ведь, не всегда же так будет, когда-нибудь во всех сердцах людей расцветет любовь. Ведь, придет же время царствия божия.

— Бедный, старый мечтатель! Неужели ты серьезно веришь, что в сердцах предпринимателей и шахтовладельцев может расцвести любовь?

Мутные глаза старика растеряно взглянули на сына.

— Но, ведь, я должен верить в это, Павел, иначе сердце мое давно разорвалось бы от боли. Ты молод, но ты многому учился, ты умнее меня, ты должен знать, что дальше так не может продолжаться.

—Это я знаю,—молодой голос прозвучал с непрерывной для него жестокостью,—но не посредством проповеди о любви нужно завоевать царство божие. Ваш спаситель проповедует любовь вот уже около двух тысяч лет. Кто следует его учению? Пара бедных дураков, которых распинают так же, как когда-то распяли их пророка. Но мы сумеем, может быть, иначе добиться своей цели.

Петр Леэр задумчиво промолвил:—Может быть это было бы и хорошо, если кто-нибудь добился бы этого. Мы, ведь, только молчали и работали, но мне не хотелось бы, чтобы такая же судьба выпала на долю нашим детям.

Он помолчал минуту, взглянул на сына, сказал твердым голосом, и глаза его, эти бедные, усталые глаза засверкали: —А все же добро победит, Павел. Они повсюду устраивают ясли для наших детей, строят больницы, дают старым рабочим пенсии....

Кулак юноши ударил по столу.

— Вот именно! Ведь, они обманывают вас, водят вас за нос! Неужели ты действительно думаешь, отец, что хозяева все это делают из человеколюбия, из любви к вам? Ведь, они не глухи, они слышат неясный ропот, раздающийся глубоко под землею и потому бросают вам крохи своего излишка: на-те, будьте довольны! А вы позволяете им дурачить себя!

— Павел,—старческий голос звучал мольбою,—мы стары, мы всю жизнь работали в шахте, во тьме. Мы ничего не знаем. Мы только чувствуем нашу скорбь, но не знаем пути, ведущего к свету. Вы, молодые, должны нам помочь. Я знаю, что существует вечная справедливость, к которой стремится человеческое сердце, но одни не видят ее, потому что они косятся только на золото, а другие с незрячими глазами бродят во тьме. Наши дети должны принести нам свет.

Пребывание Павла Леэра в угольном районе вызвало некоторое волнение. Углекопы приходили в комнату Петра Леэра, напряженно, испуганно прислушивались к смелым речам юноши. Кивали в знак согласия головой, когда он говорил об их нужде, но испуганно отшатывались от него, когда он побуждал их к открытому действию, требовал, чтобы они перестали терпеливо покоряться обстоятельствам.

— Профессиональный союз?—с сомнением в голосе переспросил один старый шахтер,—для чего он нам нужен? Кроме того, хозяин непременно уволит нас, если узнает об этом.

Лина Мерц, которую любопытство привело в хижину Петра Леэра, с отчаянием в голосе проговорила:—Нам ничто не поможет! Мы родились в бедности и скорби, живем в нищете и в горе, да и умрем при том же. Кто может нам помочь? Так было всегда, так будет и впредь.

Андрей, пришедший вместе с матерью, внимательно озирался кругом. Вечерние тени сгущались в комнатке старика. На стенах вырисовывались, словно вырезанные из черного дерева, лица углекопов и их жен,

отражавшие безнадежное отчаяние. Это были словно призраки из царства теней. Окружавшие их сумерки придавали им странный, таинственный вид. Последние лучи заходящего солнца проникли в маленькое окошко, осветили все окружающее и ярко озарили вдохновенное лицо Павла Леэра и всю его высокую худощавую фигуру. Чудилось, что именно от него исходит свет. Андрей испытывал странное чувство. Ему показалось, что он видит дневной свет впервые с того момента, как он начал свою работу в шахте. Что-то сильное, молодое, жизнерадостное вошло в его душу, он увидел человека, приносящего свет во мрак его ночи, человека, который олицетворял собою свет. И мальчик с уважением и робостью смотрел на Павла.

Ночь спускалась все ниже, темные силуэты углекопов слились с окружающими предметами и только на лице Павла Леэра, агитатора, лежал яркий отблеск.

Странные, новые слова раздавались в угольном районе. Старый Петр Леэр повторял их, словно слова евангелия: социализм, профессиональный союз, свобода, права. До сих пор он не знал, что ему принадлежат какие-то права, он знал только свои обязанности: подчиняться, трудиться, быть всегда довольным. Хотя старый Петр, будучи благочестивым христианином, несмотря на условия своей труженической жизни, никогда не терял сознания своего человеческого достоинства. Но он хранил это сознание в глубине души и, может быть, даже не уяснял себе, что именно это достоинство и требует признания за ним известных прав. Но вот пришел его сын, молодой, сильный, полный новых знаний, повергающих старика в немое почтительное изумление. И этот сын учит старика и его товарищей, этих отщепенцев, этих вьючных животных, что они имеют права в этом мире, созданном их тяжким трудом. Больше того, он говорит, что весь этот мир когда-нибудь будет принадлежать трудящимся.

Петр Леэр прислушивался к словам нового евангелия и сравнивал их со словами библии. Он был вполне удовлетворен, когда прочел в святом писании слова: „Народ, блуждающий во мраке, увидит великий свет, и свет этот засияет надо всеми, живущими в темном царстве... Ибо ты взял их иго на себя и сломил гнев их вождей“...

Павел Леэр ходил из дома в дом, говорил с отдельными лицами, с группами людей и всем им, мужчинам и женщинам, ежечасно проповедывал новое учение.

Разумеется, это не могло скрыться от бдительности начальствующих лиц. Через три недели после приезда Павла, к Петру Леэру пришел один из высших служащих правления и заявил ему, что сын его должен либо прекратить свою агитацию среди рабочих, либо покинуть угольный район, в противном же случае Петр Леэр лишится своей пенсии.

С тяжелым сердцем Петр Леэр сообщил об этом сыну. Павел злобно улыбнулся:—Как они боятся правды! Это лучше всего выдает их слабость.—Он бросил печальный взгляд на отца,—значит, нужно уезжать...

Петр Леэр глубоко вздохнул:—Мы могли бы провести вместе еще пять недель, Павел; кто знает, увижу ли я тебя, когда ты приедешь на Рождество,—ведь я слепну с каждым днем.

Старые, воспаленные глаза упорно устремлялись на юное лицо, словно хотели сохранить и в надвигающемся мраке его светлый облик. Старик плакал, когда прощался с сыном, но твердил с непоколебимой верой:—Твоих сыновей никто не посмеет отнять у тебя, милый Павел. С тех пор, как я услышал твои речи, я убежден, что скоро наступит наше царство.

Андрея Мерц тоже огорчил отъезд Павла; он искренно и глубоко полюбил молодого человека, он осмеливался убегать от матери, чтобы повидаться с Павлом. Лина Мерц не сердилась за эти отлучки; за последнее время она проявляла больше доброты к сыну и даже иногда разговаривала с ним.

За последние годы Андрей посещал школу, учился чтению и письму. Он охотнее всего сидел бы за книгами, но мать не позволяла. Павел Леэр оставил мальчику несколько книг и Андрей читал их запоем. Ему приходилось каждый день спускаться с матерью в шахту и помогать ей при нагрузке угля. Он пытался по вечерам читать при свете сальной свечки, но буквы расплывались перед его глазами, и усталая голова отказывалась работать. Мальчик часто засыпал над книгой, и тогда Лина Мерц с руганью тушила свечку, трясла мальчика за плечи и приговаривала:—Ступай

спать, Андрей, чтением могут заниматься только богатые, ты напрасно жжешь свечку. Она отобрала у него книги и заперла их в шкаф.

Андрей плакал, спрашивал мать с горечью и со слезами:— Почему все существует только для богатых, а не для нас?

И Лина Мерц угрюмо повторяла свой вечный ответ:— Так было всегда, так будет и впредь.

ГЛАВА VI.

Когда Андрею минуло двенадцать лет, и он превратился в высокого бледного мальчика с усталым, скорбным лицом, случилось нечто, взволновавшее весь угольный район. Один из углекопов, Яков Карнер, которого товарищи называли „Черным Яковом", получил письмо от брата из Америки. Черный Яков несколько раз перечитал письмо, помотал своей чернокудрой головой и с угрожающим жестом ударил кулаком по столу. Затем он опять взял письмо в руки и внимательно изучал его от слова до слова.

Вечером он пришел к старому Петру Леэру, уселся рядом с ним на скамейку перед хижиной и спросил:—А как далеко от нас Америка?

Почти слепые глаза Петра повернулись к углекопу. — Очень далеко, за океаном. А почему ты об этом спрашиваешь?

— Да вот, брат пишет, чтобы я к нему приехал. Он там разбогател, у него большая ферма в Техасе. Я тоже смогу разбогатеть, в Америке все богатеют. И там нет такой рабской жизни, как здесь. Я поеду в Америку.

Последние слова он повторял ежедневно, ежечасно, они казались ему лучшим ответом на все его вопросы и стремления. Письмо, прилетевшее из-за океана, перечитывалось им бесчисленное количество раз, то в шахте при мерцающем свете лампочек, то в кабачке, то в лачугах отдельных углекопов. Якову Карнеру казалось, что он открыл новую страну, золотой мир грез, где честная работа может обогатить человека, где все равны и всем одинаково светит солнце. Слово „Америка" обозначало необозримые зеленые пастбища, великолепные стада — собственные пастбища и

собственный скот; обозначало уютный домик с садом— собственный домик в собственном саду. Америка обещала отдых старикам, счастливое будущее для детей, а для взрослых—возможность честно трудиться и наслаждаться плодами своих трудов.

— Деньги там валяются прямо на земле, стоит только нагнуться и поднять их,—проповедывал Яков,—заработная плата высокая, а самая работа легче, чем здесь. Там и рабочий считается человеком. Там нет никаких королей, никаких императоров, американцы—хитрые люди—давно убрали их к чорту.—Все, о чем мечталось изнуренным людям, все их стремления и мечты, все это должно было осуществиться в этой сказочной стране. Там ждало их счастье, там не было ни холода, ни голода, ни несправедливости.

Некоторые старики возражали, что нужно ехать морем, что судно может погибнуть, а затем люди в Америке говорят на другом языке. Но Яков Карнер громко смеялся:—Пароходы— величиною с большой дом, на них безопасно плавать, ведь, мой брат не утонул. А что касается языка, то... Он поднял кверху свои сильные, мускулистые руки:—Этот язык поймут везде, а работать я могу за десятерых.

Во всех лачугах шли подсчеты и выкладки, все сбережения пересчитывались, и бедняки соображали—хватит ли на дорогу в Америку?

Брат Якова Карнера прислал ему денег и подробно написал, во сколько ему обойдется путешествие.

Яков Карнер и трое его товарищей попросили увольнения. Получив его, Яков в тот же день вечером обратился к Лине Мерц, с вопросом:—Не хочешь ли поехать со мною, Лина? Я оплачу твой проезд.

Лина Мерц недоверчиво взглянула на говорившего. „С тобою в Америку“? С нее точно свалилось громадное бремя, она выпрямилась, закинула голову и блестящими глазами взглянула на черного Якова. Не испытывать больше нужды, не убиваться над работой до боли во всем теле, вспомнить, что она еще молода, снова почувствовать себя человеком...

Но на ее радость упала мрачная тень.—А мальчик? пробормотала она.

— Мальчика взять не могу: на троих не хватит денег. Но, ведь, он уже подрос, может в шахте зарабатывать кусок хлеба, как нагрузчик. А на будущий год мы пришлем ему денег на проезд и выпишем к себе.

Лина Мерц тяжело вздохнула; с одной стороны ей мерещилось счастье, свобода, деньги, а с другой,—ребенок, которого она против желания носила и родила, нелюбимый, связавший ей руки.

А Яков Карнер настаивал:—Не раздумывай долго, Лина, через неделю уходит пароход.

— Мне нужно переговорить в управлении; Андрей еще слишком молод, а, ведь, воспрещено брать на работу детей.

Яков рассмеялся:—Андрей с 6-ти лет работает в шахте и никто не сказал до сих пор ни слова. Да он и выглядит старше, он такой длинный.

Лина переговорила с обер - штейгером. Сначала тот отказал, а потом согласился. Андрея Мерц зачислили в рабочие, а вместо 12-ти лет написали, что ему все шестнадцать. Старый Петр Леэр выразил желание взять к себе мальчика и кормить его за уборку комнаты.

Андрей был глубоко огорчен. Ему не жаль было расставаться с матерью, но ему так хотелось уехать в страну чудес, в страну счастливых, свободных людей.

Вечером накануне отъезда эмигрантов, произошла прискорбная сцена между Линой Мерц и пастором, еженедельно посещавшим деревню для богослужения. Высокий, сухой пастор зашел в хижину Лины Мерц и осыпал ее упреками в том, что она бросает сына и думает только о себе. В заключение он сказал ей, что она скверная женщина и скверная мать. Лина вскипела:

— Да, я гадкая мать, да, я бросаю моего ребенка, я не люблю его, я была бы рада, если бы он родился мертвым. Но разве у меня было время сделаться хорошей матерью? Ведь, я с утра до ночи работаю на вас. Для ребенка у меня нет ни времени, ни силы. У меня не было времени радоваться своему ребенку; когда он был малюткой, я должна была отдать его чужим людям. Когда он подрос, я заставила его работать, нагружать уголь бедными маленькими ручками, заставляла его помогать мне работать—все для вас. Теперь

меня гонит отсюда нужда. Я хочу узнать, каково живется людям, ведь, до сих пор мы чувствуем себя рабочим скотом. Если из меня вышла скверная мать и скверная женщина, бессердечная, неспособная любить своего ребенка, то это вы сделали меня такой. Мне некогда было любить ребенка, некогда было проявлять свою доброту. Все мое время, все мое тело, вся моя сила принадлежали вам, они достались вам за недорогую цену!

Возмущенный пастор говорил ей много жестоких, укоризненных слов, но Лина не отвечала ему больше ни слова.

— Это все развращающее влияние молодого Леэра,—стонал пастор, уходя от Лины.—Нужно позаботиться, чтобы этот юноша больше не приезжал в наш район.

На следующее утро пять эмигрантов уехали. Их путь лежал на восток, казалось, что они прямо идут навстречу восходящему солнцу.

За ними оставалась деревня, окутанная дымкой угольной пыли.



— Но разве у меня было время сделаться хорошей матерью?..

ГЛАВА VII.

Андрей Мерц придвинул горящую свечку, судорожно обхватил пальцами перо и начал писать. Это давалось ему очень трудно, хотя ему было уже более 16-ти лет, но он в 12 лет ушел из школы и с тех пор не держал пера в руке. Сначала ему не удавалось выразить свои мысли словами. Несмотря на то, что в маленькой комнате было холодно, ему вдруг сделалось жарко. Пока он писал, в нем постепенно наростал гнев, сжимавший ему горло. Андрей Мерц писал:

„Милый Павел!

Сегодня похоронили вашего отца. Он хворал в течение недели и очень страдал. Ему было так тяжело, что он вас больше не увидит. За пять дней до смерти он послал меня в контору с просьбой, чтобы они разрешили вам приехать к нему, но они не позволили. Он просил также и пастора замолвить господам за вас доброе словечко, но я думаю, что пастор этого не сделал. Когда я принес старику ответ из правления, он горько плакал. Так мучительно было видеть слезы, бегущие из его слепых глаз. Накануне его смерти я ему солгал, потому что не мог вынести его горя, сказал ему, что вы приедете и скоро будете около него. Он очень обрадовался, и, как ребенок, повторял всем людям, приходившим его навестить: „Мой Павел, скоро приедет“.

Милый Павел, я ухаживал за вашим отцом, как мог, но у меня было мало времени, потому что я должен был работать в мастерской. В нашей деревне поселилась чужая девушка из Восточной Пруссии, ее зовут Марта Туссек, она ухаживала за стариком и была к нему добра.

Перед смертью ваш отец все время спрашивал: „Когда же приедет Павел? Он должен скоро приехать!“ Потом он несколько часов был без сознания, что-то бормотал, воображая, что он работает в подземной шахте, потом он вдруг вытянулся, глубоко вздохнул и громко сказал: „Я устал, работа слишком тяжела.“ Потом он уже больше не говорил ни слова и через три часа умер.

Вы, конечно, будете очень опечалены, да и я тоже, ведь, я очень любил вашего отца.

На похоронах пастор сказал длинную речь, что-то о верном рабе, который получит небесную награду. Мой товарищ, Фриц Браунер, стоявший рядом со мной, шепнул мне: „Надо надеяться, что небесное вознаграждение несколько выше, чем земное, иначе бедному старику придется голодать и на небе.“

Я был зол на пастора: небось теперь он говорил прекрасные слова, а когда старик был жив, то он не захотел исполнить его последней просьбы.

Вот и все.

Всего хорошего вам.

Андрей Мерц.“

Андрей положил перо, подпер руками голову и задумался. Он думал о старике, лежавшем теперь на кладбище, вспоминал 4 года совместной жизни с ним. Петр Леэр совершенно ослеп. По утрам Андрей одевал его; в теплые, солнечные дни выводил из хижины и усаживал на скамеечку, а зимою и в дождливые дни—в кресло у окошка. И старик сидел целыми часами без движения, глядя перед собою незрячими глазами. О чем он думал? О пролетевшей-ли молодости, или о своих тяжких трудах в зрелые годы? Андрей не знал этого, но смутно чувствовал, что результатом всех этих воспоминаний являлось следующее размышление: „Я работал, как вьючное животное, и всю жизнь прозябал и нуждался.“ И сам Андрей в 16 лет мог сказать почти то же самое—неужели его тоже ожидает подобная старость, слепота, беспомощность, одиночество и бедность? И ему приходило на память любимое выражение матери: „Так всегда было, так будет и впредь“. Вдруг ему вспомнился вечер, когда Павел Леэр в комнатке отца говорил перед углекопами. Он мысленно увидел лицо говорящего, освещенное лучами заходящего

солнца, видел очертания слушателей, находившихся в тени. Да, где-нибудь есть свет, а мы блуждаем в ночной темноте.

Его охватило отчаяние. Как это было нелепо—день за днем спускаться в шахты, работать много часов подряд в черном, вонючем пространстве, безумно уставать к вечеру, переходя из подземной темноты в ночную темноту над землей. Он знал, что на свете, кроме всего этого, существует еще что то другое; книги, изредка посылаемые ему Павлом Леэр, могли бы ему об этом рассказать. Но как урвать время для чтения? Его глазам, привыкшим к темноте, больно смотреть на свечу, а в свободное время у него только одно желание,— заснуть.

Послышался тихий стук в дверь, и Фриц Браунер показался на пороге.

— Все еще горюешь о старике? Пойдем лучше со мной.

Андрей Мерц не сразу понял смысл обращения, он растерянно взглянул на товарища и произнес, точно в полусне:

— Фриц, для чего живет рабочий?

Здоровый парень рассмеялся:—А разве ты не знаешь? пойдем я тебе покажу!

Он схватил Андрея за руку и потащил его за собой. Они пришли в кабачок. Фриц заказал водки и пододвинул Андрею полный стакан: „Пей, веселее будет!“

Андрей Мерц никогда не пил алкоголя; первый стакан показался ему невкусным, но ему понравилась теплота, разливавшаяся по всему его телу. Его тяжкая печаль точно отлетела от него. Он выпил второй стакан, а за ним и третий.

Две девушки заглянули в открытую дверь, засмеялись и подмигнули. Фриц встал. „Теперь ты увидишь, зачем мы живем“. Он обнял одну из девушек, а другую толкнул к Андрею и, смеясь, проговорил: „Он еще очень робок, тебе придется приручить его.“

Они ушли из кабачка и направились в ближайший лесок. Из серых низких туч шел холодный мелкий дождь. Андрей зашатался, выйдя на свежий воздух. Девушка положила руку ему на плечо. Лишь только они дошли до леса, как Фриц и другая девушка пропали из глаз.

Андрей сел на сырую землю, рядом с ним уселась девушка и стала покрывать его лицо поцелуями. Ее жесткие руки ласкали его. Его охватило неизведанное и пугающее

чувство, он прижал к себе девушку, ощупал ее мягкие груди и ее крепкие молодые ноги. Она вскочила и, смеясь, остановилась перед ним. С полузадушенным криком, Андрей бросил ее на земь и сам бросился на нее...

Дождь все усиливался, серый туман окутывал деревья. Ветер заунывно стонал на верхушках деревьев. Несказанная грусть охватила Андрея Мерц. Он сразу протрезвился. Пробормотал себе под нос: „точно скотина", но сам не знал, откуда пришли ему на память эти слова, и что они обозначают. С невыразимой брезгливостью он оттолкнул от себя девушку, она подползла к нему на коленях, обняла за шею.

— Разве ты меня не любишь?

— Нет,—грубо ответил он и потом, помолчав немного, спросил:—кто ты?

Она засмеялась:—Ты все еще пьян? Ведь, я Анна Шлоссер. Ты меня знаешь.

— Нет,—тупо возразил он.—Я тебя не знаю, ты мне совсем чужая.—Дрожа, точно в ознобе, он встал и, не говоря ни слова, выбежал из лесочка по направлению к дому.

Не зажигая свечи, он бросился на постель, у него болела голова и его тошнило. В мозгу теснились разные мысли, картины; то ему казалось, что он видит покойного Петра Леэр, затем из двери выглядывало лицо девушки. Ему казалось, что весь воздух пропитан спиртом и чудился сладковатый запах сырости, исходивший от платья девушки. В голове звучат слова, его собственный вопрос, обращенный к Фрицу Браунеру, затем слышится голос девушки: „Разве ты меня не любишь?" Черные волны отвращения смыкаются над ним; он видит опять шахту, ночь и темень, вдыхает в себя отвратительный запах угля, захватывающий дыхание и, сквозь пьяный сон, бормочет: „Разве для этого живет рабочий?"



— Две девушки заглянули в дверь, засмеялись и подмигнули...

ГЛАВА VIII.

Марта Туссек подняла свою маленькую, черноволосую головку от швейной машины и задумчиво взглянула в окно. В прозрачных весенних сумерках она увидела Фрица Браунера и Андрея Мерц, они вышли из кабачка и колеблющимися шагами направлялись в лес.

Девушка положила руку на колесо и наступила ногой на педаль. Колесо пришло в движение, сначала медленно, потом все быстрее, пока не превратилось в слошной блестящий диск. Светлая материя вылетала из под иголки и волнами спадала на пол.

Жужжание колеса сопровождало печальные размышления Марты Туссек. „Андрей Мерц пьет, он почти каждый день пьян... Теперь, когда умер старый Петр Леэр, никто больше не заботится о парне... Нужно бы с ним поговорить, он неглупый юноша, жалко его... Конечно, это понятно, что он пьет, это его единственное развлечение...“ Девушка сильно наступила на педаль машины, и нитка оборвалась. Она нагнулась, прищурилась, вдела новую нитку. И опять бегущие мысли слились с жужжанием колеса. Рабочему люду, этим детям мрака и нищеты, не дано других радостей на земле. Алкоголь заменяет им то, что другим, более счастливым, дают красоты мира, радости искусства и науки. Первые же стаканы водки снимают свинцовую тяжесть усталости, вливают новую силу, освежают, а дальнейшие стаканы возбуждают кровь и наполняют сердце и мозг бессмысленной, но яркой радостью. Правда не со всеми так бывает: Марта Туссек вспомнила о своем отце, которому довольно было трех стаканчиков водки, чтобы он плача забрался в угол и там перечислял все горести и тяготы своей жизни.

Ребенком она часто слушала эти причитания:—Как рано я потерял мою милую жену! Она умерла в родах, по моей вине, при рождении шестого ребенка. Врач мне сказал, что она не должна больше рожать, что это грозит ей смертью. И вот однажды я поссорился с надсмотрщиком, пошел со злости в кабак, пил, пил... она плакала, когда я вернулся, умоляла меня оставить ее, но я превратился в дикого зверя, сорвал с нее платье... она умерла в родах... Потом я в пьяном виде раздробил себе ногу киркой и остался хромым, наполовину утратил работоспособность... Моего единственного сына отняли от меня, взяли на военную службу, он был славный парень, зарабатывал уже много денег. Потом настала война с французами. Какое мне дело до французов? Мой сын был убит... Как „герой“, написал мне капитан. Разве мертвый „герой“ мог мне помочь прокормить пятерых девченок?...

Кузнец часами изливал свои жалобы, пока, наконец, голова его не падала на стол, и он не засыпал.

Черная скорбь, звучавшая в жалобах пьяного кузнеца, омрачала жизнь маленькой Марты. Она была младшей из пятерых детей, единственной, оставшейся при отце. 24 года жила она с отцом в маленьком городке Восточной Пруссии близ русской границы. Ее сестры служили работницами в соседних имениях и редко навещали отца. Марта была недостаточно сильна для этой работы. Мечтой всей ее юности было сделаться учительницей, быть окруженной детьми, обогащать их знаниями. Но для этого не хватало средств. Отец пил все больше, а зарабатывал все меньше; ей пришлось прирабатывать. Она научилась шить. Ее свежая юность прошла в бесконечной стежке, затерялась в белых и цветных материях, заглохла в жужжании швейной машины. С утра до вечера ноги наступали на педаль, глаза следили за швом, руки разглаживали ткань. Маленькая комнатка с голыми стенами и швейная машина заключали в себе весь мир для молодой девушки.

Когда ей минуло 18 лет, в ее жизнь вошло нечто новое. В маленьком городе появился иностранец, молодой русский, бравший работу у ее отца. Он поселился в том же доме, и вскоре между обоими молодыми людьми завязалась искренняя дружба. Борис Мершовский разрушил стены, отделяющие девушку от жизни, указал ей на другой мир, мир живых,

деятельных и страдающих людей, несмотря на пытки и притеснения, стремящихся к счастливому будущему. До сих пор она не знала ничего, кроме своей жизни в четырех стенах под монотонное жужжание швейной машины, и кроме кузницы отца с ее оглушительным шумом. Жизнь значила для нее лишь работу, изо дня в день ровное движение машинки, да вечную заботу, вызываемую непробудным пьянством отца. Жизнь соседей протекала так же однообразно и так же была полна работы и горя. И вдруг пришел человек, развернувший перед ее удивленными глазами целый ряд новых картин, принесший пищу для ее пытливого ума, принес идеалы ее скорбной душе.

Борис Мершовский принадлежал к группе народовольцев, совершивших в марте 1881 года покушение на императора Александра II. Он рассказывал девушке о борьбе „Народной Воли", члены которой были одушевлены лишь одним желанием освободить народ от рабства и нищеты. Марта с восторгом прислушивалась к его словам. Значит, были люди, думавшие о горькой участи бедняков, значит, была надежда для рабов труда? То, о чем она смутно догадывалась, принимало в словах Бориса Мершовского ясные очертания, и ей казалось, что она идет по темному мрачному ущелью, в дальнем конце которого сияет свет.

„Народная воля"—воля народа к вечной справедливости и свободе. Во имя этой воли многие пошли на смерть, многие томились в тюрьмах, на рудниках в Сибири. Но на их место вставали другие, и цепь, исходящая из России и обнимающая весь мир, никогда не разрывалась, даже когда отдельные звенья выбывали...

Бодрый дух Марты проснулся под влиянием Бориса Мершовского. Она училась, читала и совершенно переродилась.

Через год молодой русский вернулся к себе на родину, и она больше ничего не слышала о нем, но его учение жило в ее душе.

Когда Марте исполнилось 24 тода, она переехала с отцом из маленького города Восточной Пруссии в угольный район.

Здесь, в этом черном мире, девушка увидела нищету и нужду в еще более мрачных красках. Рабочие поражали

своей апатией и покорностью, безнадежностью своего существования. Они превратились от работы в тупых бессловесных животных, даже не имевших желания освободиться из когтей нужды, не имевших даже воли и силы противиться своей судьбе.

Марта пыталась сблизиться с женщинами, вызвать в них справедливое возмущение, желание изменить условия жизни. Но она везде встречала удивленные бессмысленные взгляды, жалобы и стонущий вопрос: „что же мы можем сделать?" Этим людям, задавленным личными переживаниями, совершенно непонятно было чувство солидарности, чувство спайки. Какое им дело до других? Разве им недостаточно их собственной нужды? Разумеется, их больше, чем богатых, но ведь они слабее и всецело находятся во власти хозяев и их прислужников. Кто захочет подвергнуть себя опасности быть уволенным? Ведь, детей-то надо кормить!

У старого Петра Леэра Марта Туссек часто встречала Андрея Мерц, и ей казалось, что в этом юноше она найдет человека, способного воспринять ее идеи. И Фриц Браунер, озлобленные насмешки которого выдавали горечь и возмущение его души, тоже должен был воспринять учение нового евангелия. Но оба парня проводили свободное время в кабаке, в винных парах искали недостающего им счастья.

Горячая жалость к людям, живущим в этом черном мире, и страстное желание помочь им, наполняли сердце девушки.

Наступил вечер. Марта Туссек встала, сложила работу и подошла к окну. Мимо проходила толпа молодых рабочих с шумом и гамом; полупьяные парни направлялись в соседний лес.

ГЛАВА IX.

Был яркий весенний день, когда Марта Туссек встретила Андрея Мерц. Она остановилась.

— Куда вы идете, Андрей?

— В кабак.

— Пойдемте со мною, я сегодня устроила себе праздник, у меня очень сильно колет в груди. Мы прогуляемся с вами.

Он бросил на нее испытующий взгляд и насмешливо улыбнулся. Значит и эта тоже? Какая дрянь эти женщины, какие противные, грязные животные, бегающие за мужчинами, как собаки! Он испытывал горькое разочарование—эта девушка казалась непохожей на других.

Он пошел рядом с ней, тяжело передвигая ноги и согнув свои широкие плечи. Он беспрестанно щурил глаза и моргал ими и ненавидел ослепляющий его солнечный свет. Они долго шли молча, потом уселись в тени большого бука.

Андрей выжидательно смотрел на девушку из под полуопущенных ресниц. Вот сейчас она бросится ему на шею, жадно поцелует его горячими влажными губами. И резким ударом проззучал вопрос, сделанный тихим, нежным голосом: —Почему вы пьете, Андрей?

Он раскрыл глаза; что ей нужно было от него? Какое ей дело? Уж не собиралась ли она читать ему наставление.

— А почему бы мне не пить?—упрямо возразил он.

Она ничего не ответила, сорвала былинку, разрывала ее на мелкие части. Ее молчание взбесило его, дикий гнев охватил юношу, он не знал, против кого этот гнев,—против-ли девушки, или против самого себя, или против всего света. Заикаясь, он начал говорить:

— Почему я не должен пить? Чем же я должен заниматься по выходе из проклятой черной дыры? Голова болит, руки онемели, поясницу ломит. Мысли—черны, как уголь. Я готов убить человека от злобы и ненависти. Я готов сам повеситься на ближайшем дереве, стоит мне только подумать, что завтра, послезавтра, и всю жизнь мне опять придется спускаться в шахты, и всегда я буду внизу работать, ударять киркой, добывать уголь, все будет черно вокруг меня, смрадный запах угля будет проникать мне в горло, и все члены моего тела будут болеть. Когда же я пью, все это забывается.

Он замолчал и сам удивился: откуда взялись слова у него, ворчливого молчальника?

— Ведь, есть еще многое другое кроме пьянства,- тихо промолвила Марта Туссек.

— Да, только не для нас!—Ему почудилось, что многолетняя горечь свинцовой тяжестью лежала на нем и давила ему грудь, и ему хотелось освободиться от нее.—Не для нас! Павел Леэр говорил мне о том, чем пользуются другие. Хорошая жизнь, больше отдыха, чем работы, красивые дома, сытный стол и путешествия по чужим странам, где всегда сияет солнце. И книги...

И вся его печаль вылилась в крике:—Да, книги! Никто не знает, как я люблю читать! Существуют слова, звучащие так прекрасно, что хочется плакать, и в книгах столько нового, чего я не знаю, но что так охотно изучил бы. Когда я вечером возвращаюсь домой, я присаживаюсь к лампе и пытаюсь читать, но буквы мелькают перед глазами, а голова отказывается понимать. Тогда я бросаю книгу в угол и иду в кабак, а затем...

Что-то сдавило ему горло; страдание помешало ему закончить свою исповедь; печальный и мрачный, он упорно смотрел на девушку, и на глазах у него были слезы.

— А знаете ли вы Андрей, почему этот другой прекрасный мир принадлежит другим?

— Потому, что они богаты, а мы бедны.

— Если мы захотим,—медленно проговорила она, то прекрасный мир когда-нибудь будет принадлежать трудящемуся народу.

Он насмешливо расхохотался:—Да, пастор тоже говорит об этом!

— Я говорю не о небе, а о здешнем земном мире, со всем прекрасным, что в нем существует. Но, конечно, этого не будет, если мы будем ползать, как побитые собаки, если мы вечно будем лизать бьющую нас руку и думать, что мы не имеем права на человеческое существование.

Он перебил ее:—Моя мать всегда говорила: „Так было всегда, так будет и впредь". Она была права, все остается по старому,—мы работаем, а господа веселятся.

— Вы знаете что-нибудь о социализме, Андрей?

Он задумался на минутку.—Павел Леэр социалист, он говорил то же, что и вы. Но это ни к чему не ведет,—ведь, свет не изменился, а Павла за его болтовню посадили в тюрьму,—он недавно написал мне об этом.

— Если бы вы знали, что можете помочь созданию нового мира, в котором не будет ни голода, ни нужды, ни несправедливости,—вы помогли бы этому, Андрей?

Он рассмеялся детским радостным смехом.—Разве я осел? Разумеется, помог бы обоими руками!

Но на лице его опять появилось выражение покорности, и он тупо пробормотал:—Все это, одна болтовня. Мы родились в нищете, в ней и умрем.

Он внимательно взглянул на девушку, словно надеясь, что услышит от нее возражение.

И она заговорила... Она говорила долго, убедительно, и лицо Андрея понемногу прояснялось, точно с него постепенно спадал какой-то гнет; он слушал Марту с широко раскрытыми глазами, как ребенок слушает сказку. Это было другое опъянение, непохожее на угар от водки, это были видения, которых никогда не вызывал алкоголь.

Заговорившись, они не заметили, как сгустились тени, и землю окутала тьма. Марта Туссек испуганно вскочила.

— Я должна спешить домой, нужно накормить отца.

— Мне хотелось бы еще послушать вас, Марта, хотелось бы привести к вам Фрица, других товарищей...

— Хорошо, по вечерам я свободнее, можете приходить, когда хотите.

Пока они спешили домой, Андрей вспомнил, какие мысли пришли ему в голову, когда Марта Туссек позвала его с собой в лес. Кровь бросилась ему в голову, ему хотелось просить у нее прощения, но, ведь, не мог же он сказать ей,

какие грязные мысли промелькнули у него в голове. Дойдя до хижины кузнеца, он остановился около Марты, смущенно теребя в руках снятую фуражку.

— Спокойной ночи, Андрей.

— Спокойной ночи, Марта,—он схватил ее за руку и не выпускал ее руки, словно желая что-то сказать ей.

— Что вы, Андрей?

— Марта вы... вы не похожи на других девушек... С вами нельзя... Вы—точно товарищ.

Она тихонько засмеялась:—Я всегда останусь такой.

Она пожала его руку и скрылась в дверях.



Лицо Андрея понемногу прояснялось...

ГЛАВА X.

Медленно, постепенно, почти незаметно в мрачный мир проникал крошечный луч света. Слабый, мерцающий, готовый погаснуть при малейшем дуновении ветра, он боролся за свою жизнь. Сначала несколько робких рук оберегали его от опасности, затем этих рук становилось все больше и больше, огонек разгорался и наконец превратился в бурное, не знающее препятствий пламя.

Первыми пришли молодые—те, стремлений которых не задавили десятки лет нужды и рабства. По два, по три человека заходили они в комнатку Марты Туссек и с глубочайшим вниманием слушали провозглашаемое ею новое учение. Внизу, в глубоких шахтах раздавались слова, еще никогда не звучавшие в этом черном мире: „справедливость“, „свобода“, и еще самое яркое, самое ослепительное выражение: „наша власть“.

Эти несчастные, эти обездоленные, бесправные и вечно-эксплоатируемые люди и не подозревали, что в их руках находится власть, способная перевернуть весь свет и создать новый мир. До сих пор они предполагали, что эта власть является достоянием богатых.

— Боже, как мы были глупы!—восклицал Фриц Браунер.

— Нас миллионы, а их горсточка, и мы позволили запречь себя в ярмо, как волов. Работа наших рук создает богатство других, а сами мы зарабатываем только на кусок черствого хлеба. Мы хотим работать на себя!

Седовласые рабочие укоризненно покачивали головой.

— Слышали мы об этом. В 48 году слышали. И все же ничто не изменилось.

— Может быть, причиной этому наша трусость,—говорили другие.

Никто не пытался удерживать воодушевления молодежи, и все были согласны, что нищенский заработок не дает возможности сносно существовать.

Новое настроение, оживившее угольный район, не могло долго оставаться в тайне. Неясный страх перед чуждой им новой властью охватил шахтовладельцев; они стали озираться, выискивая союзников, в первую очередь нашли церковь. С тех пор, как в шахтах стали работать чехи, в деревне поселился к толический патер, его задача была очень легка, потому что члены его общины были благочестивыми овечками, не помышлявшими об уничтожении существующих условий. Зато протестанты представляли собою самый „опасный элемент“. Протестанский пастор часто посещал деревню, переходил из одной хижины в другую и пугал женщин гневом хозяина на земле и божьим гневом—на небе. Служитель Христа бесстыдно подтасовывал слова евангелия и превращал своего бога в полицейскую власть, охраняющую богатых.

По почину хозяев и духовенства был учрежден особый „христианский союз“, и поступившие в него рабочие пользовались особым благоволением хозяев. За кружкой пива провозглашались следующие новые заповеди: „Я твой господин, и ты должен мне покоряться. Все, что заработают твои руки, принадлежит мне. Мое имущество должно быть для тебя священно. Ты не должен желать добра ближнего твоего. Ты не должен размышлять“. Членов союза угощали вкусным пивом, помещение союза хорошо отапливалось; многие рабочие приписались к этому союзу.

Весною в угольный район прибыл Павел Леэр с товарищем, чтобы помочь рабочим организоваться.

На тайных собраниях Андрей Мерц испытывал то же чувство, как в детстве, когда он ожидал взрыва: сердце билось, душу охватывал трепетный ужас, все существо настораживалось, и дыхание замирало в ожидании чего-то грандиозного.

Павел Леэр говорил отрывисто, сухо и за холодными трезвыми словами скрывал горячее, бичующее негодование. Зато его товарищ, молодой писатель Курт Брюлль обладал способностью захватывать слушателей.

— Этот Курт будет когда-нибудь нашим общим вождем,— радостно мечтал Андрей Мерц.

Павел Леэр покачал головой:—Он честен, полон убеждения, но он не годится нам в вожди. Он принадлежит к другому классу.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Революция должна родиться от пролетариата, и только люди, происходящие из пролетарской среды, могут совершить революцию. Другие нас не понимают. Только тот знает землю, кто обрабатывает ее, кто близок к ней, только тот знает народ, кто связан с ним глубочайшими корнями. Мы не полуживотные, тупые, грубые и бездушные, какими считает нас буржуазия и затуманенная и разъеденная своею, так называемой, одухотворенностью интеллигенция, но мы и не святые, очищенные трудом и нуждою от всех грехов, какими считают нас Курт Брюлль и ему подобные.

— Мы? Нас?—спросил Андрей Мерц, знимательно вглядываясь в своего друга.

Павел рассмеялся.—Разве ты думаешь, что я уже не принадлежу к вам, потому что ношу стоячий воротник и учился в высшем учебном заведении? Мой отец был углекопом; моя мать умерла от мучительной болезни, от рака, потому что у нее не было средств сделать себе операцию. Я не хочу сказать, что мы должны отталкивать интеллигентов, когда они подходят к нам с честными намерениями. В новом мире, где красота и знание будут принадлежать всем, им тоже найдется место.—Разумеется, не для тех, которые своим знанием или талантом служили для развлечения буржуев и способствовали их пищеварению, не заботились никогда о правде и справедливости; те будут тогда разбивать камни,—это по крайней мере честный труд.

С приходом обоих молодых людей точно открылись громадные ворота, через которые можно было взглянуть на новый мир. Отчаявшиеся и малодушные с удивлением узнали, что светлый луч проник не только в окружающий их мрак, но что от этого луча зажглись огни во всех концах света, и пламя их побеждает тьму безнадежности. Сознание, что они не одиноки в борьбе, придавало силу этой маленькой группе беззащитных людей, и к ним присоединялись все новые и новые сторонники. Каждый отдель-

ный человек черпал бодрость в сознании, что за ним стоят тысячи, связанные неразрывными узами. Это было откровением для людей, живших под землею и на земле в ночном мраке.

Во всех умах запечатлелись слова: „Так не всегда будет“; эти слова повторяли изнуренные работой мужчины, опечаленные, измученные женщины шептали их друг другу на ухо и сияющими глазами смотрели на своих ребят. „Не всегда большая часть человечества будет находиться в условиях нужды и голода, в которых она родилась. Не всегда большинство будет надрываться над работой, а меньшинство пользоваться плодами этой работы, не всегда больные будут умирать только потому, что у них нет денег для лечения; не всегда наградою старого работника будет только богадельня“. Сказочные сны озаряли летние дни. Многие думали, что обетованная земля уже близка и чтобы достигнуть ее, нужно выдержать лишь одно сражение.

Даже, когда оба агитатора однажды были забраны полицией, настроение рабочих не упало. Они уже были организованы и уже сознавали свою силу. Их влекло к борьбе Господствовавший до этого в угольном районе мертвый покой бесследно изчез. Жизнь бродила, кипела. Из тьмы зимней ночи вырвалось пламя, все увлекая за собой, охватило весь горизонт: разгорелась забастовка.

ГЛАВА XI.

То была забастовка в шахтах. Бастующие сами удивлялись себе, ибо они только сейчас поняли, что можно бросить работу. До сих пор они были машинами, повинующимися мановению чьей-то руки, по утрам спускались в шахты, работали целый день и поздно вечером поднимались обратно на поверхность земли. У них не было своей воли, ими руководила чужая воля, сознание того, что они должны исполнить эту волю. А теперь они увидели, что эти обязанности можно нарушить, и их воля восторжествовала над чужою волей. Им отказали в повышении заработной платы, и они решили забастовать. Это было так просто, и вместе с тем внушительно. Они захотели—и шахты опустели; они захотели—и ни один кусок угля не поднимался на поверхность земли; они захотели—и промышленность всего края замерла. Теперь могущественным господином была их собственная воля. Стоило этим изголодавшимся, измученным вьючным животным сложить руки—и весь окружающий их мир пошатнулся. Они победят, не прибегая к оружию.

Андрей Мерц ходил, как во сне. Его тянуло к подъемной корзине, он подходил к ней и долго пристально глядел на нее. Кругом не раздавалось ни одного звука, мертвая тишина лежала над шахтами. Андрей до боли сжимал кулаки, и сердце его усиленно билось, жаркие слезы умиления катились из его глаз.

А в хижинах сидели углекопы, радовались, отдыхали; усталые члены выправлялись; покрасневшие, мигающие глаза постепенно приучались смотреть на солнечный свет. Да, они постепенно приучались смотреть на свет: привыкали к свету. Эти люди, проводившие всю жизнь во мраке, ни-

когда не осмеливались взглянуть на свет, боясь ослепнуть. Теперь свет сам пришел к ним; они открыли глаза и взглянули. Их неясные предчувствия оправдались, перед ними развертывался и манил их к себе новый светлый мир.

Андрей Мерц громко смеялся от счастья; ему казалось, что с него спали цепи; все его стремления, все желания вдруг осуществились. В первый раз в жизни он чувствовал свое право на счастье и знал, что он добьется его.

Ничто не устрашало его, ведь, он своими глазами видел чудо, сотворенное волей рабочих. Перед ним раскрылся мир, в котором рабочий имел возможность жить по-человечески, имея, кроме утомительного труда, несколько часов отдыха, мир, в котором свободные люди добровольно отдают труду свою силу.

От этих мыслей пробудил его чей-то голос. Перед ним стоял Штейнберг, маленький горбатый писец из канцелярии.

— Андрей, кто в течение этой недели встанет на работу, тот получит двойную заработную плату. Скажи это другим.

Андрей, недоумевая, взглянул на него.

— На работу? Как это?

Горбун подошел к нему ближе.

— Члены христианского союза встанут на работу.

— Чего же тебе нужно от нас, проклятый?

Горбун рассмеялся.—Мне платят по 10-ти марок за каждого, кого я уговорю встать на работу. Не будь дураком, Андрей, принимайся-ка завтра за работу. Пусть другие разыгрывают дураков. А тебе дадут двойную плату во все время забастовки и, кроме того, ты можешь быть уверен что тебя не уволят. Подумай об этом.

— Оставь меня в покое, горбатый дьявол!

— Послушай, Андрей, ведь хозяева все равно победят. Чего вы можете достигнуть, бедные, беспомощные люди? Ведь, в случае надобности, хозяева призовут войска на помощь; уж об этом заходила речь. Директор, говорят, сказал: „Я хлыстом выгоню этих собак на работу"...Чего же ты хочешь? Богатые всегда были господами и всегда останутся ими.

— Убирайся к чорту!

— Ты все же подумай об этом, Андрей. А когда надумаешь, приходи ко мне, дай мне заработать,—у меня ведь семеро детей, и жена ожидает восьмого.

— Какое мне дело до твоих детей?

— Ты ведь друг бедных детей. Я еще недавно слышал твою речь, ты, ведь, кричал так, что стены дрожали: „мы будем справедливы ко всем бедным и униженным!“ А я разве не беден?

— Ты хочешь продать своих же товарищей! Неужели тебе не стыдно?

— Стыдно?—Горбун задумался.

— Нет, не понимаю, чего я должен стыдиться? У меня семеро детей и восьмой в дороге... Это требует больших расходов. Откуда я возьму денег? У меня живот подвело от голоду, не могу же я урывать от детей их кусок хлеба, приходится им всегда говорить: „кушайте, милые, я не голоден“. Приходится, где только возможно, добывать деньги.

—Если ты нам поможешь, мы построим новый мир, в котором твои семеро ребятишек не будут голодать.

Горбун с состраданием взглянул на Андрея.—Ты дурак, Андрей, ты веришь сказкам. Мой прадед голодал, дед и отец тоже голодали, я голодаю, и мои потомки будут голодать. Так вот, если ты надумаешь, приходи ко мне, подумай только: семеро детей и восьмой на пути.

Он закашлялся, повернулся и удалился быстрыми шагами.

Андрею Мерц показалось, что черная завеса опустилась на сияющий, голубой зимний день; безжалостная ночь, от которой он мечтал освободиться, опять протягивала к нему свою грязную руку.

Горбун сказал, что все члены христианского союза встанут на работу. Невыразимый ужас и полное непонимание охватили Андрея Мерц.—Разве углекопы, принадлежащие к христианскому союзу, не такие же рабочие, как забастовщики? Разве они не испытывали той же нужды, разве не страдали при виде голодающих жен и детей? Разве тесные узы общего страдания не связывали их с товарищами? Что же заставляло их вредить собственным братьям и бороться против них? Что побудило их итти об руку с хозяевами, их общими врагами? Двойная заработная плата?.. Андрей Мерц горько улыбнулся. Конечно, их толкнули на это жадность:

трусость и страх быть уволенными. Но этого было недостаточно; он знал членов христианского союза, всегда готовых. помочь товарищам, отказать себе в самом необходимом, если нужно было помочь больному или нуждающемуся ближнему. И трусость тут не при чем; Андрей вспомнил Венцеля Прихода долговязого чеха, председателя христианского союза. Еще недавно, при небольшом несчастии в шахте, он первый вошел в обрушившуюся штольню и, забывая об опасности, угрожавшей его собственной жизни, кинулся спасать других.

Медленно, задумчиво пошел Андрей обратно в деревню, бросив последний взгляд на опустевший спуск в штольню. Под его шагами хрустел снег, и этот слабый шум сопровождал его мысли. Почему эти люди, эти наши братья, стали на сторону хозяев? Почему они предают нас? Ведь, они не злы и не трусливы. Если среди богатых мы находим только врагов,—это понятно, но среди собственных братьев... Ведь, наша нужда, наше рабство должны быть им понятны, они должны вместе с нами мечтать о создании нового мира. Слова горбуна раздавались у него в ушах: „Мои потомки тоже будут голодать". И тут догадка молнией пронизала его мозг, он нашел ответ: у других просто не хватало способности верить в это прекрасное будущее. Они уподоблялись людям, по колено завязшим в болоте и ничего не предпринимающим для спасения, за отсутствием веры в возможность спастись. А на берегу стояли попы, вооруженные церковными и небесными проклятиями, стояли учителя, судьи с книгою закона в руке и говорили: „Не шевелитесь, чтобы не завязнуть еще глубже! До скончания века вы не сможете выбраться из этого болота." Попы возвещали: „Это—божья воля, он создал богатых и бедных, не спорьте с ним, чтобы не утратить вечного блаженства". Учителя твердили: „Будьте послушны, склонитесь в смирении перед законами мироздания. Труд и сознание исполненного долга должны делать вас счастливыми." Судьи заявляли: „Исполняйте закон, созданный для вас. Закон не знает снисхождения: голодный, виновный в воровстве человек, доведенный до отчаяния и схватившийся за оружие—виновны пред лицом закона. Вы имеете право только работать и терпеть, иначе вам грозят тюрьмы и виселицы."

И люди неподвижно стояли в болоте, полные ужаса и лишенные мужества. Они боялись не только дела, но и слова

и даже мысли. И все же, несмотря на страх и на отупение, в них должна была жить надежда на спасение, слишком уж им хотелось освободиться от своих оков и приблизиться к свету.

Андрей Мерц вошел в хижину, где он занимал каморку, взял в руки книгу и углубился в чтение.

* * *

Серая, зимняя ночь тяжело спустилась на землю; в некоторых хижинах мерцали огоньки; кой-где мелькали черные тени. Нервы Андрея были напряжены. Он бормотал сквозь зубы проклятия. Над спуском в шахту ярко горел громадный газовый фонарь, потушенный при начале забастовки.

Значит, это правда: члены христианского союза спускаются в шахты! Они шли тесными рядами, бросая вокруг себя подозрительные взгляды и торопливо подходили к спуску в шахты. Бастующие шли следом за ними, осыпая их бранью и проклятиями. Служащие показались у входа в шахту, местная полиция старалась оттеснить забастовщиков. В воздухе свистнул камень и попал в руку одного из штрейкбрехеров. Тот зарычал от боли. Полицейский выстрелил в воздух...

Раздавались женские голоса, неясные фигуры пригибались к земле и дрожащими от гнева руками старались разрыть снег, чтобы достать булыжник. Один из членов христианского союза насмешливо крикнул: „Вы скоро последуете нашему примеру, если не хотите издохнуть с голоду! Ленивая сволочь! Дармоеды!“

Фриц Браунер, стоящий рядом с Андреем, не помня себя от гнева, бросился на говорившего. Они схватились друг с другом, и полицейский бросился разнимать их. Фриц оставил штрейкбрехера и замахнулся на полицейского. „Не смей меня трогать, собака! Твой отец околел в яме, а ты, его сын, толкаешь туда собственных товарищей!“

Его кулак тяжело упал на голову полицейского, и тот свалился на землю; Фрица окружили и увели.

Последний из членов христианского союза вошел в подъемную корзину, окруженную вооруженными полицейскими.

Прозвучал сигнал. Подъемная корзина опустилась в шахту.

Андрею Мерц казалось, что кто-то ударил его по лицу. Его охватило чувство чисто физического недомогания. Первое поражение было нанесено своими же товарищами.

* * *

Безнадежно тянулись тяжелые, свинцовые дни. Голод и холод мучили бастующих, и некоторые из них уже поговаривали о сдаче. Каждый день члены христианского союза спускались в шахты, а горбатый писец шнырял кругом, как привидение, хриплым голосом нашептывал: „Двойная заработная плата всем, кто приступит к работе во время забастовки". Женские уши жадно прислушивались к его словам; женские голоса, по уходе горбуна, злобно кричали или стонали, обращаясь к мужьям: „Ты скверный человек, из-за тебя твои дети голодают. Они плакали всю ночь напролет, чего ты добиваешься? Ведь, все равно ничто не изменится. Ступай на работу, пока мы все не передохли от голода и холода!"

На одном из собраний выступил один из бастующих рабочих и дрожащим голосом произнес:

— Товарищи, я не в силах дольше выдержать, мои дети голодают, жена больна, должна лечь в больницу. Директор сказал мне сегодня, что если я встану завтра на работу, то моя жена будет бесплатно помещена в больницу, и за нею будет хороший уход. Она — славная женщина, и мы любим друг друга. Как вы хотите, но завтра я спущусь в шахту!

Послышались грозные голоса:—Проклятый штрейкбрехер! Предатель! Подлая собака!

Бледный, с трясущимися руками, стоял несчастный перед ними и, заикаясь, бормотал:—Товарищи, я не предатель... Но я не могу больше смотреть, как она страдает, не могу слышать ее стонов... Я... и голос его прервался.

Руководитель забастовки подошел к нему, отвел его в угол и заговорил с ним спокойно и мягко: он не должен этого делать, потому что некоторые товарищи уже колеблются, и он может подать им дурной пример. Еще не пропала надежда, что забастовка приведет к желаемым результатам но никто не должен быть предателем и перебежчиком.



Адам Крюгер не сделался штрейкбрехером...

Несчастный опустил голову:—Я не хочу вам вредить, ни за что на свете. И я верю в успех нашего дела, но... я человек... она всю ночь кричала от боли... пустите меня.

— Мы не можем этого сделать. Если ты спустишься в шахту, то мы будем считать тебя предателем и штрейкбрехером.

Адам Крюгер ушел из собрания, поспешил домой и в немом отчаянии сел у изголовья кровати, на которой лежала слабо стонущая, бледная женщина.

Вечером в комнату Крюгера проскользнул горбун:—Завтра ты спустишься, Адам?—Он вынул из кармана пригоршню денег и бросил их на стол.—Вот задаток.

Адам Крюгер молча, безумными глазами смотрел на деньги.

Женщина заплакала.

— Завтра же поступи в христианский союз, а то твои милые товарищи забьют тебя до смерти, если у тебя не будет защиты.

Адам Крюгер вспыхнул:—Итти к этим собакам?

Горбун захохотал:—Не важничай, мой друг, ведь, ты делаешь то же, что и они. Ты ведь тоже штрейкбрехер. Но, если ты не хочешь... и его костлявая рука потянулась за деньгами.

Железные пальцы Крюгера схватили эту руку.

— Пусть лежат! Я завтра спущусь в шахту первым.

— Значит, ты образумился? Вот и отлично.

И писец, ухмыляясь, удалился.

Кто может сказать, что творилось в продолжение этой бесконечной ночи в душе Адама Крюгера, какие муки и сомнения терзали его? Когда ночной сторож собирался зажечь большой газовый фонарь перед входом в шахту, он увидел на старом орешнике висящее тело. Оно уже почти окоченело, и посиневшее, искаженное лицо было угрожающе обращено ко входу в шахты.

Адам Крюгер не сделался штрейкбрехером.

* * *

Жена Венцеля Прихода, жирная Анулька, обладала добрым сердцем. Хотя она считала забастовщиков несча-

стными людьми, введенными дьяволом в заблуждение, все же она приходила ежедневно к жене Адама Крюгера, ухаживала за больной и мыла ребятишек. Она как раз находилась в конурке Крюгера, когда туда был перенесен труп Адама, и когда через два часа после этого пришел горбун, чтобы потребовать обратно данный им накануне задаток, его приняла Анулька.

Чешка довольно долго не могла понять, в чем тут дело. Но когда она, наконец, усвоила себе цель прихода горбуна, она, как фурия, набросилась на него.

— Дрянь! Подлая собака! Здесь лежит несчастный покойник, жена и дети плачут, а ты приходишь за деньгами! Ничего я тебе не дам, нам самим деньги нужны. Вон, подлая тварь!

Горбун настаивал на своем требовании, кричал, ругался, угрожал полицией. Краснощекое лицо толстой Анульки принимало угрожающий вид. Горбун прижался в угол, а толстуха, подбоченившись, встала перед ним и принялась ругаться на своем родном языке. Хотя горбатый писарь ровно ничего не понимал, но он инстинктивно чувствовал, что необходимо спастись бегством. Он сделал еще одну слабую попытку:

— Если ты не отдашь денег, то хозяин посадит тебя в тюрьму.

Ярость Анульки дошла до таких пределов, что ни одно чешское или немецкое слово уже не могло вырваться из ее сдавленного горла. Но гнев отнюдь не сделал ее беспомощной: ее мясистая красная рука тяжело опустилась на щеку горбуна, затем она схватила его за шиворот и потащила к дверям.

— Дрянь, грязная свинья! Если ты еще сунешься сюда, то Анулька так тебя вздует, что целую неделю не сможешь сесть!

Она подняла громадную ногу, обутую в деревянный башмак, и маленький горбатый писарь стремглав вылетел за дверь.

Еще дважды подкрадывался он к хижине Крюгера, но у окошка оба раза показывалась грозная фигура Анульки с поднятым увесистым кулаком, и он быстро удалялся.

Вечером Анулька рассказала обо всем происшедшем своему мужу. Добродушный великан был так же возмущен,

как и его жена, и они вместе ругали писаря, хозяев и все управление. И все же Прихода несказанно удивился, когда Анулька решительно заявила ему:—Ты завтра не пойдешь на работу, Венцель.

— Как? Что! Ты с ума сошла?

— Ты не будешь больше работать для этих собак.

— Но патер сказал...

— Патер тоже собака.

— Анулька!—с ужасом воскликнул муж.

Анулька широко перекрестилась. „Прости мне, боже, прости, божья матерь, помолись за меня, но я все же скажу: патер тоже собака! Я сегодня побежала к нему, просила его помочь бедной женщине, а он сказал, что она должна вернуть деньги. Чем же она и дети будут жить? Неужели нам всем околевать, потому что богатым нужно много денег? Ты должен забастовать Венцель, должен присоединиться к товарищам.“

Венцель почесал за ухом; он знал по опыту, что Анулька всегда добивается своего; она была много умнее его, и до сих пор ее советы всегда приносили ему пользу. Но на этот раз требование жены огорчило его: нельзя было пренебрегать двойной заработной платой.

— Ведь забастовщики—социалисты, поучительно заявил он,—а патер сказал, что все социалисты попадут в ад.

Но и эта угроза не помогла. В ленивом мозгу Анульки редко зарождались мысли, но раз зародившись, прочно внедрялись.

— В ад попадут богатые,—заговорила Анулька,—и злые люди. Забастовщики не дурные люди, может быть, они бедные глупцы, этого я не знаю. Но я знаю, что люди, поступающие, как этот горбун, как надсмотрщик, как шахтовладелец—скоты, а не люди. Ты глуп, Венцель, и ничего не понимаешь, а я посещала школу в Хорни-Лота, и я тебе говорю, что завтра ты не будешь работать, иначе тебе придется иметь дело со мной!

Тщетно Венцель пытался переубедить свою жену,—она твердо стояла на своем. Глубоко вздыхая, он согласился на ее требования и даже пообещал просидеть следующий день у вдовы Адама Крюгера, чтобы помешать горбуну отобрать

у нее деньги, так как у Анульки была стирка, и потому она должна была оставаться дома.

Отходя ко сну, Анулька, как истая католичка, всегда перебирала четки. Посредине молитвы она остановилась и толкнула в бок уже засыпавшего Венцеля.

— Венцель!

— Чего тебе? —заворчал он спросонья,—оставь меня в покое, Анулька.

— Адам Крюгер умер за свою веру, как святой мученик. Я думаю, что вера-то у него была хорошая.

На следующее утро Венцель Приходa отлично выспался; Анулька отправилась к шахте и торжественно об'явила, что ее муж присоединился к бастующим.

Она отыскала патера и сообщила ему, что Прихода выходит из христианского союза и делается социалистом. На возмущенные упреки попа, она только пожимала плечами, а затем, проворчав про себя: „дрянь!“ удалилась, не простившись с патером.

ГЛАВА XII.

Подгоняемый толстой Анулькой, Венцель Прихода быстро освоился со своею новой ролью. В продолжение одной только недели ему удалось перетянуть на свою сторону двенадцать чехов из пятидесяти, прибывших из Богемии.

Андрей Мерц усмотрел в этом новое чудо. Очевидно, новому веянию не могли противостоять даже самые темные, самые непросвещенные люди. Андрею Мерц наяву грезился светлый мир будущего, в котором права принадлежали трудящимся, только трудящимся. Если раньше безнадежный мрак застилал его умственный взор и делал его неспособным видеть истину, то теперь его ослеплял сверкающий свет новых видений и мешал ему трезво относиться к действительности. Когда руководители забастовки с отчаянием в сердце должны были пойти на уступки, в виду ужасающей нищеты, голода и пустоты стачечной кассы, и забастовка была прервана, Андрей ни как немог примириться с этим: „Ведь, за ними было право,—как же они могли потерпеть поражение?“.

Среди углекопов был еще один, кроме Андрея Мерц, который не мог осознать чудовищности переживаемого времени. Это был молчаливый, седовласый рабочий, уже много лет тянувший лямку в шахте. У Матвея Крамера не было ни жены, ни детей, он ни с кем не дружил, не пил, не играл и в свободное время сидел в своем углу с бессильно опущенными руками и размышлял. О чем он думал? Вряд ли это были веселые мысли, ибо лицо у него было задумчивое и словно испуганное. Казалось, что в его опущенных глазах стоит гневный вопрос. Когда оба агитатора прибыли в угольный район, Крамер точно проснулся от глубокого сна. В его одеревеневшие члены словно влилась новая жизнь, его мерт-

венно бледное лицо просияло; жадными глазами пожирал он обоих пришельцев из нового мира. Хотя он все еще говорил очень мало, точно разучившись говорить за долгие годы тяжкого труда и молчания, но ему не нужно было слов, чтобы выразить, насколько его душа была полна новым учением, и как страстно он ждал избавления.

В одно сырое, мрачное утро было решено прервать забастовку. И тогда Матвей Крамер вскочил с своего места. Его глаза безумно озирали окружающее, он открыл рот и хриплым голосом пытался произнести какие-то слова. Наконец, голос послушался его, и он горячо заговорил, обращаясь к товарищам:

— Вы не сделаете этого, вы не посмеете этого сделать! Это звучало, как крик ужаса; задыхаясь и дрожа, он продолжал:—Если вы это сделаете, все пойдет прахом, тогда, ведь, победят наши хозяева, тогда нам придется признать, что для нас нет спасения, что наша борьба напрасна!".

— У нас будут и победоносные забастовки, тихо произнесла Марта Туссек.

Он бессмысленно взглянул на нее и крикнул:—Нет, нет, если вы это сделаете, все пропало!—Его голос упал до шопота:—Опять придут дни, похожие на ночи. Все черно, нигде не видно света. Мы останемся зверьми, закованными в цепи, скотом, с которым расправляются плетью. Я не хочу больше быть скотом, хочу быть человеком, человеком!.. К нам пришел свет, к нам пришла благая весть. Все это ложь, обман... для рабочих нет избавления... Ночь! Вечная ночь! Его грудь высоко вздымалась. Неясные звуки вырывались из его горла. Наконец, он гордо выпрямился и с бесконечным отчаянием крикнул:—Начинайте работу, предатели, мне с вами не по пути!—Дико озираясь, он выбежал из комнаты.

Марта Туссек обменялась несколькими словами с руководителем стачки и выбежала вслед за Матвеем Крамером. Она не нашла его дома. Неясный страх, неопределенное предчувствие погнало ее ко входу в шахту. В сторожке мирно храпел сторож. Марта безшумно прокралась мимо него и подошла к подъемной корзине. Там стоял Крамер, одной рукой ухватившись за канат и держа в другой блестящий нож. Свет маленькой лампы падал на его лицо. Так вот, что он собирался сделать? Девушка громко вскрикнула,



Девушка громко вскрикнула...



Крамер обернулся и уставился на нее бессмысленными глазами. Сторож прибежал на крик. Крамер отскочил с безумным смехом:—Все пошло прахом! Я не человек, я скот, но ведь и скотина умирает только один раз!

Сторож бросился на него.

— Вы хотите меня поймать, надеть на меня старое „ярмо“? Матвей Крамер поднял руку, и у его горла блеснуло острие ножа.

Кровь брызнула фонтаном из широкой раны. Хрипя и обливаясь кровью, Матвей упал около корзины, и в его умирающих глазах застывал гневный вопрос.

Через день после этого события углекопы вышли на работу. Андрей не участвовал в смене; он стоял у входа в шахту и смотрел на приближающихся рабочих. Ему мерещилось, что на руках и ногах его товарищей бряцали невидимые цепи, и что колоссальный кнут подгонял их. На всех лицах лежала тупая, безнадежная покорность.

Андрей сжал кулаки и едва сдерживался от душивших его потоков горючих слез. Так вот что случается с рабочим людом, когда он мечтает о свободе! Неужели новый мир, о котором он так мечтал, не что иное, как обманчивый мираж? Кто родился в нищете, в нищете и умрет. Из оков нужды нет выхода! Кто дал другим такую власть?

Несказанная горечь овладела им; он ненавидел Марту Туссек, ненавидел Павла Леэр и его друга, обманувших его и его товарищей ложными надеждами. С отчаянием и ужасом вглядывался он в окружавшую его мглу. Спасения нет, ни здесь, ни где бы то ни было. Ведь писала же мать из Америки, что они живут в большой нужде, что работа там еще тяжелее, чем здесь, и что ему следует оставаться на месте. Нужда и труд в Старом Свете, нужда и труд в Новом Свете. Где же рабочий может чувствовать себя человеком?.. Раздался резкий визг сирены и ему почудилось, что он слышит ответ: „Нигде! Нигде!“.

ГЛАВА XIII.

Первое большое поражение! Сознание это навалилось свинцовой тяжестью на всех шахтеров. Еще безнадежнее казалась им их тяжелая жизнь, еще чернее казался мрак шахты. Правда, некоторые из них еще не потеряли мужества и мечтали о новой борьбе, исход которой принес бы победу. Но большинство находилось в удрученном состоянии и в своем поражении видело наглядное доказательство невозможности своего раскрепощения. С тупой покорностью они снова взвалили на себя ярмо своей прежней жизни, спускались на рассвете в шахту, работали в потемках, в свободные часы пьянствовали в шинке и засыпали мертвым сном, чтобы на утро снова приняться за нерадостную, изнурительную работу.

В течение нескольких дней Андрей ходил, словно пораженный громом. Он все еще не мог переварить случившееся. На его глазах свершилось чудо: тупой рабочий скот восстал, в сердцах этих несчастных существ и в их глазах зажегся новый огонь, они протянули друг другу руки, почувствовали спайку и в этом почерпнули силу для борьбы.

Старый мир, покоящийся на плечах рабов, пошатнулся, и достаточно было сильного толчка, чтобы низвергнуть его. На его развалинах трудящиеся должны были построить новый мир. В угольном районе произошло сверхестественное неземное превращение, мрак и ночь превратились в сияющие, ослепительные лучи. Проносились дни, наполненные надеждой и ожиданием; казалось, что вся окружающая жизнь находится в чаянии неизведанного счастья.

А затем... Проникли враги, маленькие, уродливые грызуны: голод и холод, плачущие дети, стонущие жены, пре-

дательство собственных братьев. А затем угрожающе поднялась власть других, вооруженных собственной силой и слабостью рабочих. Заколебавшийся было мир опять прочно встал на свои устои. Кругом чудился язвительный смех господ: „Вы теперь убедились в могуществе нашей власти?“

Глухая злоба заполняла сердце Андрея Мерца. Молчаливо и ворчливо сторонился он своих товарищей и целыми днями и ночами думал, думал... Если ему навстречу попадался кто-нибудь из членов христианского союза, рука его сжималась в кулак, ему нужно было делать над собой усилие, чтобы не пустить этого кулака в ход.

На письма Павла Леэра он перестал отвечать; ему казалось, что он ненавидит своего друга, отравившего их всех своими словами и обещаниями. Лучше было бы остаться неспособными к мышлению и продолжать жить в сознании, что все идет так, как должно итти, чем узреть издали жизнь и счастье, протянуть к ним руки и снова очутиться во мраке ночи.

Каким дураком он был! Очевидно, никогда не настанет день, когда рабочий сможет насладиться плодами своего труда. Плеть неизменно будет плясать на его спине, и всегда тунеядец будет его господином. Как прав был горбатый писарь! И Андрей Мерц почувствовал сильную симпатию к этому человеку, почувствовал желание пойти к нему и услышать из искривленных уст горбуна насмешку и издевательства над тем, чему он, Андрей, еще так недавно молился.

В один из праздничных вечеров, проходя по деревне, он увидел горбуна, сидящего на скамеечке перед своей хижиной с маленькой девочкой на коленях. Андрей подошел к нему, остановился и нерешительно пробормотал: „Добрый вечер!“.

Когда он взглянул на горбуна, то его охватило изумление. Неужели мягкий свет весеннего вечера, нежный зеленоватый отблеск молодых лип так изменили черты горбуна? Злобная улыбка исчезла, и на всем лице лежало выражение ясного спокойствия. Горбун немного подвинулся и предложил Андрею сесть рядом с собою.

Андрей сел и долго молчал, не зная, с чего начать разговор. Ему хотелось заставить горбуна заговорить о неудавшейся забастовке, ему хотелось слушать насмешки и глумления над своими несбывшимися снами. Ему казалось,

что это облегчит его душевную тяжесть. Видя, что горбун молчит, он сказал раздраженным тоном: „А забастовка-то провалилась".

— Нет.

— А ведь вы были правы, уговаривая рабочих спуститься в шахту.

— Да, я был прав.

Тон, которым были произнесены эти слова, поразил Андрея.

— Вы ведь радовались началу работ?—спросил Андрей.

— Нет.

Андрей с изумлением посмотрел на горбуна.

— Но ведь вы старались... Вы, ведь...

— Нужно чем-нибудь жить. Горбун пожал плечами.—И все-таки я был бы рад, если бы вы прикончили со всеми господами.

Андрей не верил своим ушам.

— Да, ведь, вы всегда были на стороне хозяев.

Маленькие глазки горбуна пытливо огляделись вокруг и в них заблистал странный огонек. Заговорил вполголоса:

— Разве вол стоит на стороне крестьянина, подгоняющего его кнутом? Но пока кнут находится в руках у крестьянина, вол должен работать. Нужно чем-нибудь жить.

Затем он заговорил поспешно, точно подгоняемый каким-то невысказанным внутренним чувством:—Как я могу стоять на стороне господ? Мне 45 лет, и за все это время я ни разу не был по-настоящему сыт. Мне было 14 лет, когда я поступил писцом в канцелярию. Писал по 10 часов в день, брал работу на дом, чтобы заработать лишний грош. Мне хотелось учиться.—Он горько засмеялся.—Да сын странствующего разносчика имел наглость стремиться к науке. Он постучал костлявым пальцем по своему высокому, выпуклому лбу.—Там,—говорил я себе,—находится нечто, чего не хватает богатым, и это поможет мне завоевать весь мир.—Злобный смех потряс все его тщедушное тело.—Отец умер, осталась мать с тремя ребятишками. Я должен был зарабатывать, чтобы помогать матери. Когда малыши были пристроены, я уже состарился для учения. Сын купца, в конторе которого я работал, глуповатый парень, пустоголовый, самомнящий, поступил в университет, а я должен был



Эта крошка увидит новый мир, если до тех пор не подохнет...

заниматься писарским делом. Господа украли у меня всю жизнь, а вы воображаете, что я стою на их стороне?

— Но ведь вы уговаривали нас начать работу...

— Семеро детей, восьмой на пути, и сын странствующего разносчика,—однотонно ответил горбун, словно читая литанию. Затем, оживившись немного, прибавил: — А может быть в этом было и что нибудь другое.— Задумчиво смотрел перед собой.—Да, это была зависть! Я вас ненавидел, потому что вы нашли в себе мужество и силу бороться за свое право. Я работал всю жизнь и молчал, переносил все несправедливости и издевательства, чтобы не потерять места. И вот приходите вы, ничего не знающие о свете, кроме ваших угольных ям и кабака, необразованные невежды, и принимаетесь орать: рабочий тоже человек, рабочий требует своих прав. Я 30 лет подряд разжевывал эту мысль и душил ее в себе: писец тоже человек, писец требует своих прав. Эта мысль была горька, она отравила мне всю кровь. Я сделался злым и недоброжелательным человеком, я... Он остановился, покачал ребенка, сидящего у него на коленях и пробормотал про себя: „зависть, да, зависть“...

— Неужели вы думаете, что всегда будет то же самое, что и сегодня? спросил Андрей Мерц.

Горбун покачал головой.—Думаю, что не всегда.

— Но ведь вы тогда говорили...

— Тогда я должен был это говорить. Но, когда я увидел, что вы можете дружно держаться, что вы предпочитаете смерть предательству, я поверил в возможность нового мира.—Он ласково провел рукой по головке ребенка.—Эта крошка увидит новый мир, если до тех пор не подохнет с голоду.

Андрей молчал. В сердце его опять проснулась надежда, которую он, казалось, уже схоронил.

Горбун робко взглянул на него и проговорил печальным голосом: — Пожалуйста, не говорите никому, о чем я с вами говорил. Меня могут уволить с места.

Заметив удивленный взгляд Андрея, он насмешливо прибавил:—Да, да, трусость. Наша трусость – хорошее оружие для наших врагов. Но что же делать? Нужно чем-нибудь жить.

ГЛАВА XIV.

„Нужно чем-нибудь жить". Эти слова преследовали Андрея, впивались в его мозг, звучали в его ушах и принимали самые разнообразные значения. Разве в этих словах не заключался неумолимый, железный закон, предающий три четверти населения всего света во власть остальной четверти? Нужно чем нибудь жить... Потребность в пище, одежде, жилище загоняла рабочих и работниц на фабрики, в мастерские, в шахты. Борьба за существование—чудовище, поглощающее все,—молодость, силу, мужество, мысли и лучшие стремления...

Странные мысли приходили в голову Андрея, пока руки его работали над добычею угля. Если бы явился человек, готовый отшвырнуть от себя жизнь, как нечто ненужное,—разве этот человек не был бы непобедим? Если бы у него нашлись сторонники, неужели они не могли бы победить весь мир?

Почему эта борьба за существование, эта жажда жизни является железным насилием? Почему во имя ее люди все выносят: голод, холод, лишения и несправедливость? Что представляет из себя эта жизнь, за которую так цепляется пролетарий?

Мрачные тени окружали Андрея, их черные облики как будто рождались из окружающего его черного угля: старый Петр Леэр, сгорбленный, с незрячими глазами, протягивающий беспомощные руки, словно ощупывая окружающие его предметы; мать, рано состарившаяся, с бледным жестоким лицом и безнадежным взглядом, и еще один образ из давно забытых детских воспоминаний: старуха со сведенными подагрой руками—Мария Рот. Приходили все новые и новые

образы, плоскогрудые, изнуренные женщины, мрачные, опустившиеся до звериного уровня мужчины, глухо кашляющие, изможденные от непосильного труда. Черные дни поглощают в своей пасти несчастных людей, серой дымкой безнадежности окутан каждый час их жизни. Неужели в самом деле надо жить?

И перед ним встал ясный облик девушки, которую он недавно видел,—дочери владельца шахт. Розовые щечки, блестящие глаза, легкие ткани, облегающие стройную фигуру. Девушка подбирает платье, чтобы не запачкаться в угольной пыли, смеется, болтает, каждый ее взгляд, каждый жест говорят: „весь мир принадлежит мне!" Эта девушка тоже живет; странно, что для двух таких различных понятий, как жизнь Андрея Мерц и жизнь этой прекрасной девушки, существует одно и то же наименование—жизнь. Понятно, что люди, подобные дочери хозяина, высоко ценят жизнь, состоящую из красоты, удобств и счастья.

Сверху упал кусок угля; Андрей бессмысленно уставился на него. В голове его мелкнула мысль: чтобы ее жизнь была ясной, моя жизнь должна быть мрачной, из моей ночи сияет ее день, на моей могиле строится ее дворец. Ему почудилось, что на его месте находится человек, попавший в руки разбойников. Он наг и нищ, потому что у него все отняли: молодость, силу, счастье. Лицо его исказилось от гнева. Для чего даны ему две руки, если он не обороняется от разбойников, зачем ему дана голова, если он не в состоянии разрушить их ухищрений? Если бы в этот момент перед ним предстала прекрасная дочь хозяина, или ее брат, знатный, молодой человек, даже не отвечающий на поклоны рабочих, он сорвал бы с них платье до последней нитки,—вы у меня украли это платье! Он сломал бы тонкие белые пальчики девушки,—взгляни на мои руки, работающие для того, чтобы ты могла иметь в руках все счастье мира! Он выколол бы им глаза,—вы украли у меня возможность видеть красоту, чтобы самим пользоваться этим счастьем!

У него кружилась голова. Странный, сладковатый запах проникал в его горло, в глазах крутились огненные колеса. Ему казалось, что он вырос, что его голова доходит до верхнего слоя шахты. Острая боль сверлит его мозг. Что с ним? Кто он? Андрей Мерц, ограбленный, эксплоатируемый,

несчастный рабочий? Нет, в нем живут все стремления замученных людей, вся ненависть тех, кто должен страдать от окружающей несправедливости, в нем живет вся сила пробуждающихся рабов. Он поднял руки; он раздавит этот мир несправедливости вместе со всеми господами, он...

Его руки бессильно опускаются; желтые и красные, огненные колеса вплотную приблизились к нему, окружили его. Со стоном, хватая воздух запекшимися губами, он тяжело грохнулся на земь.

Странный запах привлек нескольких шахтеров. Они нашли Андрея без сознания.—Газ,—коротко сказал один из мужчин, когда Андрея подняли,—мы пришли как раз во время.

Они вынесли его на воздух, влили сквозь стиснутые зубы немного воды. Когда он открыл глаза и краска опять вернулась на его мертвенно бледные щеки, он запинаясь проговорил:—Вы неправильно выговариваете это выражение, следует говорить:—нужно жить, а не—нужно жить.

* * *

Толстый доктор спрятал стетоскоп в карман и обратился к Марте Туссек:—Вам нужно уехать отсюда, вы должны жить на свежем воздухе, угольная пыль—яд для ваших больных легких,—и продолжая обычную врачебную фразеологию, применяемую врачами у постели богатых больных, прибавил,—хорошее питание, никакого утомления...

Девушка горько рассмеялась.—Уж не хотите ли вы послать меня на юг, господин доктор?

Автомат в голове врача прохрипел:—Конечно, конечно, юг был бы вам очень полезен, где-нибудь на берегу Средиземного моря... он взглянул на больную и, точно сообразив, кто перед ним стоит, закончил:—Ну, я думаю и так все пройдет.

— Вы думаете?

Толстяк замялся.—Если вы будете беречься... хорошо питаться... не будете надрываться над работой...

— А чем же мы будем жить? Заработка отца не хватит на нас двоих.

Врач пожал плечами.—Жаль, очень жаль. Вы еще так молоды...

— Да, я еще молода, передо мною долгая жизнь, может быть, прекрасные, счастливые годы. Но потому что я бедна, я их никогда не увижу, и умереть-то я должна только потому, что я бедна.

Врач неодобрительно покачал головой.—Не говорите так. Это все очень прискорбно, но нужно покориться воле провидения.

— А с вашими богатыми пациентками, вы так же говорите, господин доктор?

— Если имеются необходимые средства... Путешествие... здоровая окружающая обстановка... но, милое дитя мое, мы не должны роптать на провидение и на божью волю.

— Божья воля! Разве бог обещал мою жизнь кому-нибудь другому, у кого случайно нашлись богатые родители? Я должна умереть, чтобы жили другие, чужие мне люди, которых я совсем не знаю. Какое богу дело до всего этого? Разве бог—эксплоататор, враг бедных, раб богатых, определяющий свои решения в зависимости от размеров кошелька, разве бога можно подкупить банковским чеком?

— Успокойтесь, при вашем состоянии здоровья каждое волнение вредно и может вызвать новое кровоизлияние.

Толстый врач беспокойно заерзал на месте.—Приходите через месяц на осмотр. Я должен принять других пациентов.

Горькое отчаяние охватило девушку; ее губы дрожали, жаркие слезы горели в глазах.

— Господин доктор, помогите мне, я не хочу умирать! Жизнь прекрасна даже для нищих, солнце светит, все цветет. Неужели я не увижу лета? Помогите мне!

Лицо врача смягчилось: он любил, когда маленькие, беспомощные, умоляющие люди признавали его могущество. Задумался на минуту.

— Я бы посоветовал вам обратиться к хозяину. Это благородный человек, весьма доброжелательный; на всех подписных листах за его именем следуют крупные суммы пожертвованных им денег. Быть может, он устроит вам поездку куда-нибудь в деревню. Но,—он наморщил лоб,—как ваша фамилия?

— Марта Туссек.

— Туссек, Туссек... Вы были в стачечном комитете?

— Да.

— Жаль, очень жаль. Тогда, конечно, хозяин ничего для вас не сделает. Вы сами видите, милое дитя мое, как нехорошо восставать против властей и господ, против порядка, установленного самим богом.

— Разве это так несправедливо, —восставать против мирового порядка, во имя которого люди умирают только потому, что они бедны?

— Все еще угрозы! —Маленькие глаза врача гневно засверкали. — Этот угрожающий тон придется оставить. Болезнь делает людей кроткими и смиренными. Так приходите же через 4 недели.

Выйдя на улицу, Марта Туссек остановилась и блуждающими глазами оглянулась вокруг. Смертный приговор... Ее взгляд упал на большую яблоню, на которой уже начали краснеть плоды. Как это было прекрасно, как был красив каждый отдельный листик этого дерева. Она подставила свое лицо ласке солнечных лучей и протянула им навстречу свои холодные исхудалые руки. Жить! Смертельный страх овладел ею. Ах, только бы не умереть, только бы продолжать существовать. Но ведь это невозможно. Она чувствует еще себя, чувствует свое тело, чувствует биение крови в своих жилах, ее голова еще думает—и все это должно перестать существовать? Ее положат в сырую могилу на кладбище, бесчувственную, застывшую! Почему? Ее могли бы спасти деньги, всего какая-нибудь тысяча марок. Она замечталась: длинные дни без всякой работы, где-нибудь на лоне природы, кругом чудный свежий воздух, молоко, яйца, свежая здоровая пища,— все это возвращает ей утраченные силы...

Марта громко засмеялась,—ведь еще нет денег на уплату за квартиру, а это значит, что нужно опять сесть за швейную машину. Каждый лишний стежок, каждый шов будет съедать кусочек ее жизни. Смертный приговор. Ее бедность приговорила ее к смерти. А может быть это сделало богатство других?

Это было мучительное умирание. Юное тело боролось, молодой жаждущий жизни дух возмущался против неизбежности. Марта Туссек цеплялась за каждое мгновение жизни, дрожала при звуке стенных часов: ей оставалось жить часом меньше. Даже когда ноги уже отказывались держать ее, она

не хотела лежать в постели, с трудом добиралась до большого кресла у окна.

Андрей Мерц проводил у нее все свое свободное время.

— Ты такой теплый, ты живешь,—говорила Марта,—не уходи, ты придаешь мне силы.

Со щемящей болью в сердце и с горящими гневом глазами, Андрей Мерц наблюдал за медленным умиранием своей подруги. Когда она жаловалась на жестокую несправедливость мира, в котором жизнь отдельных людей, если они бедны, не имеет никакой цены, Андрей сжимал кулаки и в нем пробуждалось желание схватить кого-нибудь за горло. Иногда они долго сидели молча, затем Марта Туссек слабым голосом начинала говорит о новом мире, которого она уже не увидит. Все стремления, все неосуществившиеся мечты умирающей сливались в видении этого нового прекрасного мира. И когда Андрей прислушивался к ее словам, то в сердце его опять пробуждалась старая вера: да, новый мир придет, это будет мир рабочих, мир, в котором будут царить справедливость и счастье, но мы не можем его создать с такою же легкостью, с какою библейский бог сотворил мир двумя словами: „Да будет!“ Перед нами лежат еще годы борьбы, тяжелых кровопролитных схваток. Хватит ли у нас силы выдержать, хватит или у меня сил?

Лихорадочные, озаренные фанатическим светом, глаза больной и ее хриплый голос отвечали на эти немые вопросы Андрея:—Да, да. Мы видели только начало, Андрей, мы видели чудо, когда наша мысль проснулась. Взгляни на наших шахтеров. Правда, они еще недостаточно сознательны, они утомлены и потому избегают борьбы. Но они уже не так слепо повинуются судьбе.—Она глубоко вдыхала в себя воздух, затем голос ее продолжал страстно звенеть:—О, эта ужасная покорность! Будь у меня силы, я пошла бы к каждому отдельному рабочему, чтобы встряхнуть его, чтобы крикнуть ему: ты не должен быть таким! Ты не должен работать, как вьючное животное, в то время как другие пользуются плодами твоей работы. Твоя беременная жена не должна работать на фабрике или в руднике, во вред себе и своему будущему ребенку. Твои дети не должны голодать и мерзнуть и преждевременно запрягаться в работу!

Ее голос прервался, крупные слезы покатились по исхудалым щекам, и она закончила, задыхаясь от рыданий:—Мы не должны умирать молодыми только потому, что у нас нет средств на лечение.

Толстая Анулька часто приходила навещать больную и приносила с собой всякой всячины: яиц, сала, даже как-то притащила бутылочку освященной воды.—Натри себе грудь— попросила она,—и помолись матери божьей. Может быть, она тебе поможет. Она, ведь, сама была бедна и должна знать, как тяжело живется бедному люду.

Но так как и святая вода не помогла, и Марта Туссек угасала с каждым днем, добродушная чешка глубоко скорбела. Однажды, она отвела Андрея в сторону и шопотом спросила его:

— Неужели она должна умереть? Неужели нет средства, чтобы помочь ей? Мой Венцель зарабатывает достаточно, да и у меня от покойного отца осталось немного денег, я купила бы ей лекарства.—Андрей отрицательно покачал головой.— Нет, Анулька, для нее уже нет лекарства. Наступает зима, и холод убьет ее, — прибавил с горечью в голосе, — да, если бы она была богата и могла бы уехать на юг...

Толстая Анулька погрузилась в глубокое размышление; она морщила лоб и потирала свои большие красные руки. Видно было, как она ломала свой бедный неповоротливый ум. Вдруг улыбка осветила все ее добродушное широкое лицо.—Слава Иисусу, Марии и Иосифу! Я знаю, что нужно сделать.

На следующий день она нарядилась в свое праздничное платье, взяла корзинку со свежими яйцами, полученными ею из дома, и направилась к хозяйскому дому. Ей долго пришлось упрашивать слугу, чтобы он допустил ее в рабочий кабинет хозяина.

Анулька сделала подобающий книксен и вежливо обратилась к хозяину:—Милый, добрый барин, я принесла вам прекрасных свежих яичек из Богемии.—Изумленный хозяин взял корзинку, дал чешке пять марок и поклонился ей в знак того, что аудиенция окончилась. Но Анулька не уходила.—Здоровы ли ваши милые детки?—вежливо опросила она.

— Да, спасибо.

Хозяин с нескрываемым изумлением смотрел на толстуху; он отлично знал, что рабочие его не любят и потому



Хозяин с нескрываемым удивлением смотрел на толстуху.

никак не мог себе объяснить этого внезапного интереса к его детям.

— Вы вероятно любите своих детей, добрый барин?

— Да.—Что нужно было этой толстухе?

— И если бы они были больны, от чего избави вас бог и его святые, вы, вероятно, были бы очень огорчены?

— Да.

— Так жаль, когда умирают молодые люди.

— Да, да. Но что вам нужно, милая женщина? Я, правда, очень занят...

Толстая Анулька расставила ноги и прислонилась широкой спиной к дверям. Вся ее фигура говорила: „Я останусь здесь, пока не скажу всего“. Затем она рассказала всю горькую историю жизни и болезни Марты Туссек и закончила словами: „Вы богаты, добрый барин, вы можете послать несчастную девушку туда, где и зимою сияет солнце; бог заплатит за это вам, вашим детям и внукам“.

Лицо хозяина омрачилось. Резко и нетерпеливо он объяснил женщине, что ему нет никакого дела до девушки, что она никогда не работала в его копях и что он не может помогать всем посторонним людям; кроме того, она была одной из руководительниц стачки, а потому Анулька может уходить, ибо у него нет времени для дальнейших разговоров с нею.

Анулька подбоченилась, ее широкое лицо густо покраснело; она в упор взглянула на хозяина и, повышая голос, крикнула ему в лицо:—Понимаете ли вы, что человек умирает, потому что у него нет денег на лечение? У вас-же денег больше, чем вам нужно, и вы не хотите ей помочь!..

Хозяин нетерпеливо пожал плечами.

— Я вам уже сказал, что мне до этого нет никакого дела.

Лицо Анульки исказилось.

— Да, Каин то же самое ответил богу, когда тот спросил его об Авеле.—Ее голос задрожал.—Милый, добрый барин, прошу вас...

— Не трудитесь говорить. Ступайте!

Толстая чешка расплакалась.—Я никогда не хотела верить, когда мне говорили, что все богатые люди злы, я всегда думала, что вы просто не знаете, как живется беднякам, что вы зарылись в свое золото, и оно является стеною между

вами и другими людьми. Но оказывается это правда, вы не только злы, вы просто звери, убийцы.

Хозяин вскочил.

— Если вы сейчас не уберетесь, дерзкая баба, то я велю вас вышвырнуть вон.

— Ухожу, ухожу.

Она отерла слезы. В дверях остановилась, заговорила торжественно, с достоинством:

— То, что вы сделали для этой бедной девушки, будет когда-нибудь сделано вашим детям. Господь бог и его святые накажут вас за ваше жестокое сердце: когда вы будете к ним обращаться с молитвой, они не захотят услышать ее. И когда вы умрете, и ваша душа будет гореть на вечном огне, никто за вас не прочитает молитвы богородице. А Анулька будет отныне каждый день просить Христа и благословенную матерь его, чтобы они наказали злого, богатого человека, более жестокого, чем убийцы!

* * *

В декабре, в туманный холодный день Марта Туссек закончила свой земной путь. Андрей работал в смене. Анулька за полчаса до этого ушла домой; старый кузнец валялся пьяный в своем углу и что-то бормотал себе под нос.

Марта почувствовала, что горло ее сжимается. Она закашлялась удушливым, тяжелым кашлем; что-то горячее, клейкое потекло изо рта, белье окрасилось в ярко-красный цвет: кровь.

— Отец! Отец!

Старый кузнец поднял голову. „Оставь меня в покое, даже в праздники не дадут отдохнуть.“ Он наполнил свой пустой стакан, выпил его залпом и довольным голосом пробормотал:

— Что хорошо, то хорошо. Хочешь пить, Марта?

Девушка тихо стонала. Кровь все еще текла изо рта, и ее объял безумный страх смерти. Холодный пот выступил на лбу, руки липли от крови и мокроты. Казалось, весь свет состоит из крови и мокроты.

— Я задыхаюсь!

Неужели никто не придет к ней на помощь, неужели она одна во всем мире? У нее потемнело в глазах.

— Отец!

— Да, да. Не мешай мне! Я сейчас дам тебе напиться.

Она хрипела. Все ее тело содрагалось. Обеими руками она хватала окружающий воздух. Упала навзничь. Из ее горла вырывались полузаглушенные звуки. Потом все смолкло, и в хижине воцарилась мертвая тишина.

Старый кузнец налил себе новый стакан водки и пьяным голосом бормотал: „Что хорошо, то хорошо“.

Он залпом опорожнил стакан, и скоро в комнате раздался его пьяный храп.

ГЛАВА XV.

Смерть Марты Туссек произвела глубокое впечатление на Андрея Мерц. Он долго не мог забыть картины, представившейся его глазам, когда он на рассвете вернулся со смены и зашел в хижину кузнеца. Безжалостный холодный свет раннего утра наполнял тесную смрадную лачужку. В углу храпел пьяный кузнец. Марта Туссек лежала на кровати с искаженным восковым лицом. Подбородок глубоко опустился на грудь, сквозь открытые губы, словно в зловещей улыбке блестели зубы, остеклевшие глаза смотрели прямо перед собой. От одеяла, покрытого кровью и мокротой, шел отвратительный запах. К печали, охватившей Андрея, примешалась тупая злоба. Так вот как умирают бедняки! Ни врач, ни сиделка не облегчают их последних минут, никто не закрывает им глаз. Покойник лежит в отвратительной грязи и смраде, перекошенный в предсмертной борьбе, рот зловеще улыбается, словно оттуда готова вырваться жалоба, мольба о жизни, которую у него украли другие. И в углу храпит безразличие, облеченное в скотский образ пьяницы...

Андрею казалось, что со смертью Марты Туссек окончилась его молодость. Ему было 24 года, он был высок ростом, черты лица его были словно высечены из камня, а глаза носили скорбно-озлобленное выражение. Чем наградила его до сих пор жизнь? Работой, от которой болели все кости, однообразной работой в безнадежной ночи шахты. Бывали моменты животного наслаждения, когда он, после нескольких стаканов водки, проводил время с девушками. Бывали и большие проблески счастья в те дни, когда рабочие проводили забастовку, когда вспыхивало красное пламя надежды. Но это большое счастье было куплено ценою горького разо-

чарования, крушения всех надежд. Пока Марта Туссек была жива, он цеплялся за нее, за ее непоколебимую веру. Теперь, когда он остался один, ему казалось, что все в нем умерло. Покорность судьбе многих эксплоатируемых, приниженных поколений жила и в нем. Рабочий не может стряхнуть с себя проклятия подъяремного труда, все его усилия тщетны. К чему стремления и борьба, на что он может надеяться? В стране вечного утра лежит новый мир, но войти в него никому не дано.

Ему захотелось бросить работу в копях и где-нибудь в другом месте найти применение своей силы. Его манили чужие края, новые страны, новые люди, красота, солнце. Но, ведь, он ничему другому не учился, знал лишь свое угольное дело, а это обозначало, что куда бы он ни пошел, над ним тяготела бы та же вечная ночь, однообразие которой угнетало его и здесь.

Пока он колебался, взвешивая все „за и против", в угольный район приехал младший брат Анульки. Андрей с изумлением смотрел на высокого, стройного юношу со смелыми голубыми глазами, с дерзким вздернутым носом. Францишек Сова занимался плетением корзин; в своих странствиях он обошел половину Европы в сопровождении маленькой косматой рыжей собачки. В своих живописных лохмотьях, вечно голодный, вечно улыбающийся, с головой, набитой всякими шутливыми выходками, Францишек показался Андрею Мерц существом из другого мира.

— Сегодня я сколотил копейку и буду жить, как князь,— улыбаясь говорил молодой чех.

— А завтра я опять обнищаю и буду просить милостыню, а может быть и красть, смотря по обстоятельствам. Патеру я говорю: „матерь божья вознаградит вас"; с пастором рассуждаю о моей евангельской вере, а раввину просто говорю: „я беден". И мне дают деньги. На своих двух ногах я обошел пол-света. Мир прекрасен. Везде существуют чудные страны, горы, моря и красивые девушки. Жизнь хороша.

Андрей Мерц сурово смотрел на него:—Жизнь ужасна. Повсюду несправедливость, страдание и нищета.

Францишек громко рассмеялся.—Жизнь ужасна, потому что люди глупы. Если у тебя слишком много, а у меня слишком мало, то я беру у тебя лишнее. Люди называют это воров-

ством, а я говорю, что вор тот, кто имеет больше, чем ему нужно. Почему я не могу отобрать у вора украденное им? Ведь попы тоже говорят, что неправильно нажитое не идет впрок!

И вперяя в Андрея взгляд своих смелых, ясных глаз, принявших строгое, почти гневное выражение, он продолжал:

— Вы все так глупы, так ужасно глупы! Куда бы я ни пришел, везде я слышу только жалобы и стоны: „Мы бедны, мы должны работать до боли в костях, и нашего заработка не хватает на жизнь". Когда же я говорю людям: так возьмите же, что вам нужно, все у вас под руками,—хорошая еда, теплая одежда, прекрасные дома,—они всплескивают руками и кричат, что Францишек вор! Клянусь спасением моей души, что я никогда ничего не украл у бедняка: я всегда брал лишь то, что мне принадлежало по праву, да и то не все.

Взглянув на свои лохмотья, он прибавил:—Чем я не хорош? Почему нет у меня прекрасного платья и шикарных сапог? Как ты думаешь, сколько всяких костюмов у человека, которому принадлежат здешние копи? Два, три, четыре? Разве он не украл их у меня, одетого в лохмотья? Даже, если он их купил, разве деньги на покупку не украдены им у нас, бедняков? Разве он не обкрадывает вас ежедневно, ежечасно, пользуясь вашим трудом, так скудно оплачиваемым, разве он не крадет вашей силы и молодости, разве не крадет беззаботного отдыха вашей старости? Не крадет вашего счастья, жизни, наслаждения? И мы должны щадить этого бедного богача, и не отбирать у него награбленных им ценностей?

Францишек побарабанил по оловянному блюду, зажатому между коленями, засмеялся и вполголоса запел чешскую народную песенку.

Толстая Анулька одобрительно кивнула головой:—Францишек прав.

— Конечно, я прав. Кто издал первый закон против воровства? Первый человек, у которого всего было больше, чем нужно,—первый и величайший вор. Тебя сажают в тюрьму, когда ловят на краже, но вот уже сотни лет, что люди склоняются перед законом, созданным вором, боявшимся за судьбу своего добра. Разве это не глупо?

Молодой чех взглянул на Андрея, неодобрительно покачавшего головой. — Неужели ты меня не понимаешь? Угольная пыль застилает твои глаза, братишка! Протри их хорошенько, чтобы лучше видеть.

Францишек смеялся, и все же суровая тень ложилась на его юное, смелое лицо, и ясные голубые глаза становились холодными и жестокими.

— У всех у вас в глазах скопилась угольная пыль, вы, ведь, не видите, что весь мир стремится к чему-то новому. Повсюду расцветает весна, и только ваши головы, как деревья зимой, остаются нечувствительными к этому пробуждению весны. Откройте глаза! Разве вы не видите, что повсюду собирается грозная рать для большой борьбы против угнетателей? Во всех странах, у всех народов. Даже у вас, немцев. Не даром зовут вас немцами—немыми. Вы молчали и много лет терпели, не произнося ни слова. Теперь настало и для вас время открыть рот, кричать и рычать: „Мы не скоты, мы требуем справедливости"! А если крик не поможет, то разве у вас нет кулаков? Если же и кулаки не помогут, то, ведь, у вас может быть оружие? Если воры и разбойники добровольно не отдадут свою добычу, то, ей богу, придется взять силой.

Андрей Мерц был бледен, как полотно. Задыхаясь, он сдавленным голосом спросил Францишка:—Ты социалист?

Францишек расхохотался еще громче.—Конечно! неужели ты думаешь, что если я не вешаю головы, не скорблю о несправедливости нашего света, то я уже не могу быть социалистом? Разумеется, часто и меня охватывает злоба, но я прекрасно знаю, что скоро наступит день, когда все величайшие воры будут качаться на виселице, а мы, угнетенные, сделаемся господами положения. Вот это меня и радует и позволяет мне так весело смеяться.

И Андрею Мерц показалось, что с души его свалилась громадная тяжесть. Непоколебимая вера этого чужого человека теплым потоком хлынула в его душу и вдохнула в нее жизнь.

Толстая Анулька, любившая Андрея и болевшая своею доброй душой за этого молчаливого замкнутого парня, сказала:—Пойди-ка ты вместе с Францишком, Андрей. Летом хорошо бродяжить; к зиме можешь и вернуться.

— Да, пойдем-ка вместе, братец, тебе следует посмотреть на свет. Где хватает на одного, хватит и на двух.

— Я должен подумать об этом,—возразил Андрей.

— Подумать! подумать!—Чех нетерпеливо рассмеялся.—Вы, немцы, способны раздумывать до самой смерти. В воскресенье я ухожу, и ты пойдешь со мною.

В воскресенье Францишек ушел из угольного района и вместе с ним ушел и Андрей, смущенный и оглушенный важностью своего решения, но полный стремления в неизведанную, сияющую даль.

Прошло несколько дней. Сначала Андрей с трудом воспринимал чуждое ему чувство полнейшей свободы. Неужели действительно существовала жизнь, где человек был господином своей судьбы и не должен был по утрам повиноваться злобному призыву сирены? Неужели возможно располагать по усмотрению каждым часом своей жизни; бродяжить, когда хочется; валяться на мягкой траве, когда ноги устанут? Весенняя красота земли была для него откровением; свежесть покрытых утренней росой полей, кристальная струя ручьев и рек, торжественная красота задумчивого леса,—все это удивляло и радовало его. Откровением была ему и неизменная веселость молодого чеха, шедшего рядом с ним, насвистывая, распевая и болтая.

— Ты только тогда сможешь сделаться настоящим социалистом, когда узнаешь, каким прекрасным может быть мир для угнетенных,—говорил Францишек.—Ведь, вы даже не знаете, что у вас украли, и лишь смутно чувствуете, что с вами поступили несправедливо. Но вы и не подозреваете, как чудовищна эта несправедливость!

Однажды в ясный сияющий майский день, лежа рядом с Андреем под цветующей яблоней, Францишек вдруг выпалил:—А твои товарищи сейчас работают в шахте, во мраке и среди угольной вони.

Андрей Мерц вздрогнул; острая боль пронизала его сердце, и вся сияющая красота майского дня поблекла в его глазах. Францишек внимательно наблюдал за ним.

— Ну, опять запечалился, ты должен не грустить, а гневаться. Хороший, сильный гнев, готовый перейти в дело, вот, что необходимо тебе.

— Но что же я могу сделать? Ведь я один?

— Ты болван,—ругнул его Францишек.— Разве у тебя нет глаз? Наполни их всей красотой, которую ты видишь перед собой. Разве у тебя нет языка во рту? Употреби его на то, чтобы по возвращении к товарищам, работающим во мраке глубокой ночи, описать эту красоту. Заставь их почувствовать величие и радость окружающей нас красоты и тогда скажи им: „и вы бы хотели наслаждаться всем этим? Да, милые мои, все это не для вас, все это только для богатых. А для вас существуют труд, грязь, смрад и нужда. Продолжайте и впредь работать без устали. Каждый удар мотыги, каждое движение ваших рук увеличивает счастье богатых и всегда будет увеличивать, пока фабрики, рудники, заводы и проч. не будут принадлежать трудящимся!“—Скажи им это, повторяй им это без конца, пока это не проникнет в их сознание!

Золотые летние дни, осиянные солнцем и обвеянные ароматом, шли один за другим. Андрей Мерц забыл свой угольный район, забыл все разочарования и, как дитя, радовался своей свободе и новым впечатлениям. Эти ясные веселые дни дали ему силу, необходимую для дальнейшей борьбы.

Они прошли всю Южную Германию и Швейцарию, дошли до Италии, слонялись по равнинам Ломбардии, по сияющим голубым Тосканским холмам и вдоль морского берега шли все дальше и дальше к югу. Наконец, они дошли до Неаполя.

Италия была новым откровением для Андрея. Солнце, солнце, золотое днем, багрянное вечером. Не то, что бледное, точно покрытое ржавой дымкой, солнце его родины; нет, солнце могучее, пламенное, изливающее свои милости на все окружающее, все благословляющее и оплодотворяющее.

Широко раскрытыми глазами смотрел Андрей на темноголубое сверкающее море, на тонущие в золотистом тумане острова. Где-то недалеко играла шарманка, чьи-то теплые веселые голоса напевали песенку, полуголые, загорелые ребятишки резвились на улице. „Красота“,—он часто читал это слово в книгах, никогда не усваивая значения его. Теперь он видел ее, воплощенную, облеченную в кровь и плоть. Ему было радостно и горько. Здесь и люди были

иными, чем в оставленной им далекой родине; в них было много детского, много беспечности и смеха. В них совершенно не было боязливой приниженности, столь свойственной беднякам. Даже нищие, одетые в живописные лохмотья, протягивали руку за подаянием, словно дело шло о веселой шутке. Из-за жалобных слов, произносимых ими, выглядывали плутовские глаза, и лохмотья облегали их стан, словно королевская мантия.

— Сплю я или нет,—спрашивал Андрей своего спутника. —Неужели все это существует на яву, а не в моем воображении?

Веселый чех заливался смехом.—Небось ты и не знал, бедный дурень, что на свете так много красоты?

Францишек очень быстро сходился с людьми; он наскоро выучил несколько итальянских слов, а недостающие ему слова заменял улыбкой и жестами. Ему никто не был чужим; если бы он попал в Африку или в Азию, он наверное бы обращался с чернокожими и желтокожими совершено так же, как со своими белыми братьями.

— Различие рас и народов—нелепая болтовня,—говорил он.—Всем нужно одно и то же: хлеб, радость; все страдают от одного и того же: от нужды, угнетения, болезни. Как же нам не понять друг друга? Но крупные разбойники боятся этого нашего взаимопонимания, а потому они уверяют нас, что чехи, французы, итальянцы, немцы — все это разные народы. С внешний стороны это, пожалуй, верно, — но только с внешней; сущность же одна.

Однажды он повел Андрея в большой белый дворец. Там были всевозможные статуи и бюсты, высеченные из белоснежного мрамора и отлитые из темной блестящей бронзы. Францишек быстро провел его через колоссальные залы и остановился лишь в последнем, маленьком зале, где находилось лишь одно произведение искусства.

— Взгляни-ка на эту штуку,—заговорил чех.

Андрей взглянул на три мужские фигуры, обвитые кольцами чудовищной змеи и употребляющие тщетные усилия вырваться на свободу. Все мускулы и жилы напряжены до крайности, лица искажены предсмертным ужасом и невыносимою болью. Андрей испуганными глазами смотрел на эту муку, застывшую в каменной неподвижности.—Что это?—



Здесь и люди были иными, чем в оставленной им далекой родине...

наконец, спросил он вполголоса, ему казалось, что перед этим невыразимым страданием нельзя даже громко говорить.

— Это вывезено из Греции,—ответил Францишек.—Я не знаю, что это должно было представлять собою в то время. Но что это обозначает собою сегодня, это я твердо знаю. Всмотрись внимательно; неужели ты не угадываешь, что в себе воплощают эти люди?

Андрей молча покачал головой.

— Эти три человека — это мы,—объяснил чех.—Народ, пролетариат всего мира. Нас захватил в свои кольца громадный змей — капитализм, он разломил наши кости, он давит и душит нас. Мы отчаянно боремся с этим чудовищем, смертный ужас в наших глазах и гнев—в сердцах. Я не знаю, удалось ли этим трем грекам освободиться, или эта бестия их удушила. Но мы будем бороться и освободимся, встряхнем с себя этого чудовищного червяка, раздавим и уничтожим его.

Андрей молчал. Слова товарища вызвали в нем тягостные воспоминания. Когда они снова вышли на улицу, он не видел ни сияющего летнего дня, ни сверкающего синего моря, он видел внутренними очами сырую, ночную черноту своих родных угольных ям. Он не слышал звенящих, теплых итальянских голосов, ему слышались разговоры полумертвых от усталости людей, голоса, повторяемые эхом подземных шахт. Ему показалось чудовищною несправедливостью, что он здесь отдыхает душою и телом, а товарищи его изнемогают под гнетом тяжкой работы и страдают в шахтах.

Вечером они сидели у входа в маленькую харчевню и ели мороженое. Перед ними темнело море; громадный пароход, мощное чудовище с бесчисленными сверкающими глазами, медленно входил в гавань. Ночную тишину нарушали поющие голоса. Где-то вдали звенела гитара. Из садика доносился крепкий аромат гвоздики. Лето, роскошь, жизнь...

Францишек лениво потянулся, поднял руку и указал на входящий в гавань пароход:—Я хочу отправиться дальше, еще дальше! Хочу объехать весь свет, хочу изучить все страны, всех людей. Завтра же поищу судно, отправляющееся в Африку. Наймусь юнгой, ты поедешь со мной, Андрей.

Андрей ничего не ответил; тяжелая грусть охватила его душу и не давала ему говорить.

Францишек продолжал:—Да, в Африку. Хочу видеть белые дома с плоскими крышами, хочу видеть женщин в чадрах, верблюдов, караваны. А затем я поеду дальше, в Японию, где люди хоть и малы ростом и желты лицом, но зато умны. Может быть, проберусь и в Индию, где живут колдуны, наследовавшие всю мудрость этой страны...

Вдруг он заметил мрачное выражение лица своего спутника.

— Что с тобой, нюня? разве здесь тебе не хорошо? Разве ты не чувствуешь, что все зовет тебя: вперед, вперед? Весь свет принадлежит тебе, вступай во владение им!

— Я хочу домой,—беззвучно произнес Андрей.

— Но не в таком виде, не с такой печалью в сердце. Ты должен принести своим товарищам свет, радость и мужество.

Андрей молчал.

Чех схватил его за плечи и встряхнул его.

— Проснись, весь свет принадлежит нам! Нам нужно только прогнать разбойников, ограбивших нас. Ступай домой, поучай своих заржавевших товарищей по шахте, повторяй им неустанно. „Весь свет принадлежит нам, стоит только захотеть!“

Он указал на группу играющих детей:—Они наверное узнают истину и не будут больше работать на тунеядцев и воров, но слезами и жалобами мы ничего не достигнем.

На следующий день Францишек уехал на судне, направлявшемся в Марокко; Андрей собрался домой.

Он нигде не задерживался; подобно тому, как Францишка притягивала неизвестная даль, так Андрея Мерц тянуло домой. Ему не хотелось больше бездельничать, душа его жаждала работы, но не в шахте, а в умах и сердцах товарищей. Хотя он не знал языка страны, тем не менее его путешествие совершалось без всяких недоразумений, и он часто думал, что Францишек прав, утверждая, что все действительно нужное неизменно для всех: хлеб, счастье. Ему тяжело было расставаться с этими чужими людьми, так охотно делившимися с ними куском хлеба, стаканом вина и так братски относившимися к нему.

Как-то раз, во время ночевки в Милане, к нему подошел рабочий и на ломанном немецком языке спросил его, что ему нужно.

— Я работал в Германии,—сказал он,—мостил улицы, у меня там много друзей, товарищей.—Он смерил Андрея пытливым взглядом.—Вы наш? Вы социалист.

Андрей молча кивнул головой.

— Вы переночуете у нас. Джульетта будет очень рада видеть немца, принадлежащего к нашей партии. Она всегда уверяет, что все немцы, приезжающие в нашу страну—богатые люди, враги. Она у меня большая радикалка, Джульетта.

И Джульетта в самом деле сердечно обрадовалась. Хотя Андрей не понимал ее быстрой итальянской речи, но самый тон, приветливые жесты и ласково мерцающие громадные черные глаза служили ему переводчиками. Андрей Мерц и итальянский рабочий проговорили до глубокой ночи. Джульетта прислушивалась к звукам чужого языка и изредка вмешивалась в разговор.

— Она думает,—объяснил ее муж,—что нужно убить всех капиталистов, ибо добровольно они не подчинятся. Моя Джульетта большая радикалка.

Андрей Мерц пробыл в Милане два дня; Антонио Прингалло познакомил его с несколькими товарищами, среди которых Андрей чувствовал себя очень хорошо. Что значат границы, что значит другой язык, когда цель одна и та же? Цель объединяет людей.

Стоя на вокзале в ожидании отхода поезда, который должен был увезти его в Германию, Андрей увидел выходящих из вагонов первого класса шикарно одетых людей, говоривших на его родном языке, и еще острее воспринял эту мысль. Он взглянул на Антонио Прингалло и Джульетту, затем опять перевел взгляд на немцев и понял, что не Антонио с женой—чужие ему люди, а те господа, говорящие по-немецки, высокомерно и брезгливо сторонившиеся от него.

Чем дальше к северу, тем серее казался свет, тем бесцветнее казались люди. Иногда он спрашивал себя, не во сне ли он видел прекрасную солнечную страну?

Он сделал крюк, чтобы отыскать Павла Леэра, состоявшего редактором большой социалистической газеты. Они давно не виделись. Андрей Мерц чувствовал себя неловко со старым другом.

— Мне еще следует побывать у вас, —воскликнул Павел Леэр.—У вас там все спят. Неужели никого нет, кто бы агитировал, кто бы вел пропаганду?

— Я предполагаю энергично взяться за эту работу,— возразил Андрей Мерц.

— Вот это хорошо. В городах все идет великолепно, но в деревне, в угольных районах... он пожал плечами.

— Люди так устали, что неспособны к восстанию.

— Нужно их встряхнуть.

Павел Леэр порылся в ящиках и шкафах, достал брошюры, листовки и протянул их Андрею.

Андрей печально улыбнулся.—Ты давно не был у нас Павел?

— Почему ты об этом спрашиваешь, что ты хочешь этим сказать?

— Ты забыл, как болят глаза, привыкшие к темноте, от света лампы. Когда же несчастный углекоп сможет все это прочесть? Вечером, когда он, полумертвый от усталости, вылезает из подъемной корзины, или утром, когда после ночной смены солнечные лучи до боли пронизывают его больные глаза?

Павел Леэр смутился.

— Ты прав. Быть может, я недостаточно близок этим несчастным подземным кротам.—Он задумался на минуту и затем заговорил, скорее обращаясь к самому себе, чем к Андрею.—Вечный вопрос: что делать, чтобы не отчуждаться от своих? Неужели руководитель движения не только должен происходить из их среды, но и постоянно жить там, вести одинаковую с ними жизнь, чтобы вполне понять их?—Он взглянул на Андрея Мерц, на резкие решительные черты его лица, освещенного умными, полными сострадания глазами.

— Ты прав,—повторил он.—Будь посредником между ними и печатным словом: организуй, агитируй... ты имел возможность взглянуть на свет среди ночи; покажи им этот свет.

Они говорили еще о многом другом. Андрею казалось, что друг его сильно изменился; что-то чуждое встало между

ними и при всем желании оба они не могли преодолеть этого чувства взаимной отчужденности.

На следующий день Андрей уехал дальше; торопился в свой угольный район.

Осенние бури проносились по стране; сухие листья крутились в воздухе и толстым ковром покрывали сырую землю. Леса оделись в желтое и красное убранство.

Андрей открывал грудь сильным порывам ветра. Борьба! Все в нем взывало к борьбе. Это лето вернуло ему старую силу, старую веру, былое мужество; ему чудилось, что лишь теперь он ясно осознал, во имя чего идет борьба: хлеб, радость, счастье, красота для всех!

Был дождливый осенний вечер, когда он приехал в родные места. Сеял мелкий дождь, угольная пыль покрывала землю. Когда Андрей проходил мимо входа в шахту, оттуда выходили рабочие,—длинный ряд усталых, измученных, тупо глядящих перед собою людей.

ГЛАВА XVI.

Для Андрея Мерц наступили годы работы, годы отчаянного утомительного труда. Порою ему казалось, что разбудить всех этих усталых людей так же трудно, как детской лопаткой дробить каменистый грунт; инструмент притупляется, ломается, все члены дрожат от сильного напряжения, а твердый камень продолжает сопротивляться. Неужели эти люди никогда не откроют глаз, никогда не прозреют? Тщетно указывал он им на их страдания. Они молча неохотно выслушивали его. Иногда сжимали кулаки в карманах—это было все. Напрасно он вызывал перед ними прекрасные картины новой чудной жизни. Ослепленные угольной пылью глаза не могли воспринять этих красот. Иногда Андрею Мерц казалось, будто он рассказывает детям сказку, но дети уже вышли из того возраста, когда их занимают сказки и потихоньку смеются над ним.

Правда, бывали и светлые минуты в его жизни; в усталых глазах вспыхивала молния и, перебрасываясь от одного к другому, зажигала неугасающий пламень. Рабочий скот мало-по-малу приобретал человеческий облик,—некоторые из рабочих сохраняли этот облик лишь в течение нескольких часов, другие же не возвращались более в первобытное состояние. У Андрея появились помощники, сотрудники в великом деле.

Молодежь особенно охотно и легко воспринимала слова Андрея Мерц. Стариков удерживала тяжесть пережитых годов страдания, им не хватало веры, не хватало мужества, подчас не хватало недовольства. „Чего ты хочешь?“ спрашивали они.

„В конце концов мы ведь можем жить на наш заработок. Родились в бедности, значит должны работать“...

Но хуже всего были женщины. Их постоянный страх внедрялся между мужчинами и каждым их требованием; их ханжеское благочестие требовало повиновения воле божьей. Толстая Анулька напрасно разъясняла им, что богу совсем не угодно, чтобы они голодали и работали. Они покачивали головой и приводили слова пастора или патера.

Одного добился Андрей Мерц: его все любили, даже те, которые не могли или не хотели разделять его убеждений.

Он уже не был прежним ворчливым молчальником. Казалось, будто он привез с юга солнце и свет, и ему хотелось поделиться ими со своими обездоленными товарищами. Каждая забота, каждая нужда находили в нем сердечный отклик. Он всецело отдался великому делу. Он совершенно перестал жить для себя и, если бы Анулька не заботилась о нем, то вряд ли бы он находил время для еды и сна. Он отнюдь не чувствовал себя руководителем рабочей массы, а только голосом этих бессловесных созданий. Связанный с этою массою общим трудом, общей нуждой, он составлял ее неотъемлемую часть, понемногу научился понимать самых отупелых из рабочих, находил нужные слова для самых темных умов. Его работа среди тружеников угольного района возбудила сильнейшую злобу властей. Против него объединились патер, пастор, хозяева; они обсуждали и взвешивали вопрос—под каким предлогом можно было бы уволить этого человека. Он не давал никакого повода к увольнению, добросовестно исполнял свою работу, не делал долгов. И все же...

Однажды вечером, когда Андрей возвращался домой с работы, к нему подошла высокая, стройная девушка и боязливо шепнула ему:—Отец просил вам передать, чтобы вы были осторожнее.

Андрей удивленно взглянул на девушку. Это была старшая дочь хромого писца.

— Почему?—спросил он.

— Отец слышал кое-что в канцелярии. Вас хотят уволить.

— Они не посмеют.

— Они все могут сделать.

— Но, как это случилось, что ваш отец?..

Девушка густо покраснела.

— Отец совсем не такой дурной человек, как вы думаете. Он вас отлично понимает, но он беден... Всего боится.

Ее карие глаза вспыхнули.—Я не боюсь, я ваша, но открыто не могу об этом заявлять ради отца.

Андрей взглянул на девушку; ему понравилось ее умное, худенькое лицо, большие карие глаза, прекрасные темные волосы.

Он улыбнулся.—Я не знал, что вы успели так вырасти. Вас нигде не видно.

— Я была в городе, в услужении. Но не выдержала этого. Я не боюсь работы, но не хочу, чтобы со мной обращались, как с рабой. Теперь останусь здесь, буду заниматься шитьем.

Перед умственным взором Андрея стал полузабытый образ: Марта Туссек за швейной машиной, худенькие руки, блестящие от лихорадки глаза, а потом труп ее на постели, запачканной кровью и мокротой. Неужели эту девушку постигнет та же судьба? Сегодня она свежа, она цветет. Какой вид будет она иметь через несколько лет? Неужели чудовище поглотит и ее юность? Гнев и сострадание охватили его, сдавили горло; он не мог выговорить ни одного слова.

Девушка неверно истолковала его молчание и печальным голосом спросила его:—Вы нам не доверяете? я говорила правду, отец послал меня к вам.—Ее голос сделался теплее и мягче.—Я и от себя прошу вас—будьте осторожны. Мы не можем без вас обойтись, вы нам так нужны.

— Благодарю вас, но я не могу поступать иначе, чем до сих пор.

— Но если вас уволят?..

— На мое место найдутся другие.

Она покачала головой и продолжала итти рядом с ним.

Почему эта девушка не уходит? идет рядом с ним, не говоря ни слова, соразмеряя свои шаги с его шагами...

— Мне хотелось сказать вам еще что-то,—заговорила она, запинаясь,—вероятно, будут попытки вызвать вас на резкость, вывести вас из себя; здесь есть люди, готовые за деньги на все. Отец слышал, как...

Она замолчала. Сквозь сумерки вынырнула какая-то человеческая фигура. Девушка испуганно ухватилась за руку Андрея.



— Ах ты, сицилист, проклятый бунтовщик!..

— Не бойтесь,—успокоил он ее.—Это только длинный Ганс, опять он вдребезги пьян.

Пьяный остановился перед ними и закричал:

— Ах ты, сицилист, проклятый бунтовщик, ишь ты, нашел себе милую. По ночам шляешься с нею? Не стоишь ты ее; пойди ко мне, девочка, ничего тебе делать с голяком. У меня денежки есть...

Его большая лапа схватила девушку за руку. Андрей Мерц оттолкнул его, поднял руку для удара. Девушка поспешно встала между ними.

— Не бейте его! Все это заранее подстроено, вас хотят вовлечь в драку,—беззвучно прошептала она.

Андрей Мерц овладел собою.

— Ступай домой, Ганс,—сказал он холодно и решительно,—проспись хорошенько.

Пьяный изумленно взглянул на него, что-то пробормотал и колеблющимися шагами отправился дальше.

— Видите,—зашептала девушка,—отец и это знал; я потому и не уходила от вас, потому и пошла с вами.

— Вы остерегли меня от большой глупости. Впредь буду осторожнее. А вы ступайте-ка домой.

Он пожал ей руку и смотрел ей вслед, пока ее стройная фигура не слилась с вечерней мглой.

На следующий день его вызвали в канцелярию и объявили об его увольнении.

* * *

Когда это известие дошло до копей, то все рабочие всполошились. Даже старики, покачивавшие головой, слушая речи Андрея, были возмущены. Мододежь угрожала и сыпала проклятиями.

— За то, что человек говорил правду...

— За то, что человек объяснил нам, что мы тоже люди...

— Разве мы собаки нашего хозяина?...

— Разве он смеет нас выбрасывать на улицу, когда ему вздумается?.

— Подлец...

— Мы не позволим отнять у нас нашего вожака...

Но над всеми этими словами и угрозами тяжким гнетом лежало сознание беспомощности.

Углекопы сидели в дымной, смрадной, низенькой зале местного кабачка; среди них было несколько женщин и между ними толстая Анулька и Руфь Штейнберг, дочка горбуна.

На несколько минут в комнате воцарилась глубокая, полная боли, тишина. Сквозь клубы дыма виднелись сверкающие гневом глаза. На грязных столах легли сжатые мозолистые кулаки.

Толстая Анулька нетерпеливо ерзала на своем стуле и, наконец, толкнула своего мужа в бок: — Скажи что-нибудь путное, Венцель.

Но Венцель молчал и задумчиво грыз свою трубку.

И вдруг из угла залы послышалось слово, пронизавшее подобно молнии все бессилие, всю нерешительность, всю печаль: забастовка!

Слово это звенело, звучало и раскатами раздавалось по всей комнате. Забастовка! Словно здесь уже не было беспомощных, безоружных, робких, придавленных людей; в руки им было дано оружие, и они крепко ухватились за него.

Забастовка,—это был ответ многих на увольнение одного.

И еще раз изумленным глазам Андрея Мерц представилось чудо: из самых разнообразных элементов, из единиц, различных по взглядам, по характеру и по возрасту, выросла сплоченная, неделимая единая масса, спаянная одним общим стремлением.

Следующие дни принесли Андрею Мерц новое откровение. Он узнал, что дело идет не о нем одном, что борьба будет вестись за право, за судьбу многих.

Слово родило дело—непобедимого, мощного гиганта.

Выбранные для переговоров с хозяином по делу Андрея вернулись ни с чем. Тогда из земли вышло серое чудовище: забастовка. Его дыхание парализовало всю окружающую жизнь, словно страшная эпидемия. В воздухе чудилась смерть. На этот раз среди рабочих не было желтых, никто не захотел повредить стачке.

В первый раз за все время хозяин уступил требованиям рабочих. Первая битва была выиграна. Теперь рабочие знали, что они могут побеждать. Узнали, что они уже не беззащитны, и им уже чудилось приближение дня, когда люди, разыгрывающие из себя хозяев и убежденные в своем

всемогуществе, будут дрожать перед рабами, перед забитым рабочим скотом.

По окончании забастовки углекопы с красным флагом прошли ко входу шахты. Ни один надсмотрщик, ни один полицейский не посмел воспрепятствовать этому.

Андрею Мерц вспомнился день, когда рабочие в первый раз опустились в шахту после неудачной забастовки. И он радостными глазами следил за движением рабочих, перед которыми при блеске восходящего солнца алело красное знамя. Разве это те же люди? Тогда ему мерещились на их руках тяжкие цепи... Теперь мимо него проходили властители мира, законные обладатели всех сокровищ земли.

Андрей закрыл глаза. У него кружилась голова. Пред-ним раскрывалась не картина настоящего, полная борьбы и кровавой нужды, ему мерещилось прекрасное будущее, красота которого ослепляла его.

Тихий голосок прошептал ему на ухо: – Вы довольны, товарищ Мерц?

Он поднял голову. Перед ним стояла Руфь Штейнберг с влажными глазами, сияющими счастьем. Она была так молода, так свежа, так полна жизни, что ему показалось, будто перед ним стоит воплощенное будущее. Повинуясь внезапному влечению, он повернулся к девушке и крепко прижал ее к себе. Покорно, без сопротивления Руфь отдалась его объятию.

Молча прошли они, обнявшись, через пустынную улицу по направлению к домику горбуна.

* * *

Победоносная забастовка все же потребовала жертвы и даже такой, которая отнюдь не имела непосредственной связи с нею.

Однажды горбатого писаря позвали к хозяину. Последний принял его весьма немилостиво, взглянул на него сверху вниз, нахмурился и заговорил недовольным тоном:

— До сих пор мы были всегда довольны вами, Штейнберг, вы отлично исполняли ваши обязанности, у вас были здоровые, лойяльные взгляды, мы вам доверяли...

Он сделал небольшую паузу.

Самуил Давид Штейнберг беспокойно вертелся на стуле. Он чувствовал, что краска заливает его щеки, что руки его

становятся влажными и холодными. Вот уже 35 лет, как он слышит этот властный голос, подчас снисходительно-дружеский, но чаще грубый, и до сих пор еще он без страха не научился слушать его.

— Да, да,—начал хозяин,—как я уже вам сказал, мы были вами очень довольны. Тем печальнее, что один из членов вашей семьи, именно ваша дочь, открыто признает себя социалисткой и якшается с людьми, восстающими против закона и порядка. Мы слышали даже, что она обручена с зачинщиком всей смуты, Андреем Мерц, причинившим нам столько неприятностей. Вы, как служащий в нашей конторе, не должны были допустить до этого.

— Моя дочь—взрослый человек, господин Линке, она может поступать по собственному усмотрению.

— Но отцовский авторитет...

— Я не делаю рабов из моих детей.

Тон Штейнберга был резок. Господин Линке смотрел на него с нескрываемым изумлением.

— Но, ведь, вы должны понимать, что нам неприятно, если наш служащий породнится с этим буяном.

— Так я должен обращать внимание на чувства моих хозяев, а чувство моей дочери оставить без внимания?

— Но довольно было бы одного вашего слова. Ваша дочь вероятно, не пожелает навлечь на своего отца неприятности.

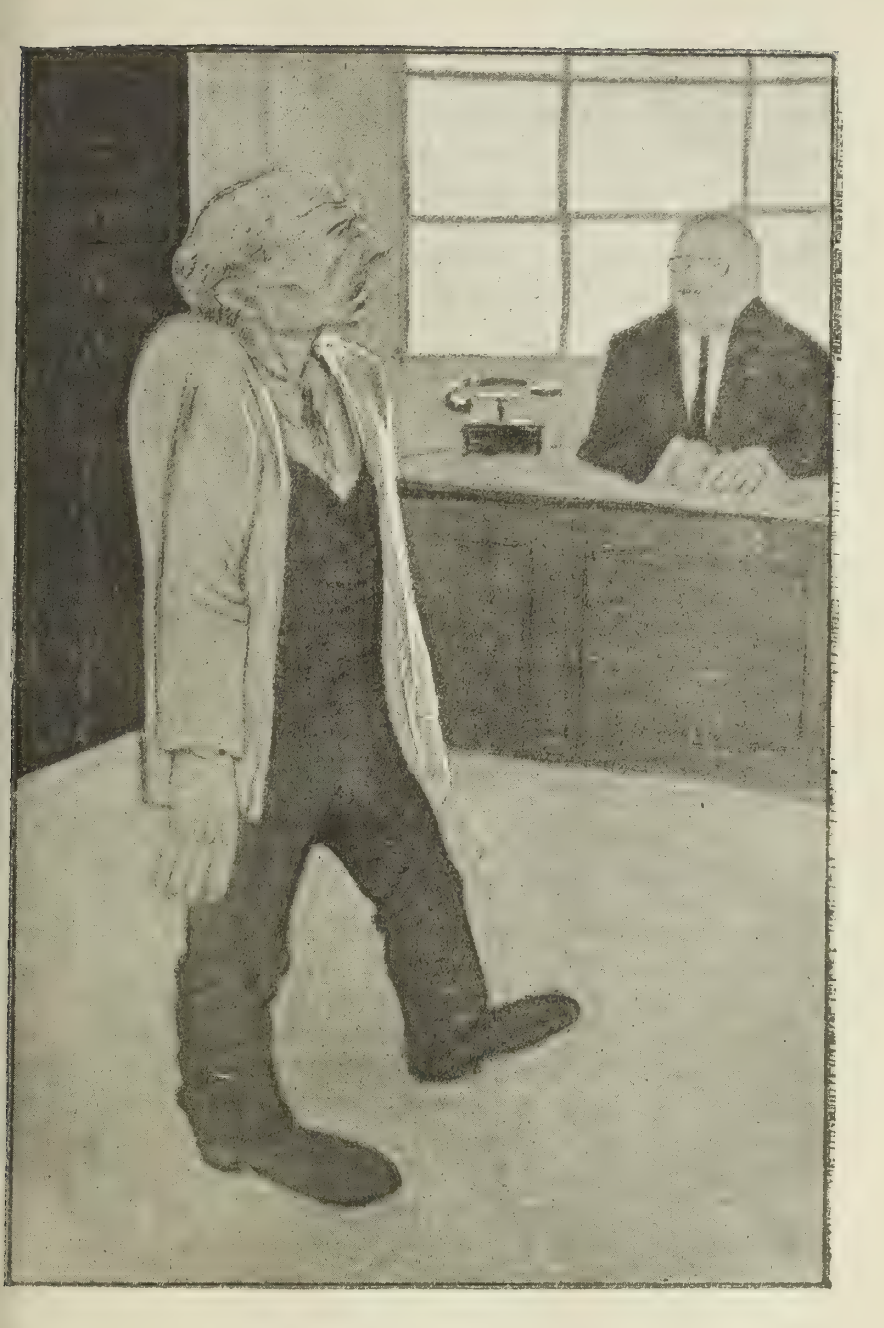
Господин Линке опять замолчал и внимательно смотрел на горбатого писаря, со щек которого сбежала яркая краска и заменилась смертельной бледностью.

— Я бы не хотел вас обижать,—заговорил хозяин неожиданно любезным тоном,—но, как я уже сказал, вы должны сами понять, что...

— Что только чувства хозяев должны приниматься во внимание. Да разве мы - ваш домашний скот, что вы нас скрещиваете по вашему усмотрению? Разве и тут у нас не может быть свободного выбора?

— Штейнберг, вы забываетесь!

— Напротив, я только теперь начинаю сознавать свое право. Я вспоминаю 35 лет бесконечной работы, в течение которых я действовал по вашей указке, мне предписывалось каждое мое слово, каждое мое движение. Я должен был вставать, когда входил хозяин, должен был почтительно



Принимаю мое увольнение к сведению...

улыбаться и даже громко хохотать над плоскими остротами хозяев, и выражать сильнейшее негодование, когда какой-нибудь бедняк рабочий требовал своих человеческих прав.

Знаете ли вы, что значит скрывать в течение тридцати пяти лет свой гнев, все свое негодование, все отвращение? Молчать целую вечность, дрожа за кусок хлеба? Я все это проделал. Больше не в состоянии терпеть. Вы разбили всю мою жизнь, а теперь принимаетесь за жизнь моих детей. Неужели я унижался для того, чтобы и мои дети были рабами?

Голос Штейнберга прервался, бешеный гнев не давал ему говорить.

Г. Линке побледнел.—Если так, то лучше будет, если вы подадите в отставку, мы не можем терпеть у себя в канцелярии бунтовщика и нахала.

Прежний страх опять охватил горбатого писаря. Вся его маленькая фигурка как-то съежилась; он втянул голову между плеч, с его дрожащих губ срывались неясные слова. Но взгляд его упал на высокомерную улыбку хозяина. Как он хорошо знал эту улыбку, как он ее ненавидел. За много лет эта улыбка врезалась ему в мозг.

Самуил Штейнберг выпрямился во весь свой маленький рост и таким же высокомерным взглядом ответил на взгляд хозяина.

— Принимаю мое увольнение к сведению.

Он коротко поклонился и ушел из канцелярии.

ГЛАВА XVII.

С тех пор, как Руфь стала женой Андрея Мерц, жизнь приняла для него особенный смысл, особенное значение. Руфь была так непохожа на других женщин и девушек, с которыми он встречался раньше, но именно это и привлекало его. Дочь горбатого писаря унаследовала от отца жажду знания; зато в ней не было его слабости, его вечного страха, явившегося результатом бесчисленных, нерадостных лет работы. Она смело поднимала свою маленькую головку, смело смотрела на мир своими ясными глазами, как будто всегда была готова к борьбе.

Иногда Андрей Мерц становился втупик перед ее изумительным инстинктом справедливости. Каждая несправедливость, содеянная другому, казалась ей близкой. Ее худенькое лицо бледнело, темные глаза загорались гневом. И Андрей, на которого семейный уют действовал умиротворяюще, иногда восставал против этого. Несколько лет борьбы утомили его, ему хотелось отдохнуть. Он проводил все свободное время дома около жены, любил сидеть около нее молча, раздумывая о своих делах, любил глядеть на нее и долго не мог привыкнуть к мысли, что он является обладателем этого ясного, милого существа.

— Ты начинаешь толстеть, Андрей,— сказала Руфь, сидя однажды вечером рядом с Андреем перед крыльцом своего дома.

Андрей оглядел свое длинное, худощавое тело, откинул рукав и вытянув перед глазами жены свою мускулистую руку, спросил ее:—Разве это рука толстяка?

Она рассмеялась.

— Не физически, милый, но нравственно. Ты стал ленив, всем доволен, сыт...

— Но, Руфь...

— Да,—перебила она.—Ты от всего держишься далеко, ты избегаешь борьбы.

— Потому что я не посещаю собраний и не говорю речей? Но я не хочу оставлять тебя одну.

— Я могла бы ходить с тобой.

Он любовным взглядом окинул ее пополневшую фигуру.

— Теперь, дорогая?

— Да, именно теперь. Ее голос немного задрожал.

— Именно теперь мне хочется слышать о лучшем будущем, мне хочется усилить уверенность, что мое дитя родится не для этого света несправедливости и насилия, что мой ребенок вырастет свободным, счастливым человеком.

Она замолчала на минуту, затем продолжала говорить точно про себя:—Ты не знаешь, Андрей, какой черный ужас охватывает меня, когда я думаю о новой жизни, зародившейся во мне. Я вижу перед собою пролетарских детей, бледных, больных, полуголодных, вижу мужчин и женщин приниженных, лишенных всяких прав. Неужели и моему ребенку выпадет такая же судьба?—Ее лицо побледнело, она судорожно заломила руки.—Я не понимаю женщин. Мы в муках рождаем детей, безмерно любим их, пока они малы, и все же терпим, когда у нас их отнимают, чтобы послать на фронт. Мы смотрим на наших маленьких сыновей, радуемся, когда видим прекрасное юное тело и знаем, что придет война и миллионы наших детей будут убиты для того, чтобы богатые имели еще больше золота. И мы молчим, смиряемся, рожаем рабов для господ, пушечное мясо для войн. Мне кажется, что если вы, мужчины, слишком тупы для того, чтобы вызвать революцию, то придется нам женщинам взяться за это дело.

Он изумленно смотрел на нее.

— Я думаю не об одном моем ребенке. Испытываемый мною страх мучает миллионы женщин во всех странах, во всем мире. Кто имеет право на революцию в такой мере, как мы, женщины? Разве мы не чувствуем, что делают с плотью от плоти нашей, с нашими детьми? Андрей, как это возможно, что существуют пролетарки, не чувствующие себя социалистками?

Он грустно улыбнулся.

Именно женщины и восстают против нас, дорогая; они находятся в тенетах церкви...

- Замените чем нибудь церковь, Андрей. Вы просто не умеете обращаться с женщинами. Вы приходите к смертельно усталым, измученным женщинам со своими научными тезисами, с сухими изложениями и удивляетесь, что они бегут от вас в церковь, дающую им столь необходимую для украшения жизни пестроту, радость, музыку, цветы. Неужели ты думаешь, что женщина, имеющая семерых детей, всю свою жизнь проводящая в стряпне, в стирке и шитье, женщина, у которой от усталости дрожат колени, и голова не в состоянии работать, что-нибудь поймет об историческом материализме? Но поговори с нею о ее детях, расскажи ей, что ее сыновья будут зарабатывать достаточно, чтобы пользоваться всеми благами жизни, и что ее дочери не будут больше домашним скотом,—тогда она будет слушать тебя и поймет тебя.

Она замолчала, положила свою руку на руку Андрея и опять заговорила:

— Андрей, Андрей, работы много, умы наших товарищей еще так темны; нужно дать им свет. И потому мне так невыносимо видеть тебя без дела.

Андрей густо покраснел. Ему стыдно было сознавать, что ее упреки справедливы. Она заметила это и ей захотелось загладить тягостное впечатление от ее слов. Смеясь, она прибавила:—У тебя буржуазные наклонности, Андрей: мой дом—мой мир.

Он не ответил на шутку. Крепко, до боли крепко сжал он ее руку, лежавшую у него на коленях.

— Эта опасность угрожает всем нам,—сказал он мрачно.— В каждом из нас сидит буржуй. Если нам хорошо живется, если счастье хоть немного улыбнется нам, буржуй сейчас же показывает свою подлую рожу. Мне не хватает твоего святого негодования, моя Руфь.

— Быть может, ваше стремление к довольству имеет некоторое объяснение в вашей религии,—возразила она.—Ваш Мессия уже пришел; это такое успокоительное чувство, вам незнакомо боязливое ожидание евреями пришествия Избавителя.

Андрей рассмеялся.

— Что за мысли приходят тебе в голову! Наш Мессия, наш красный Спаситель еще не пришел; его пришествие возвещают посланные им.

— Он пришел к своим, но они не приняли его,—заговорила она серьезно, повторяя слова евангелия.

— Потому что они его не узнали. В тот день, когда все угнетенные узнают своего избавителя, борьба окончится победой.

* * *

К рождеству Павел Леэр приехал на родину. Он приехал не один, с ним была молодая его жена. Андрею казалось, что Павел испытывал некоторую неловкость при встрече с ним, словно извинялся перед ним в чем-то. Он очень состарился за последние годы, имел усталый и печальный вид. Его молодая жена, просходившая, по ее собственному неоднократному заявлению, „из хорошей бюргерской семьи“, повидимому, очень скучала в угольном районе. Павел Леэр хотел пробыть на родине неделю, но уступил настояниям своей жены и через четыре дня после приезда уехал обратно в столицу.

В первый день по приезде он пошел с женою и Андреем к маленькой хижине, в которой он когда-то родился.

— Взгляни, Гильдегарда, здесь жил мой дорогой старик.

Лицо молодой женщины выражало брезгливое удивление.

— Какой маленький домик!

Павел засмеялся:—Не все родятся во дворцах, дорогая.

— Да, он... такой жалкий... В ее голосе звучало презрение.—Возмущенным тоном она продолжала:—И все здесь так грязно, так запущено. Все люди выглядят как будто они никогда не моются.

Павел Леэр покраснел и беспомощно взглянул на Андрея. Андрей сухо ответил молодой женщине:—После смены в шахте, ваши тонкие белые ручки тоже были бы черны и грязны, сударыня.

Она презрительно улыбнулась:—Я? в шахте?..

— Раньше в шахте работали и женщины. Моя мать долго работала в подземной штольне.

— Да, но...—Она запнулась, но Андрей угадал невысказанную ею мысль:—но ведь я не то, что эти люди; мой отец учитель в средней школе.

Андрей не решился взглянуть на Павла Леэр. Он чувствовал, как тяжело его другу слушать болтовню жены. Молодая женщина тоже заметила свою бестактность. Она с извиняющейся улыбкой обернулась к Андрею:—Я не хотеля вас обидеть, господин Мерц, но вы должны понять... Все это так ново для меня... Это совсем другой мир...

— Да,—резко заговорил Павел Леэр,—это совсем другой мир. И нет моста, чтобы перекинуть между двумя разными мирами. Некоторые думают, что такой мост существует,—в сущности, ведь, все мы из одного теста слеплены,—но стоит только поставить ногу на узкую доску, ведущую через пропасть, сделать пару шагов, и доска ломается; а дурак, веривший в ее прочность, повисает в воздухе между двумя мирами над непроходимою пропастью и не может двинуться ни взад ни вперед.

Вечером накануне своего отъезда, Павел Леэр обратился к Андрею:—Пойдем в „Золотое Дерево“.

— Но, Павел, ведь, это самый паршивый из всех наших кабачков!

— Да, и если бы у вас тут нашелся кабачок еще хуже, я бы его выбрал. Мне так хочется уйти подальше от этой гладкой сытой буржуазности, прячущей свою низость и пошлость под внешнею благопристойностью. Я хочу видеть настоящих пьяниц, забияк, хочу видеть девок, видеть людей, имеющих мужество быть тем, что они есть на самом деле, хочу видеть людей, не имеющих никаких высокопоставленных родственников среди учителей средней школы!

В кабачке Павел Леэр пил водку стакан за стаканом. Его бледное лицо покраснело, в равнодушных глазах вспыхнула жизнь. С него соскочила сдержанность, так смущавшая Андрея днем.

— Почему ты молчишь, Андрей, почему ты обращаешься со мною с состраданием, словно со старой бабой? Почему

ты не бросаешь мне в лицо, как другие: „Предатель, продажный раб буржуазии“!? Голос Павла Леэра дрожал от невысказанного страдания, от несказанной горечи.

— Почему ты бросил свою газету и перешел в буржуазную?—спросил Андрей Мерц.

— Ах, здесь уже знают об этом! Отсюда и холодный прием моих бывших друзей. И разумеется, все они говорят, что меня побудил к этому более высокий оклад, какая-нибудь грязная лишняя тысченка марок...

— Я никогда этому не верил, Павел. Конечно, я не совсем понимаю тебя, но...

— Ты ждешь объяснения? Изволь. Верь мне или не верь—дело твое. Но я все же должен оправдаться.

Павел Леэр снова наполнил свой стакан, тяжело вздохнул и заговорил тяжелым сдавленным голосом:—Бедный мой старик, он так любил меня, так заботился обо мне и все же он во всем виноват. Почему ему захотелось сделать меня „интеллигентом“, оторвать меня от родной почвы?—Он вопросительно взглянул на Андрея.—Тебе это не повредило бы, Андрей, ты силен, ты повсюду и всегда остался бы тем, что ты есть на самом деле—революционером. Но я... На его лице отразилась брезгливость.—В прошлом году я попал в либеральный буржуазный кружок. Утомленный вечными партийными разговорами и мелочными раздорами, я радовался общению с людьми, имеющими кроме политики и другие интересы. И... ну да, я был для них каким то зверем, чем-то редкостным — социалист! Мне сдается, что дамы покашивались украдкой на мои карманы, опасаясь увидеть в них бомбу. В этом кружке нашлась пара вполне приличных людей—в этом и заключался корень моего несчастья. Мне приходилось слышать: „Господин Леэр, почему вы проповедуете ненависть и насилие? Мы ведь тоже желаем добра человечеству, но этого нужно или можно достигнуть путем мирного развития“. А затем говорилось, что партии совершенно чужды друг другу, и что, узнав друг друга, они могли бы много добиться совместным трудом. „Вы, господин Леэр, могли бы, дескать, совершить в этом направлении большое дело“.

Павел Леэр залпом проглотил стакан водки и обоими сжатыми кулаками ударил по столу.

Я был дураком и ослом, я попался на эти сладкие речи. Ты помнишь моего отца, Андрей? Он верил в любовь, мой бедный старик, во всепобеждающую, чудодейственную любовь. И его кровь заговорила во мне. Лучше было бы мне иметь отцом убийцу, нежели святого. Я начал верить в возможность примерения между классами. Тебе непонятно, как человек может поглупеть до такой степени? Теперь и я этого не понимаю, но тогда я был так утомлен борьбой, казавшейся мне безуспешной, мне так хотелось проложить новые пути. К этому примешались личные интересы. Я влюбился в мою теперешнюю жену. Несмотря на все это, я бы не поступил так, как мне пришлось поступить, если бы не был вполне убежден в справедливости моих новых взглядов. Ведь, ты веришь мне, Андрей?

— Да.

— Никто из вас не знает, каково буржуазное общество. Оно похоже на зыбкий песок; ты думаешь, что у тебя под ногами твердый грунт, а нога твоя уже ушла в песок. Ты смеешься: „Я, конечно, смогу освободиться в любой момент". Но зыбкий песок затягивает тебя все глубже и глубже; чем больше ты обороняешься, тем глубже он тебя засасывает. Тысячью щупальцев держит тебя осьминог буржуазии, каждая твоя слабость является для него лишней точкой опоры—твое честолюбие, твоя покладистость, твоя наглость... Если ему удалось тебя схватить, то пиши пропало—ты погиб.

— Пустяки, Павел, вырвись из объятий этого чудовища и возвращайся к нам.

— Для того, чтобы меня встретили пинками?—Он горько рассмеялся.—Нет, друг мой, я могу оказать вам одну, последнюю услугу: служить для вас назидательным, отталкивающим примером. А тебе, Андрей, я оставляю в наследство мои наблюдения, собранные за последнее время.

Он поднял глаза к потолку и заговорил медленно, словно взвешивая и подчеркивая каждое слово:—Скажи пролетарию, что если ему навстречу попадет кровожадный голодный тигр, то возможно, что он его пощадит; скажи ему, что он может спастись от бешеного натиска водопада, в который он упал, что ему удастся спастись из пылающего



Павел Леэр, бесчувственно пьяный сидел за столом и бормотал...

костра, но что на свете существует одна невозможная вещь: невозможно без насилия вырвать власть из рук буржуазии, невозможно без вооруженной борьбы захватить ее собственность. Скажи товарищам, чтобы они не давали реформистам одурачивать себя. Каждая партия, выдвигающая на первый план реформы, неизбежно должна погрязнуть в тине буржуазии и выделять из себя таких отщепенцев, каким сделался я. Пролетарская партия должна быть революционна, должна всемерно стремиться к достижению высшей цели — к господству пролетариата. Передай им все это, как последний завет умирающего. А теперь уйди; я хочу напиться, и мне бы не хотелось, чтобы ты присутствовал при этом. Ступай!

Когда Андрей, озабоченный настроением, в котором он оставил Павла, вернулся через час в кабак, Павел Леэр бесчувственно пьяный, сидел за столом и бормотал: „Революция... реформа... нелепость, насилие...“

На следующий день он с женою уехал из угольного района, и Андрей никогда больше не встречался с ним. Лишь однажды от него получилось письмо, в котором сквозило безграничное отчаяние слабого человека, лишенного силы вернуться на прежний путь. „Я занимаю высокое положение,— писал он, — хотя люди, составляющие мой круг, учителя средней школы и прочая буржуазная сволочь, считают меня немного помешанным. Только мои прежние товарищи отплевываются от меня, но далеко не с таким отвращением, с каким я сам отплевываюсь от себя.“ Через пять лет, когда второму сынишке Андрея Мерц минуло четыре года, получилось еще одно письмо от Павла Леэр.

„Ты имел мужество назвать твоего мальчика моим именем,— это радует и умиляет меня, я вижу в этом некоторый символ искупления (впрочем, может быть, это предрассудок пьяницы). Твой Павел, вероятно, будет тем, чем я должен был сделаться. Вытрави из его души глупую сентиментальность, внуши ему, что классовая борьба — не bataille de fleurs, и бывают времена, когда сострадание и жалость к врагу равносильно преступлению“.

Спустя два месяца после этого письма Павел Леэр застрелился. Самая крупная из буржуазных газет поместила его некролог, в котором называла его своим „уважаемым

талантливым сотрудником", и отметила, что „к сожалению, он за последнее время совершенно отказался от общественной деятельности".

Андрей Мерц горевал о погибшем друге, не о том Павле Леэр, прах которого покоился в фамильном склепе учителя средней школы, но о друге своей юности, которого засосал зыбучий песок.

ГЛАВА XVIII.

Прошли года, целый ряд однообразных лет, едва отличающихся друг от друга. Тяжелая работа в шахте, такая же тяжелая работа среди пролетарского движения. В угольном районе не было ярких вспышек, не было молниеносных выступлений, после которых безнадежная тьма кажется еще более непроницаемой и печальной. И все же свет пробивался, медленно, постепенно, с усилиями преодолевая все препятствия. Еще не все умы просветлели, не все глаза прозрели, ночные тени еще омрачали сознание. Но чувствовалось приближение рассвета. Христианский союз с каждым днем терял своих членов, тогда как численность партии постепенно увеличивалась. Владелец рудника, вначале отказывавшийся принимать на работу организованных рабочих, вынужден был подчиниться. Но в этой победе рабочего класса заключалась опасность для него самого. Убийственный яд самоунижения и способности удовлетворяться малым, влитый веками угнетения, все еще отравлял души. Маленькое повышение заработной платы, немного более человеческая обстановка уже казались рабочим пределами достижения. В особенности это относилось к старым углекопам, помнившим тяжелые времена. Они были готовы сдаться и считали молодежь, требовавшую большего, смутьянами.

Иногда Андрею Мерц казалось, что он головою пытается пробить каменную стену.

— Здешняя жизнь похожа на тенистый пруд,—жаловался он Руфи,—все гниет в стоячей воде. Никакая буря не может всколыхнуть эти воды.

Францишек, прозванный Андреем „нашей бурей“, каждую весну появлялся в угольном районе. Загоревший под лучами

южного солнца, с головой, полной новых картин и впечатлений, молодой чех проносился по угольному району, подобно мартовскому ветру, взбаламучивал все мысли и сердца, осмеивал предрассудки и устаревшие взгляды, и своими смелыми словами словно открывал рабочим широкие ворота в неизведанный, новый мир. Он говорил о надеждах и чаяниях пролетариата всех стран, передавал содержание слышанных им в Париже речей Жореса, рассказывал о своем разговоре с Деббсом в Америке, о своем знакомстве с Феррера в Испании. Он смеялся над мрачным, безнадежным настроением Андрея.

— Чему быть, тому не миновать, Андрей! Ничто не может задержать победного шествия революции, ни оружие буржуазии, ни буржуазный образ мысли некоторых рабочих. Что сделали русские после 1905 года? Сложили ручки и начали причитать? Нет, они снова начали организовываться и повели широкую пропаганду. Немецкий рабочий еще дремлет, о его пробуждении позаботится буржуазия и юнкерство, в этом можешь быть уверен. Следите за тем, чтобы пролетариат не слишком долго протирал глаза после долгого сна.

Приезд дяди Францишка был всегда настоящим праздником для маленьких сыновей Андрея Мерц. Чех рассказывал им чудесные истории, пел песни всевозможных чужих народов, аккомпанируя себе на гармонии. Андрей внимательно наблюдал своих мальчиков и изумлялся их противоположности. Старший высокий, стройный 15-ти летний мальчик с бледным лицом и большими темными глазами был задумчив, углублен в себя, мягкосердечен до крайности. Будучи ребенком, он плакал, когда его товарищи отрывали майским жукам лапки и избегал вида страдания. Иногда чья-нибудь явная несправедливость выводила его из себя, тогда он бесновался, приходил в исступление и совершенно не помнил, что с ним творится. После таких вспышек гнева, он опять уходил в себя, становился молчаливым и замкнутым. Его отдали в учение к столяру, он мечтал сделаться краснодеревцем, производить красивые, изящные вещи. Охотнее всего он слушал, когда Францишек рассказывал о красоте чужих стран, о сверкающих морях, дивных цветах, чудных зданиях. Павел был на два года моложе брата. Больше всего в мире его интересовала борьба; он осаждал чеха

вопросами о руководителях рабочего движения в разных странах, о тактике партии и т. д. Коренастый, плотный, весь живущий в мире реальности, он был полною противоположностью своему брату; и только страстная любовь к справедливости составляла общую им обоим черту. Только у Павла эта любовь к справедливости вызвала непримиримую жестокость, непоколебимую твердость. Ничто не казалось ему невозможным; то, что он считал своим правом, ревниво и бережно охранялось им. Ему незнакомы были стихийные вспышки гнева старшего брата, он всегда умел владеть собою, только смертельная бледность его щек и вздутые жилы на лбу говорили о его внутренних переживаниях. Хотя он был моложе Эрнста, но он взял на себя роль охранителя своего брата, оберегал последнего от страданий и боли. Руфь Мерц однажды слышала разговор между обоими своими сыновьями, разговор, давший ей разгадку характеров обоих братьев.

Эрнст увидел, как взрослый парень жестоко бил маленького мальчика. В исступлении он бросился на нападающего, обеими руками сдавил ему горло и едва не задушил. Павлу с трудом удалось оторвать брата от задыхавшегося и уже хрипящего парня. Эрнст лежал на земле, всхлипывая, с бледными дрожащими губами и со сведенными судорогой руками, и стонал:

— Я чуть не убил его! Павел. Павел, какой я дрянной человек! Я едва не убил ближнего своего.

Павел кивнул головой и сказал трезвым успокоительным голосом:—Да, ведь, он не умер!

— Но убивать, отнимать от человека драгоценнейший дар—жизнь, ведь это—непростительный грех.

— Это зависит от того, кого и за что убил,—сухо возразил Павел.

Эрнст присел на землю и уставился на брата широко раскрытыми глазами:—Что?... Как ты сказал?

— Когда кто-нибудь заслуживает смерти, когда его жизнь вредна другим, то его следует убивать,—смело ответил Павел.—Но, конечно, это нужно делать не в гневе, а по зрелом размышлении.

— А святость человеческой жизни?

— Это все глупая болтовня. Ведь, не можешь-же ты серьезно думать, что жизнь человека, угнетающего других, следует считать святою...

— Однако...

— Это детская сентиментальность: приносить в жертву тысячи, чтобы пощадить одного.

— Да, но сознание, что ты убийца...

— Твои личные чувства не играют никакой роли; все дело в цели.

— Ты бы мог пойти в солдаты, убивать на войне врагов?

— Нет, потому что там мне пришлось бы убивать братьев. Но если бы мы, пролетарии, имели собственное войско для защиты наших прав и нашей свободы, я бы, конечно, вступил в его ряды.

— Я тебя не понимаю.

— Потому что ты вечно витаешь в облаках и спускаешься на землю только тогда, когда чувствуешь приливы гнева. Взгляни на вещи трезво, перестань мечтать, тряпка!—Он любовно погладил взлохмаченную голову брата.—Теперь вставай, встряхни с себя пыль и пойдем обедать; это лучшее, что ты можешь сделать.

Андрей Мерц любил обоих своих сыновей, но некоторую слабость он все же чувствовал к своему старшему сыну, казавшемуся ему более слабым и более нуждающимся в защите, чем Павел. Он понимал тяжелые, колеблющиеся настроения своего старшего мальчика; они напоминали ему его собственную молодость. Он охотно избавил бы сына от всяких испытаний, но Руфь держалась другого мнения.

— В наши дни не нужны мечтатели и проповедники милосердия,—говорила она,—позднее, когда победа будет одержана, найдется место и для подобных людей, но теперь им не место среди нас.

И все-таки, когда Эрнста взяли на военную службу, она заперлась в своей комнате и горько рыдала. Она отлично знала, чем будет эта жизнь для ее сына, знала, как несказанно сильно он будет страдать от нее. Эрнст писал домой отчаянные письма; ему казалось, что он утратил свое человеческое достоинство, его сводила с ума эта бессмысленная муштровка и обращение офицеров и унтер-офицеров.

„Когда я подумаю, что нас систематически обучают убийству, меня охватывает холодный ужас; я едва могу держать ружье в руке. И как это все бессмысленно. Если бы человека, упражняющегося в стрельбе, спросили: „что ты делаешь?“ и услышали бы в ответ: „я учусь убивать людей,“—его приняли бы за сумасшедшего или, как преступника, посадили бы в исправительное заведение. А здесь этим занимаются тысячи людей, и все находят, что это в порядке вещей.“

— Почему он пишет об этом нам?—спросил Павел с плохо скрываемой досадой.—Мы это знаем и без него. Ему следовало бы говорить об этом своим товарищам.—Тем не менее ему от души жаль было брата, и он считал недели, отделяющие Эрнста от освобождения.

Жаркие летние дни следовали один за другим. На всех полях созревший хлеб ждал жнецов. Однажды Павел работал вместе с отцом в маленьком огороде. Руфь сидела на скамеечке перед домом с шитьем в руках.

— Через пять недель Эрнст вернется домой,—воскликнул Павел, проходя мимо матери, и Руфь радостно кивнула головой:—мой милый мальчик, он и сам, вероятно, считает дни.

— Пять недель скоро пройдут,—послышался голос Андрея Мерц,—что такое пять недель?

* * *

Пять недель спустя Эрнст Мерц со своим полком переходил бельгийскую границу.

ГЛАВА XIX.

Эрнст писал домой несколько раз коротенькие открытки, на которых дрожащим почерком бывало написано: „Я жив, не ранен и шлю вам привет". Письма приходили в течение первых двух месяцев, затем известия прекратились. Тяжелая грусть лежала над домом Андрея Мерц, грусть не только о погибшем сыне, но и о крушении всего того, что им казалось несокрушимым. Даже Павел ходил, как оглушенный в течение нескольких недель, затем как-то вечером он шепнул матери:

— Теперь нужно усиленно работать, мать. Слепую ненависть, которую все питают против творящих несправедливость, нужно использовать, она должна быть направлена против тех, кто ее заслуживает. Помоги мне встряхнуть отца. Он молчит, не поднимает голоса против постыдной политики партии и целиком ушел в свое горе. Как раз теперь нам нужны все наличные силы.

Она с любовью взглянула на него.—Это опасная работа, Павел.

Он с тревогой в голосе спросил ее:—Ты ведь не будешь меня удерживать, мама? Из страха...

— Нет, голубчик, но будь осторожен ради великого дела и хотя бы отчасти из любви ко мне. Не забывай, что у меня остался только один сын и что я—только человек.

Он смущенно засмеялся, стараясь скрыть охватившую его радость.—Ох уж эти женщины! Знаешь-ли, я не верю, что Эрнст убит.

Он не был убит. В мрачную, бурную ноябрьскую ночь, он вернулся домой, как затравленный зверь, полубезумный от ужаса. Лицо его было бело, как мел, и искажено, глаза

налиты кровью, военный мундир висел клочьями, был весь загажен. Он открыл дверь в кухню, неверными шагами вошел, и кашляя, и задыхаясь повторял одни и те же слова:

— Спрячьте меня! спрячьте меня! Я не хочу возвращаться! не хочу! не хочу!

Они спрятали его в погребе, устроили ему там постель, а перед дверью поставили ящики и бочки. Он не произносил ни слова, лежал, дрожа всеми членами и глядя перед собою широко раскрытыми, полными ужаса глазами.

Только когда Руфь хотела погасить свечку, он закричал:— Нет, нет, я боюсь темноты, мимо меня ходят тени, я слышу трупный запах,—он заплакал, как ребенок, и стал умолять мать,—не гаси свечку, мама, не гаси.

Под утро он заснул глубоким сном и проснулся только к вечеру. Теперь он говорил беспрерывно, бессвязно, голос его то опускался до едва уловимого шопота, то поднимался до истерического крика. Андрей Мерц и Руфь с ужасом прислушивались к его словам.

— Это ад, мама... знаешь ли ты, что это такое? Трупы... трупы... в воздухе носится смерть... перед тобою, рядом с тобою падают убитые люди. Они только что жили, были людьми и в один момент превращаются в нечто окаменевшее, никому не нужное, что на следующий день пожирают вороны... Нам дали в руки оружие и сказали, что мы должны убивать. Убивать... Ты знаешь, мама, что я никогда не мог убить даже зверя, а тут я должен был убивать людей, своих ближних... Сначала я не хотел стрелять, но солдат, стоявший рядом со мной и жаждавший убийства, пожаловался на меня офицеру... тогда мне пришлось стрелять... я закрывал глаза... но, быть может, все-же какая нибудь пуля попала в человека. Мама...

Он закрыл лицо руками и тихо заплакал. Руфь обняла его и пыталась успокоить. Павел, смертельно бледный, с сжатыми кулаками стоял у постели брата, глотая душившие его жаркие, гневные слезы. Так вот как велика власть господ! Они отрывают нежного, любящего, кроткого человека от мирного занятия и принуждают его делаться убийцей. Ему пришел на память сияющий весенний день, когда Эрнст стоял на лугу и, протягивая вперед руки, громким голосом восклицал: „Как прекрасен мир! И отец говорит,

что настанет день, когда он будет прекрасен для всех. Мы все должны стремиться внести в жизнь людей красоту и счастье!"

Принести людям красоту и счастье! Вместо этого его послали к людям со штыком приносить смерть и отчаяние,— бедный Эрнст! „Пока я жив, я буду бороться против этих людей", поклялся Павел. „Я буду к ним безжалостен, так же, как они были безжалостны к тебе, брат, к вам, братья"!

Эрнст вскочил и дико озирался вокруг себя.—Павел, где Павел?

Он схватил брата за руку.—Ты еще не убивал, Павел? Никогда не делай этого. Если они тебя заставят, беги от них, отруби себе руку, но не иди с ними. Ты не знаешь, какой это ужас... Трупы... трупы... А офицеры смеются и шутят...

Он наклонился и боязливо зашептал:—Вы знаете, ведь, офицеры—не люди, а потому и мы не можем быть людьми. Им нужны машины, исполняющие их приказы, убивающие по приказу, поджигающие дома, стреляющие по женщинам и детям... Судорожная дрожь прошла по его телу.

— Когда же офицеры вернутся домой, опьяненные кровью, они захотят еще крови. Они заставят нас стрелять в своих, в наших отцов и братьев. Трупы... Трупы...

— Пока они сами не превратятся в трупы,—хмуро проворчал Павел.

Эрнст растерянно взглянул на брата.

— Они? Нет, от них нет никакого спасения... Они найдут и меня, уведут, опять заставят убивать. Спрячьте меня! Спрячьте меня —истерически кричал он.

— Успокойся, успокойся,—уговаривал сына Андрей Мерц.

— Они не найдут тебя, дитя мое. Успокойся, постарайся заснуть.

Прошли три мучительных дня. Руфь испуганно вздрагивала, когда слышала у порога чужие шаги; смертельный страх терзал ее сердце. Утром на четвертый день Анулька Прихода постучала в кухонное окно. Она еще больше растолстела, и ноги едва таскали ее грузное тело. Она почти никогда не выходила из дому и долгими часами сидела на скамеечке около своего дома с вечным вязаньем в руках. Если она решилась проделать такой далекий путь, на это должны были быть серьезные причины. Ужас ледяным коль-

цом сковал сердце Руфи, ее колени подгибались, руки дрожали, когда она отворила дверь.

Анулька тяжело опустилась на стул, едва переводя дыхание, и начала говорить:

— Люди говорят, что ваш сын скрывается, что он дезертир. Я ничего не хочу знать об этом, Руфь, но будьте осторожны.

Смертельно бледное лицо Руфи противоречило ее уверениям, что Эрнста в доме нет.

— Не пугайся, душенька. От меня никто ничего не узнает. Товарищи тоже будут молчать. Но чернорясник, поп, что-то пронюхал. Он был сегодня у меня, выспрашивал. Я сказала ему, что Эрнст в Бельгии, и что на прошлой неделе вы получили от него письмо. Я поклялась ему в этом спасением моей души, но он не поверил мне, да пошлет ему, проклятому негодяю, святая матерь божья костоеду!

Она передразнила елейный голос священника: „Если вы что нибудь знаете об этом, милая моя, то вы обязаны сообщить об этом полиции. Кто покидает отечество в минуту опасности, тот негодяй и не заслуживает никакого сострадания. Я бы сам пошел на войну, если бы мне не препятствовало мое святое призвание". Я сказала ему: „Конечно, господин патер, конечно, ваше преподобие правы". А сама про себя подумала: „Ты меня называешь милой женщиной, собака, свинья ты этакая, чтобы я предала своих друзей,—кукиш с маслом тебе, грязный поп!". Но все-таки будь осторожна, Руфь, он ненавидит твоего мужа, потому что он увел с собою из христианского союза многих товарищей.

Руфь растерянно смотрела на Анульку.—Что нам делать? Что нам делать?

— На будущей неделе я уезжаю домой. Не можем ли мы его увезти в мешке, под моими платьями? Венцель снесет мешок на вокзал. Но пять дней вам придется прождать. Францишек тоже попался, он писал мне из Швейцарии.

Руфь хотела излить свою благодарность толстой чешке.

— Глупости, если мы не будем держаться вместе в нашей борьбе против господ, то мы все наверное погибнем. Я бы с удовольствием разбила бритую макушку нашего попа, чорт бы его взял.—Она понизила голос и шопотом продолжала:— „Говорят, что сын тетки Матциг тоже вернулся; поп и о нем

спрашивал. Но Анулька умеет врать. Я ему сказала, что бедняга лежит в лазарете с отрезанной ногой. Он понял, что инвалиду не зачем бежать.

После ухода Анульки силы совершенно оставили Руфь. До сих пор она была самой сильной из всех, успокаивала полусумасшедшего сына, утешала Андрея, усмиряла гнев Павла. А теперь ей казалось, что кругом воцарился ужас и мрак. А что, если за ним придут? А что, если его найдут?... Ее охватило возмущение. Разве он вещь, которую можно утащить в любой момент? Ведь он живой человек, имеющий право сказать: „Я не хочу никого убивать". Что сделали для него люди, требующие теперь от него душу и тело? Они давали ему скудно оплачиваемую работу и под конец учили его убивать своих братьев. А она, Руфь, носившая, родившая и выкормившая его, воспитавшая его с невыразимою любовью, испытывая все время лишения и во всем себе отказывая, разве она не имела прав на своего сына? Неужели кто-нибудь, одетый в блестящую форму, посмеет взять от нее Эрнста, плоть от плоти ее, и поставить его под пушечные выстрелы? Неужели таков новый мир, для которого она предназначала своих детей? В чем мы ошиблись? Чего мы не предусмотрели? Что могло бы уничтожить эту страшную несправедливость? Пролетариат всего мира, женщины и матери всего мира должны помочь уничтожению этого зла! Почему мы до сих пор не узрели настоящей истины: пока власть находится не в наших руках, мы всегда будем жертвами злой воли меньшинства! Почему мы не стремились каждым своим словом, каждым своим движением, каждым вздохом к разрушению старого мира и к созданию нового? Наша постыдная слабость является основой могущества этих немногих. Мы боялись борьбы, а наши сыновья принесены в жертву кровавому богу войны. Мы щадили их жизнь, теперь же во всем мире льется кровь пролетариата.

Ее охватило отчаяние; она не смела итти в погреб, боясь, чтобы Эрнст не прочел правды на ее лице. Андрей и Павел были в шахте и вернулись только к обеду. В ожидании их Руфь все время подходила к окну, боясь, что в их отсутствие случится непоправимое.

Когда Андрей с сыном пришли, она сообщила им о посещении Анульки. Андрей молча схватил ее за руку, словно

ища в ней поддержки. Павел промолвил своим стальным голосом:—Я скорее собственоручно застрелю его, чем отдам им в руки.

— Только пусть Эрнст ничего не знает,—умоляла Руфь. Со вчерашнего дня, он как будто успокоился.

Они пошли в погреб, притворяясь спокойными и веселыми. Но Андрей долго не мог выдержать своей роли. Он ушел в своей маленький огород и стал колоть дрова.

На землю спустились сумерки. Павел ушел в деревню. Руфь, оставив спящего Эрнста, что-то стряпала в кухне. И вдруг увидела в окно три фигуры, три неясных силуэта, направлявшиеся к их дому. На одном из силуэтов была длинная черная одежда... Да, это был священник. Двое остальных... Что-то блестело на их одежде... Жандармы!

Руфь бросилась в сад.

— Андрей, они идут, оставайся здесь, продолжай колоть дрова, это внушает доверие. И не раздражай их, будь вежлив.

Она поспешила обратно к кухне и наскоро стала растапливать плиту.

Трое посторонних вошли в сад.

Андрей Мерц снял фуражку; ему казалось, что руки его налились свинцом, и он с усилием поднял голову. С трудом ворочая языком, не повиновавшимся ему, он пробормотал:

— Добрый вечер.

Он слышал голос Руфи, напевавший веселую песенку. Холодный ужас пронизал его,—как Руфь могла найти в себе силы так притворяться?

Священник и двое жандармов, обменявшись с Андреем несколькими словами, вошли в дом. Андрей хотел итти вместе с ними, но ноги его точно приросли к земле, и он со стоном опустился на скамейку. Сердце его билось так сильно, что ему казалось, будто гигантский колокол звучит у него в ушах. Перед глазами мелькали огненные круги.

Руфь приняла незванных и нежеланных гостей с полным спокойствием.

— Мой сын Эрнст, господин патер? Он в Бельгии, я на прошлой неделе получила от него открытку. Жаль что не могу показать ее, я послала ее своему отцу, старик так любит мальчика.

Андрей слышал ее спокойный, ровный голос; может быть, опасность не была так велика, иначе, как бы она могла выказывать такое спокойствие? Ему послышался скрипучий голос одного из жандармов:—Обыскать дом...

И спокойный ответ Руфи:—Пожалуйста.

Потом все стихло. Андрей ждал.

Ждал, как приговоренный к смерти. Ему послышалось, что в доме говорят повышенным тоном; он испугался... Неужели они его нашли?... Потом опять наступила тишина. Послышались шаги по лестнице, ведущей на чердак. Спускались ли они в погреб?... Миновала ли опасность? Или они начали обыск сверху?

Подошел Павел. Андрей сдавленным голосом прошептал: Они там. Пойди, помоги матери.

— А ты?

— Я останусь здесь, если я пойду туда, они сразу узнают правду. Я весь дрожу.

Павел подбежал к двери. Из дому послышался раздирающий душу голос:—Мама! Мама!

— Они нашли его,—неестественно спокойным тоном произнес Павел.—Не застрелить ли мне его, когда они его поведут мимо меня?

— Нет, Павел, нет. Они, ведь, увидят, что он болен, что он почти сумасшедший. Они сжалятся над ним. Павел, ты не должен...

Послышался топот тяжелых шагов. Между двумя жандармами, пошатываясь, шел Эрнст с закованными руками. Он шел, точно во сне; его глаза были устремлены вдаль, но казалось, что он ничего не видит, его лицо имело пепельно-серый оттенок. Шествие заключал священник. У дверей Павел натолкнулся на мать и едва успел принять падающую женщину в свои объятия.

Священник остановился перед Андреем, державшим топор в судорожно-сжатой руке. Он не слышал слов священника. До его уха доносились отдельные слова... „Немец, любящий свое отечество“... Андрей громко рассмеялся. Затем он услышал, что священник обратился к жандармам, и его слова дошли до сознания Андрея:

— Это не единственный, забывший честь дезертир. Мы



Между двумя жандармами, пошатываясь, шел Эрнст с закованными руками...

должны пройти на другой конец деревни, потому что сын тетки...

Он не произнес имени, не успел произнести его на земле и, вероятно, не сможет произнести его в вечности. Безумная мысль мелькнула в потрясенном уме Андрея. Неужели чернорясинику недостаточно одной жертвы? Ведь, юноша, стоявший на дворе между двумя жандармами со скованными руками, был уже потерян для жизни, был полумертв. Но другой сын, о котором заикнулся поп, еще жив, еще сможет спастись, если он, Андрей, помешает попу произнести его имя. Сын, безразлично, чей сын... Он должен быть спасен...

Сильная, привыкшая к тяжелой работе, рука Андрея поднялась, и топор со свистом упал на голову священника.

Андрей Мерц увидел, что к ногам его упало что-то черное, услышал крик Руфи: „Андрей“, почувствовал, что сильные руки Павла обняли его.

Он сделал шаг вперед, спокойно сказал:—Я спас его,—и истерически зарыдал.

ГЛАВА XX.

Андрей Мерц осмотрелся в своей камере. Через решетчатое окно падал косой луч солнца и рисовал блестящие, золотые круги на пыльном полу. Андрей пристально смотрел на эти рисунки; в его отуманенном мозгу всплывали какие-то неясные воспоминания, он громко проговорил:— Солнце, свет.

Эти слова, первые слова, произнесенные Андреем с момента его ареста, словно прорвали плотину, задерживавшую бег его мыслей; воспоминания бурною волною хлынули на него и грозили затопить. Сначала это были сбивчивые, смутные, несвязные мысли, в которых он не мог разобраться. Эти мысли, эти воспоминания причиняли ему острую физическую боль, и Андрей отгонял их от себя, как утопающий последним усилием пытается оттолкнуть от себя заливающие его волны. Ему казалось, что если он не выяснит хоть одну совершенно отчетливую мысль, то поток этот увлечет его за собой в пропасть.

Что случилось? как это случилось?

Что-то черное с седеющим окровавленным черепом лежало у его ног. Какое-то недосказанное слово, какое-то имя дрожало в воздухе и тяжелым свинцовым грузом упало ему на сердце. Кто-то громко оклинул его по имени. Кто это был, Руфь? да, Руфь. Почему она была так бледна, так расстроена? И кто это стоял у ворот сада, между двумя жандармами, со скованными руками? Его сын? Ах нет, его сын, ведь, убит, они его расстреляли. Но кто-то там стоял, связанный, беззащитный. Человек? Нет, все человечество, воплощенное в одном человеке. Он, Андрей Мерц, хотел спасти его, хотел разорвать его узы...

Потом кто-то засмеялся, так громко, так ужасно засмеялся; кто бы это мог быть? Это не Руфь,—она плакала, и не Павел—тот все время спокойно повторял: „Успокойся, отец, успокойся“. Может быть он сам?

Благодетельная ночь распустила над ним свои крылья. Все было черно перед его глазами, в его мозгу, в его сердце. Черно, как подземная шахта...

Большой светлый зал. На возвышении сидят люди в длинных черных одеждах, Андрей стоит междя двумя жандармами. Почему? разве он тоже дезертир? Встает какой-то чужой человек. Где он с ним встречался? Где он видел это лицо с заостренными чертами, эти темные глаза, полузакрытые очками? Этот человек говорит, упоминает какого то обвиняемого и при этом указывает на него. Разве он, Андрей Мерц, обвиняемый? В чем же его обвиняют? В освобождении человечества? Разве это преступление. Человек в очках, повидимому, дружески расположен к нему, он так хорошо говорит о нем, пытается что-то объяснить черным людям, сидящим на возвышении, краснеет и сердится, что они его не понимают и не хотят понять. Но зачем он так много говорит. Ему следовало бы только сказать: „Андрей Мерц увидел скованного человека; долг каждого человека повелевает ему освобождать скованных людей. Андрей Мерц только исполнил свой долг“. Разумеется, тогда бы люди поняли его.

Сверху упало слово: „убийство“.

Андрей Мерц прислушался. Убийство? Разве они убили скованного человека, беззащитного?

Человек в очках гневается, его голос повышается, он мечет громы и молнии в черных людей, но те остаются непреклонны.

Что все это значит?

Андрей Мерц неясно чувствует, что перед ним происходит жестокая борьба. Но ради чего она происходит? И почему человек в очках оказывается его другом? Почему другие, все другие кажутся его врагами?

Он напрягает все усилия, чтобы понять; но опять его заливают черные волны воспоминаний и смывают всякий проблеск ясной мысли. Он закрывает глаза, смутно различает голоса, но не реагирует на них, не понимает их.

Ему кажется, что прошли часы, дни, годы... Он не может точно установить, сколько времени прошло. В большом зале зажглись огни. Человек в очках отирает пот со лба, он бледен, выглядит таким старым и усталым.

Мертвая тишина. Зловещее напряжение чувствуется в воздухе. Андрею Мерц кажется, что кругом раздаются вздохи. Кто это так тяжело вздыхает? Чего ждут все эти люди?

Черный человек произносит слова: „смертный приговор... помилование... заменяется...“ По залу проносится вздох облегчения. Андрей Мерц скорее чувствует, чем видит, что на него обращены сотни глаз. Еще раз напряжение поглощает всякий звук.

В тишине на толпу падают два слова, тяжелые и холодные, как ледяные глыбы:

„Пожизненное заключение“.

Слышится женский вопль. Кто это кричит? Руфь? Почему же она кричит? И в мозгу сразу кристаллизуется ясная, до ужаса отчетливая мысль: человек приговорен к пожизненному заключению и этот человек—он, Андрей Мерц.

Но почему же эта женщина так громко вскрикнула? Почему же на весь зал раздаются чьи-то рыдания? Разве они приговорили его к чему-то, что не было ему предназначено с самого момента его рождения? Разве он не прожил всю свою жизнь в тюрьме бедности? Разве для пролетария весь свет не представляется тюрьмою, местом заключения? Разве вся жизнь его не проходит между двумя жандармами? Тут не нужны слезы, не нужны крики, тут нужно другое...

Человек в очках подходит к нему, говорит с ним тихим, задушевным голосом. У него в глазах стоят настоящие слезы и голос его дрожит от волнения. Андрей ощущает потребность утешить человека в очках, своего доселе незнакомого друга, он протягивает ему руку и говорит: „Это ничего“.

Человек в очках изумленно глядит на него, до боли крепко сжимает протянутую руку и задыхающимся голосом произносит: „Вы—герой“.

Андрей смеется. Герой! Кто достоин называться героем, пока существует старый мир, это чудовищная тюрьма, пока существуют на свете скованные люди?

Затем в его объятия падает Руфь; она плачет жалкими бессильными слезами. Такою он никогда еще ее не видел. Он целует ее залитое слезами лицо, гладит ее мягкие волосы Рядом стоит Павел, бледный с жестоким выражением своих стальных глаз. „Мы тебя вызволим, отец,“ говорит он „скоро“.

Андрей Мерц с довольным видом кивает головой: он это знает. Придет день, когда тюрьмы откроются, и весь народ, скованный по рукам и ногам, будет освобожден от своих цепей.

Все последующее кажется ему тяжелым сном, от которого он пробудился только сегодня. Он кладет мозолистую руку на горящий лоб, смотрит на солнечные блики, мерцающие на полу, пока из всех углов не выступают тени, поглощающие свет.

* * *

Значит это была тюрьма. Кругом царила тишина, такая холодная, такая жуткая тишина. Точно в комнате умирающег о. И все же в этих стенах жили люди, дышали, стремились к свободе. Странно, почему их стремления громким криком не вырываются сквозь камни, странно, что их желания недостаточно сильны, чтобы выломать эти двери. Что знают люди о своих соседях? Чувствуют ли они, что их связывает общее страдание? Кто сидит рядом с ним, в соседней камере? Давно-ли они пришли сюда, бурлит ли еще в них дикий гнев и жажда свободы, или они здесь находятся так давно, что в них притупилось всякое чувство?

Андрей Мерц сделал несколько шагов—раз, два, три, на четвертом он натолкнулся на стену. Он горько рассмеялся. Значит враги могут нам предписывать даже количество шагов, которые мы имеем право делать в тюрьме. Может быть им удастся предписать количество мыслей, роящихся в нашем мозгу? Правда, количество шагов было ими предусмотрено для нас и на свободе, мы, ведь, всегда жили в указанных границах. Там, где начиналась свобода, жизнь и счастье, там они воздвигали стену, о которую мы разбивали свои головы. И мы сами, наше проклятое терпение носило камни для постройки этой тюрьмы. Четыре шага—это немного, но разве раньше мы пользовались широкой свободой?

Свобода была достоянием немногих, их шаги не учитывались, на них не было цепей, а мы так терпеливо носили наши оковы. Свобода немногих является результатом чересчур большого снисхождения с нашей стороны.

Как тихо кругом! Тишина впивалась в сердце Андрея, холодными пальцами сдавливала его горло. Он упрямо ходил по своей клетке, для того, чтобы слышать звук своих шагов. Но страшная тишина поглощала этот звук, пожирала его, как голодный дикий зверь. Андрей испывал странное чувство, ему мерещилось, что его камера пуста, и что сам он—бестелесное существо, страдание которого беспокойно мечется в этом тесном пространстве. Холодный пот выступил у него на лбу. Жив ли он, существует ли его тело? Дрожащими руками он ощупывает себя; облегченно вздыхает, нащупав железные мускулы на руках. Хоть бы один звук услышать, хоть бы один звук пронизал эту мертвую серую тишину, слово, шаги, тикание часов... Но тишина становилась все грознее, заполняла всю камеру, сдавливала его мозг и навалилась на него, чтобы раздавить его. Если бы он мог крикнуть, чтобы слышать собственный голос. Он открыл рот, но ни один звук не вырвался из его сдавленного горла. Он забился в угол и сжался от страха в комок. В камере было совершенно темно; над всем царила чудовищная, страшная тишина. Он боялся сойти с ума. Боже мой, хоть бы услышать какой-нибудь звук...

Красные огни плясали у него в глазах; он запустил ногти в свою сжатую руку, из груди его вырывалось тяжелое хрипение.

Как могут люди причинять своим ближним такую пытку, такую несказанную муку? как это возможно? И мозг его просверлили два слова, которые он оставил совершенно без внимания, там, в большом зале,—„пожизненное заключение.“ Пожизненное! Значит всегда будет то же самое; все дни, все часы до самой своей смерти будет его душить та же страшная тишина, будет гигантским призраком стоять в камере, властвуя над всем. Только теперь понял он, почему человек в очках был так потрясен,—он наверное знал, что значит „пожизненное заключение“. И воспоминания о человеке в очках влило некоторое утешение в больную душу Андрея Мерц. Этот человек был его другом; он жил на сво-

боде и он был не единственным другом Андрея: Руфь, Павел, товарищи,—нет, он не был всеми покинут, ему следует подбодриться, найти в себе мужество ждать. Среди тишины ему послышался ясный голос Павла: „Мы вызволим тебя, отец. Скоро“.

Заливаясь слезами, но чувствуя прилив бодрости, Андрей Мерц свалился на холодный каменный пол.

* * *

Затем потянулись серые однообразные дни, и мало-помалу Андрей Мерц пришел в себя и успокоился. Хотя у него не было книг, хотя ему не разрешено было чем-нибудь заниматься, он совершенно не испытывал скуки. Его мысли блуждали в прошлом. Перед его умственными очами проходила вся его жизнь. И не только его собственная жизнь, но также и жизнь тех, с которыми ему приходилось входить в соприкосновение. Он вновь переживал черные, как ночь, часы, проведенные в шахте, когда маленький Андрей дрожал от страха, видел луч света, блеснувший из скромной хижины Марты Туссек, слышал вдохновенные слова Павла Леэра. Вот идет грозная волна первой забастовки и разбивается о плотину капитализма. Андрею вспоминаются годы работы среди товарищей, вспоминается, как они все больше и больше сплачивались вокруг него, вспомнилось наступление рассвета в угольном районе. Что же потом случилось? Новое рабство, погнавшее людей на поля сражения, толкнувшее людей на убийство своих братьев под кнутом военщины. Вопросы, волновавшие Руфь, пришли ему в голову: чего мы не доделали, что нами не предусмотрено? Медленно, постепенно, стремясь уяснить себе положение вещей, он нашел ответ на эти вопросы: мы дали себя одурачить реформистам, довольствовались крохами, брошенными нам с барского стола, мы воображали, что борьбы духа будет достаточно для завоевания мира. Другие были умнее, они знали, что мало духовной работы, знали, что нужно поддерживать ее силой. Ему вспомнился Павел Леэр. Он сказал ему в одну горькую минуту, что между двумя мирами, между пролетариатом и буржуазией не может быть примирения, лишь глупцы могут верить в возможность этого примерения. Если рабочий хочет добиться своих прав, он должен господствовать, должен

угнетать других, если в этом встретится надобность, пока они не научатся подчиняться новому порядку. Руководители партии, толкующие о мирной победе—глупцы или обманщики. В минуту нужды они позорно изменили своим идеалам. Нужно создать новую партию, способную отбросить от себя пережитки буржуазных предрассудков, настоящую рабочую, революционную партию. Молодежь давно мечтала об этом. Андрей подумал о своем Павле; этот без всякого доверия относился к учению своей партии, требовал большего, требовал другой тактики. И Андрею вспоминались сверстники его сына, стремившиеся к тому же. Этим надлежит выиграть сражение. Старики и те, которые еще цепляются за устаревшие догматы, должны отойти в сторону. Но сделают ли они это? Не захотят ли они во что бы то ни стало спасти собственное могущество, даже ценою предательства? Разве они не доказали этого, тормозя всякое свободное движение рабочего класса? Разве они уже не превратились в союзников буржуазии? Руководители действовали и продолжают действовать вполне сознательно, а массы...массы еще недостаточно проникнуты сознанием своих прав.

Волны гнева поднимались в сердце узника, когда эти мысли окончательно выяснились. Он беспокойно ходил взад и вперед, четыре шага вперед, четыре шага назад. Разве партия так же точно не ограничивала наступательное движение пролетариата, разве она не вынуждала его после каждого шага вперед делать шаг назад? Андрей сжал кулаки; надо уйти из этой партии, превратившейся из друга во врага, в противника, еще более опасного, нежели буржуазия, потому что многие еще предполагают в ней друга, еще верят ее лживым словам...

В течение нескольких месяцев он был совершенно отрезан от внешнего мира. Ни одно письмо, ни одно известие не проникало в тишину его камеры. Только его мысли населяли узкую клетку, мучили и утешали его, нападали на него и помогали ему.

Ему часто случалось говорить с самим собою: „Когда я буду опять на свободе, я буду работать совсем иначе, теперь я знаю, что нужно делать“.

Ледяной холод пробегал по его телу. Ведь, он никогда не выйдет, он осужден на пожизненное заключение. Этой мысли он никак не мог вполне усвоить. Пожизненное заключение обозначает: все дни его жизни до самой смерти... нет, это было невозможно, это не могло быть. Что-нибудь случится, что взорвет ворота тюрьмы, освободит заключенных, нет, не „что-нибудь“, а нечто определенное, единственно способное совершить это: Революция.

Павел верил в это, верил, что она скоро наступит. Он был молод, его глаза были более проницательны. Как странно все это! Разве не вчера еще он сам, Андрей Мерц, принадлежал к молодежи, протест которой встречал неодобрение стариков, качавших головой при резких выступлениях Андрея и его сверстников? А теперь он сам старик; но он понимает молодежь, он пойдет с нею, несмотря на то, что его усталые глаза иначе воспринимают все окружающее.

Собственно говоря, он вовсе еще не стар,—ему за сорок лет. Правда, непосильный труд в шахте преждевременно состарил его. Ведь, продолжительная молодость является привилегией богатых. Эти разбойники, как их называл Францишек, крали у своих рабов все, чтобы воспользоваться награбленным.

Результаты его размышлений сводились к следующему: пролетарская масса под гнетом эксплоатации и рабства, выработала нечеловеческое терпение. Бесконечные годы угнетения и приниженности притупили в ней всякое сознание своих прав. Но теперь она начинает прозревать правду; яркий луч света указал ей неотъемлемые ее права и виновность других. Чем ярче будет гореть этот луч света, чем больше он будет разгонять густую тьму, тем ближе день избавления.

* * *

Где-то на земле наступила весна. Сквозь высокое решетчатое окно Андрей видел крошечный кусочек голубого неба; в камере стало светлее, и ветер изредка доносил до него аромат цветов.

Сознание того, что тюремные стены навек сомкнулись над ним, проникло, наконец, в сознание Андрея Мерц. С каждым днем его камера казалась ему уже и уже; прогулки по тюремному двору являлись для него мучением: стены,

стены, куда бы он ни взглянул, всюду только стены. Безумная жажда свободы охватила его; жажда видеть широкие долины, ощущать грозные бури, ринуться в неизвестное, в безграничное. Где-то распускаются деревья, расцветают фиалки, где-то солнечные лучи освещают облака... где-то на свете живут люди, свободно дышат, их не давят тюремные стены.

Иногда его охватывал безумный гнев; он колотил кулаками в стену своей камеры, словно надеясь пробить их. Его мозг сверлила мысль, что где-то на свете идет борьба права с несправедливостью, а он должен сидеть здесь, беспомощный, бессильный...

Ночью ему снилось бегство, освобождение. Во сне случались чудеса; тюремные стены рушились, он вырывался на свободу, перед ним раскрывался новый свободный мир. Или слышались певучие голоса. Молодой голос Павла заглушал пение, и ему слышались слова сына: „Мы идем, мы победили"! В его камеру врывались, люди, радостные, молодые с сияющими лицами. Иногда ему снилось, что к тюрьме подходит толпа и над нею колышется красное знамя.

Просыпаясь, он видел перед собой все те же каменные стены, все то же решетчатое окно, и безумное отчаяние отравляло его душу.

Он не отдавал себе отчета в том, сколько месяцев или лет он провел в тюрьме.

Наконец, ему разрешили свидание; через долгие промежутки времени, приходила к нему Руфь и в присутствии сторожа говорила с ним. Ему хотелось о многом расспросить ее, ей хотелось многое сказать ему; но при взгляде на человека, облеченного в тюремный мундир, слова застревали в горле. Как безжалостно жестоко поступали люди, не давая этим несчастным несколько минут пробыть наедине! Он спрашивал о Павле; Руфь отвечала уклончиво, что ему живется хорошо и что он больше не работает в шахте.

Когда она уходила, Андрея охватывал безумный страх: почему она так мало говорит о Павле? Быть может, с ним что-нибудь случилось, и она не посмела сообщить об этом отцу! Да, наверное это так. Руфь так бледна, лицо ее носит следы страдания. Быть может, Павел уже убит, как и его брат. Эта мысль мучила его, доводила его до сумасшествия.

Как бесконечно тянулись дни! Ему сказали, что Руфь может навещать его раз в месяц. Но эти бесконечные дни и ночи казались ему вечностью. Как жестоко не пускать к нему жену чаще. Наверное Павел умер. И Эрнст тоже умер. У него было когда-то двое сыновей, двое прекрасных, милых сыновей, и оба они умерли. Но, может быть, Павел только болен или сидит в тюрьме?

Ночь спускалась на землю; проходил еще день, а Руфи все не было. Быть может, она больше совсем не придет, она, вероятно, тоже умерла.

Все эти мучительные вопросы и размышления терзали душу Андрея. Когда, наконец, Руфь пришла невестить его, он едва мог дотащиться до места свидания и уже на пороге дрожащим голосом крикнул ей:—Скажи мне правду, Руфь, Павел умер?

Она успокоила его, показав письмо от Павла. У него кружилась голова, он безумными глазами смотрел на жену.

— Почему ты так странно смотришь на меня, Андрей?

— Мне бы хотелось рассмотреть твое лицо, дорогая, но все расплывается у меня в глазах, мне кажется, что все покрыто серой дымкой.

Она озабоченно взглянула на него.

— Это с тобою случилось в первый раз сегодня?

— Нет, вот уже несколько месяцев, как от яркого света мои глаза болят, я совсем не могу читать, буквы сливаются перед глазами, и мне все кажется, что на моем лице надета густая серая вуаль.

— Ты говорил с доктором?

— Да, доктор приходил, но он исследовал меня очень поверхностно и заявил, что это „тюремная истерия“.

Кровь бросилась в лицо Руфи.

— Значит вы здесь сможете болеть и околевать без всякой помощи, как скотина?

Она повысила голос; сторож подошел к ней и властно заявил:

— Здесь не подобает говорить таким образом. Если заключенный желает жаловаться на что-нибудь, он должен обратиться по начальству.

Руфь обернулась к нему и заговорила тихим, полным страдания голосом:—Заключенный! Да разве заключенный не человек?

Сторож смутился:—Человек... конечно... Но все же не следует жаловаться. Впрочем, время свидания уже прошло. и вам уже пора уходить, госпожа Мерц.

Руфь обняла Андрея и шепнула ему на ухо:—Будь здоров, не теряй мужества. Все это скоро кончится.

Он удивленно глядел ей вслед. Что могли обозначать ее слова?

ГЛАВА XXI.

Летние солнечные дни казались Андрею Мерц странно темными. Даже в полдень его камера лежала в сумраке. Однажды он удивил одного из сторожей, старого приветливого человека, вопросом: „Разве сегодня опять дождь идет?"

— Что с вами? Разве вы не видите, какое сегодня ясное голубое небо?

Жуткий страх впился в душу Андрея Мерц. Когда он был еще подростком, у него на глазах Петр Леэр постепенно терял зрение. Старику тоже все время казалось, что вокруг него темнота. Неужели эта ночь, вечная недоступная даже яркому солнечному свету, покроет его? Ведь, в сущности, он никогда не видел настоящего света; когда наступит светлый праздник, его слепые глаза не смогут увидеть его...

Он заметно старился; его густые волосы поседели, высокий, когда-то стройный стан сгорбился, члены его постоянно подергивались, лицо приобрело серый оттенок, и он выглядел гораздо старше своих лет. При каждом новом свидании Руфь с болью в сердце следила за постепенным разрушением его организма.

Однажды утром Андрей с ужасом убедился, что он ослеп. Он не вставал с нар, пока не пришел сторож. Он не мог различить лица сторожа. Все его мужество, вся гордость сломились перед этим несчастьем. С громким рыданием он бросился на колени перед сторожем.

— Позовите врача, ради бога, позовите,—я слепну! Знаете ли вы, что это значит? Сжальтесь надо мной, позовите врача!

Он бесновался, как сумасшедший, рвал на себе одежду и невыразимо страшным голосом кричал: „Ослеп! ослеп! ослеп!"

Пришел врач. Андрей с трудом понял его:—Темная вода... операция... впоследствии...

Разумеется... Впоследствии... У врача были здоровые глаза, и ему, конечно, было безразлично, что в тюремной камере слепой переживает мучительную пытку.

К его прежней тюрьме прибавилась вторая тюрьма, сотканная из вечного мрака. Бывали дни, когда Андрей смутно различал окружающие предметы, но они являлись ему в таком искаженном виде, что он предпочел бы полную слепоту, совершенную ночь этому ужасному полумраку.

Он сидел на нарах и что-то бессмысленно бормотал, точно ум его помутился. В душе его царил гнев против всего и всех; он ненавидел не только своих врагов, заточивших его в тюрьму, навлекших на него слепоту, он ненавидел даже прежних друзей своих, даже Руфь и Павла. Они должны были бы спасти его, пока это последнее несчастие не обрушилось на него. Если бы они пожелали, они, конечно, могли бы его спасти. Но они свободны, их глаза не потеряли способности видеть,—какое им дело, что он здесь погибает?

Он отказался от свиданий с Руфью и просил сообщить ей, чтобы она пришла лишь тогда, когда он попросит ее об этом. Она покорилась его желанию.

Раньше он отсчитывал месяцы по своим свиданиям с женой. Теперь она больше не приходила, и он потерял счет дням. День и ночь не имели для него никакой разницы. Он спустился в горнило страданий, узнал все муки одиноких, покинутых людей. В голове у него отчетливо обрисовывался лишь один вопрос: почему я ослеп? И он додумался до ответа: „Потому что я еще маленьким ребенком должен был работать в подземной шахте, потому что я годами жил во мраке ночи, потому что моим усталым глазам некогда было отдохнуть, потому что меня, как дикого зверя, посадили в клетку и обращались со мной хуже, чем с рабочим скотом. Теперь они не нуждаются во мне и потому оставляют меня погибать в тюрьме. Разве они интересуются тем, видит заключенный что-нибудь или нет?

И в его мыслях эти „они“ приобретали осязательные формы. Они — враги, господа, собственники, они — разбойники и убийцы, подстерегающие даже жизнь пролетарского



Андрей смутно различал окружающие предметы...

ребенка, заставляя работать беременных женщин. Они прячутся за каждым выступом, за каждым поворотом жизненного пути пролетария, набрасываются на несчастного, грабят его, убивают...

Бессильный гнев заставлял Андрея сжимать кулаки и биться головой о стену. Иногда на него находили припадки буйного помешательства, тогда он кричал раздирающим голосом: „Бейте их! Бейте! Пусть они страдают, как страдаем мы, пусть они почувствуют всю безысходную скорбь нашей жизни“.

Иногда к нему в камеру заходил пастор, хорошо упитанный, красивый блондин с большой бородой. Он был полон снисходительного терпения, произносил елейные утешения.

— Вы не должны отчаиваться, друг мой. Тот, кто возвращал зрение слепым, может вернуть свет и вашим очам!

Андрей вперял в него свои незрячие глаза.

— Он не возвратил зрения слепым, мы все до сих пор еще слепы. Если бы мы прозрели, то вы и вам подобные давно сидели бы в тюрьме, в кандалах, а мы были бы свободны.

— Если бы вы знали, друг мой, как отвратительна ненависть, наполняющая ваше сердце!

Андрей Мерц отвечал горьким смехом.

— А знаете ли вы, господин пастор, кто посеял эту ненависть в наших сердцах?

— Я вас не понимаю.

— Вы сами посеяли ее, своими собственными руками. Теперь жатва созрела, теперь вы дрожите, и боитесь, и говорите нам о заповедях любви. Неужели голодный может любить сытого, голый—одетого, несчастный—счастливого? Неужели он должен мириться с этим: „У тебя есть все, брат мой, а я лишен всего,—это превосходно, я и впредь буду служить тебе и работать, чтобы украсить твою жизнь; мне вполне достаточно тех крох, которые ты из жалости бросаешь мне, чтобы я не умер с голоду“. Вы поработили нас, вы попирали нас ногами, а теперь, когда вы испугались нашего могущества, вы приходите к нам и пытаетесь нас убедить, что мир есть любовь и что все мы братья. Почему же вы не вспоминали об этой любви, об этом братстве,

когда мы трудились, как рабочий скот, жили в вонючих лачужках, голодали, мерзли и издыхали на полях сражения? Тот, за слугу которого вы себя выдаете, великий революционер, показал нам, что мы должны делать; он выгнал из храма торгующих, осквернявших этот храм; по его примеру и мы должны изгнать торгующих из храма человечества, людей, совершающих сделки над живою плотью и кровью.

Андрей Мерц предпочитал разговаривать со старым сторожем. Этот последний часто старался успокоить и утешить заключенного.

— Мы, ведь, тоже люди,—говорил он.—Неужели ты думаешь, что нам доставляет удовольствие караулить людей, словно скот? Начальство приказывает, а вы на нас смотрите, как на диких зверей. Что касается меня, я бы с удовольствием раскрыл ворота, да и сказал бы вам... бегите скорее, бедные вы глупцы. Если даже вы виновны в воровстве или убийстве, так, ведь, свет создан так, что человек иногда бывает вынужден совершить преступление. Богатым гораздо легче быть честными. Право, иногда мне хочется ослепнуть, чтобы не видеть того, что происходит на свете.

Иногда сторож рассказывал ему о том, что творится на свете.

— Чудные дела творятся,—бурчал он,—господа борются за свою власть, а, ведь, народ-то сильнее их. Если они схватятся между собою, то победит народ, теперь, ведь, дерутся не одними словами, народ вооружен, у него есть свое войско. А во главе идет молодежь. Кто знает, номер 77, может и ты скоро выйдешь на свободу. Когда рабочие побеждают, они прежде всего открывают тюрьмы и выпускают заключенных. На-днях я видел в городе шествие. Десятки тысяч мужчин и женщин шли за красным флагом. Здорово хорошо шли, маршировали, как стена. Это сила! А на площади стояли солдаты с пулеметами. Офицеры, эти разряженные канальи, скомандовали, открыть огонь! Но солдаты даже не пошевельнулись. Ты подумай только,—солдаты-то даже не шелохнулись. Сначала я даже не сообразил, в чем дело, а потом мне стало самому смешно. Как-же солдаты могут стрелять в рабочих? Они, ведь, сами сыновья рабочих; их родители, братья и сестры их принадлежат к пролетариату. Наконец-то они поняли это. Офицер бросился к пулемету,

а рядом с ним стоял совсем молодой солдатик, почти мальчик. Прежде чем офицер успел направить пулемет на толпу, солдатик поднял ружье и прострелил ему голову.

Незрячие глаза Андрея Мерц засияли странным, нечеловеческим блеском. Значит ему все же довелось дожить до революции. Он помог ее возникновению, он подготовил ее целыми годами ученья и пропаганды, хотя в эту минуту, упав в последней борьбе, он должен стоять в стороне, слепой, осужденный на пожизненное заключение.

Он словно ожил, новые силы приливали к его измученному, утомленному телу. Ему чудилось, что и зрение возвращается к нему. Неужели осуществляется на яву мечта всей его жизни, приближение которой так часто грезилось ему? Он засыпал старого сторожа вопросами, но тот не мог сообщить ему никаких подробностей и только в общих чертах рассказывал, что уже в течение нескольких недель идет страшная борьба, но что исход ее еще неизвестен. Тюремный персонал не имеет права уходить в город, а люди рассказывают разное.

Дрожь нетерпеливого ожидания уже не покидала Андрея Мерц. Зима приходила к концу, солнечные лучи уже согревали холодный воздух камеры.

Однажды грозный шум нарушил вечную тишину тюрьмы. Раздавались громкие голоса, чьи-то шаги слышались в коридорах; до Андрея доносился звук отворяемых дверей. С бьющимся сердцем прислушивался слепой к непривычному шуму. Что случилось? Он медленно доплелся до двери, прислушался. Чей то голос кричит: „Они идут“.

Кто идет? Враги или свои? Андрей Мерц задрожал, крупные капли пота покрыли его лоб, он должен был сделать над собою усилие, чтобы удержаться на ногах: „Кто идет, кто?“

Минуты казались вечностью, а крики и шум продолжались. Бежали тюремщики, или готовились к защите?

Мимо тюрьмы пронеслось несколько автомобилей; потом наступила тишина, гробовая тишина.

Андрей пошел по направлению к окну, прислушался, в его мозгу мелькнула мысль: сколько людей прислушиваются

теперь к внешнему шуму, с бьющимися сердцами, дрожа от ожидания и надежды? Но... другие могут видеть...

И вдруг в соседней камере раздался громкий крик: „Идут! Идут!“

На этот раз слова звучали торжеством. Андрею казалось, что сердце его разорвется. Кого так радостно может приветствовать заключенный. Конечно, только избавителя.

Его обострившийся слух уловил вдали грозный топот бесчисленных шагов, поющие голоса. Резвый весенний ветер отрывал от песни отдельные слова, играл ими, доносил их сквозь решетчатые окна до слуха заключенных:

— Братья, к солнцу и к свободе.
Братья, к свету...

Шествие, повидимому, приближалось. Андрей судорожно стиснул руки. Боже, как ясно и бодро звенели поющие голоса! Да, они идут, освободители, избавители, несут с собою солнце и свет. Как твердо они отбивают шаги, так могут шагать только победители, только люди, облеченные властью, властью над всем миром.

— Хоть бы увидеть их, подумал Андрей Мерц. Ведь, их лица должны сиять, я такими видел их во сне!

Топот прекратился, раздались отдельные голоса. Кто-то кричит: „Они сбежали!“ В воздухе раздался громкий смех; так смеются только победители.

Андрей Мерц едва дышал, он подполз к двери, приложил ухо к щели между дверью и полом.

Треск, стук. Ломают двери. Ничто не может им сопротивляться, ни железо, ни камень.

А потом, потом у его камеры послышались шаги, кто-то остановился, кто-то громко произнес: „Павел, вот номер 77. Ты хотел его выпустить на свободу?“

Павел? Разве это возможно? Годы тюремного заключения, страдания, бесконечные духовные и телесные пытки, весь ужас пережитого свалились с Андрея, как старая рухлядь. Он ощупью поднимается, стоит прямо, как свеча, держась одной рукой за стену.

Кто-то бежит вдоль коридора. Знакомый звонкий голос кричит: „Открыть!“ Дверь трещит, слышен лязг железа; дверь с шумом открывается.

Андрей, шатаясь, делает шаг вперед.

Пара сильных рук обнимает его.

— Неужели ты думал, что мы не придем, отец?

— Павел! Павел!

Павел крепко прижимает к себе падающего отца.

— Ты свободен, отец, все свободны. Мы победили.

ГЛАВА XXII.

Андрей Мерц сидит в великолепном больничном саду и греется на солнце. На глазах у него повязка, но скоро ее можно будет снять, ибо операция, которой он подвергся несколько недель тому назад, блестяще удалась, зрение к нему вернется. Но Павел не позволяет отцу снимать повязку.

— Первое, что ты должен увидеть, будет то, что я сам тебе покажу,—весело говорит он. И Андрей добродушно подчиняется его желанию.

Сегодня Павел отвезет его домой; Руфь за два дня отправилась туда, чтобы все подготовить к его приезду.

Андрею Мерц кажется, что он грезит. Павел спокойно и обстоятельно рассказывает ему удивительные вещи. Старик едва может верить всему слышанному. Время от времени он задает сыну мучающий его вопрос: „Правда ли, что мы победили, что теперь мы господа положения?“ С этим вопросом он обращается ко всем, чтобы слышать радостный утвердительный ответ. Он изумляется вещам, которые кажутся Павлу совершенно незначительными. Великолепная больница с дивным садом была раньше замком богатого биржевого дельца, где он жил вдвоем с женой. А теперь старые труженики нежатся на мягких постелях; ребятишки, отравленные смрадным воздухом задних дворов, весело резвятся на поляне, валяются под громадными деревьями, вдыхают аромат цветов. Все это кажется Андрею чудом.

— Неужели все заводы и фабрики в самом деле принадлежат нам?—спрашивает он сына.

— Разумеется!

— И никто больше не будет выжимать из нас соки, никто не будет наживать деньги нашим трудом?

Павел смеется.—Ты всю жизнь стремился к этой цели, отец, а теперь не хочешь верить, что мы ее достигли.

— Побольше терпения, Павел, ведь, я из мрака вышел прямо к свету. Немудрено, что я ослеплен.

Рыдания вырываются из его груди.—Почему я уже стар, почему я не могу вместе с вами творить новую жизнь, теперь, когда труд стал радостью для людей!

— Ты довольно поработал, отец. Теперь посмотри, как в нашем новом мире живется рабочему.

В полдень они отправились на вокзал. Друзья Павла помогли им уложиться и с нежною заботливостью усадили Андрея Мерц в вагон. Их любовь, их заботливость и приветливость согревали усталое сердце Андрея. Значит, они не дают ему полной отставки, эти молодые борцы, значит они знают его, знают, что он жизнь свою положил в основу наступившего счастья.

По мере приближения поезда к родным местам, нетерпение все больше охватывало Андрея, он, как ребенок, просил Павла разрешить ему снять повязку:—Сейчас будет мост, Павел, мне бы хотелось взглянуть на него. Ты подумай только, как долго мои глаза ничего не видели в тюрьме после того, как я потерял зрение. Сними с меня повязку!

В ответ раздавалось непоколебимое:—Нет, ты откроешь глаза только дома.

Старые руки Андрея дрожали от волнения. В самые тяжелые моменты своей слепоты он не так страстно желал видеть, как теперь.

Поезд остановился. Павел помог отцу выйти, две нежные, любящие руки обняли его. „Андрей!“

— Руфь!

Он обернулся к сыну:—Павел, я хочу взглянуть на мать. Позволь мне снять повязку.

— Подожди, снимешь потом.

Мать и сын взяли его под руки и медленно повели вдоль улицы, ведущей к спуску в шахту.

— Хорошо ли ты помнишь нашу шахту, Андрей?—прозвучал милый голос Руфи,—помнишь ли ты эту тяжкую работу во мраке, среди смрада и грязи, эту работу для других?

Он молча кивнул головой, говорить он не мог, слезы душили его.

— Ты помнишь, друг мой, что весь наш труд принадлежал другим? Помнишь ли ты, как мы дрожали зимою от холода, когда вокруг нас были груды угля? Помнишь ли ты, что тяжкий труд едва мог прокормить нас?

— Ты, ведь, не забыл,—вставил Павел,—что наши копи со всем их богатством принадлежали одному человеку, что рабочие были его рабами, крепостными его?

— Нет, не забыл. Почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Потому что все это прошло, как скверный сон, как кошмар, давивший человечество, потому что прошло это страшное время, о котором наши дети и внуки будут вспоминать, как о чем-то чудовищном.

Павел остановился.

— Где мы? Где мы находимся?—спросил Андрей Мерц.

Чьи-то руки развязали повязку.

Ослепленный ярким светом, Андрей Мерц потирал свои прозревшие глаза. Солнечные лучи падали на вход в шахту. На высокой штанге развевалось красное знамя, словно вбиравшее в себя солнечные лучи, заливавшее все окружающее теплым, радостным красным светом.

— Наши копи!—тихо промолвил Павел.

Андрей Мерц устремил взгляд на красный флаг. Понял, всею своей наболевшею душою понял, что обозначает собою этот победный флаг. Его глаза с вожделением поглощали красные лучи; мрак, окружавший всю его жизнь, уступил место свету. Его слепые глаза прозрели.

Старик узрел свет.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ,
ОСНОВАННЫЙ
РОЗОЮ ЛЮКСЕМБУРГ
И
ФРАНЦЕМ МЕРИНГОМ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА . . . 1923 . . . ПЕТРОГРАД



Гиз. № 6391. II/12—VII. 23. Отпеч 5.000 экз. Петрооблит № 6841.

От издателей.

Под названием «Интернационал» предполагалось выпускать ежемесячный журнал, посвященный практике и теории марксизма. Но — по общеизвестным причинам — вышел только один этот выпуск. Мысли, высказанные в статьях этого выпуска, нашли себе полное подтверждение в современных событиях. Это обстоятельство, в связи с исторической ценностью настоящего сборника, побудило нас переиздать его.

Издательство «Футурус».

Мюнхен, 1922 г.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

ВСТУПЛЕНИЕ.

Настоящий ежемесячник создан усилиями Розы Люксембург. Но она успела написать лишь вступительную статью — «Восстановление Интернационала» — и привлечь несколько сотрудников: став жертвою пресловутого гражданского мира, она надолго оторвана от политической деятельности. Ее участь, которую мы считаем почетным отличием, должна, однако, послужить для ее партийных друзей лишним стимулом к тому, чтобы продолжать начатое ею дело, в ожидании того дня, когда она выйдет из заключения, делающего для нее невозможным какое бы то ни было сотрудничество.

Мы ставим себе ту же задачу, которую преследовал первый интернациональный ежемесячник Карла Маркса, а именно: уяснять себе смысл борьбы в переживаемую нами эпоху. Необходимость такого издания диктуется тем, что вихрь мировой войны роковым образом омрачил сознание международного и, в особенности, германского рабочего класса. Нам приходится снова прибегнуть к помощи той объединяющей, сплачивающей и скрепляющей силы, которую до настоящего времени обнаруживал марксизм во все решительные моменты пролетарской освободительной борьбы.

Программа настоящего ежемесячника, в ее несложной формулировке, сводится к разработке вопросов практики и теории марксизма.

Редакция.

1915 г.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

Статья Розы Люксембург.

I.

4 августа 1914 г. было днем политической смерти германской социал-демократии и, вместе с тем, днем крушения социалистического Интернационала. Всякая попытка отрицать или затушевать этот факт, какие бы мотивы ни лежали в ее основе, заключает в себе объективно одну только тенденцию: увековечить, возвести до степени сознательного, нормального состояния тот роковой самообман социалистических партий, те внутренние пороки движения, которые привели к катастрофе, превратить надолго социалистический Интернационал в фикцию, в лицемерную ложь.

Самый факт крушения является беспримерным в истории всех веков. Социализм или империализм — этой альтернативой резюмировалась исчерпывающим образом политическая ориентация рабочих партий в течение последнего десятилетия. В особенности в Германии эта альтернатива провозглашалась, как лозунг социал-демократии, как ее понимание современного исторического фазиса и его тенденции. Так формулировался вопрос в бесчисленных программных речах, на митингах, в брошюрах и в газетных статьях.

Но вот грянула война — и формула облеклась живою плотью, альтернатива из исторической тенденции превратилась в политическую ситуацию. Перед социал-демократией встала во весь рост ею же впервые осознанная и проведенная в сознание народных масс альтернатива. И что же? Социал-демократия сдала свои позиции без борьбы, она уступила империализму поле брани. В истории человечества, с тех пор как существует борьба классов, с тех пор как существуют политические партии, никогда еще не было такого прецедента, чтобы партия, непре-

рывно развивавшаяся в течение 50 лет, выросшая в крупнейшую политическую силу и сплотившая под своим знаменем миллионные массы, в течение 24 часов превратилась, в качестве политического фактора, в нечто совершенно невесомое, как это произошло с германской социал-демократией. Пример этой партии, — именно потому, что она представляла собою выдающийся по своей организованности и дисциплинированности передовой отряд Интернационала, — является наилучшим показателем нынешнего крушения социализма.

Пытаясь как-нибудь оправдать и прикрыть красивым флером факт крушения партии, вожди ее поспешили придумать новую теорию. Автором ее является тот же Карл Каутский, который, в качестве представителя так называемого «марксистского центра», или, выражаясь языком политики, в качестве теоретика партийного «болота», уже с давних пор низвел теорию до роли угодливой прислужницы оффициальной практики «партийных инстанций» и тем самым в немалой доле подготовил нынешнее крушение партии. По этой теории социал-демократия является хотя и орудием мира, но не средством борьбы с войною. Еще определеннее высказываются по этому вопросу верные ученики Каутского в австрийском журнале «Кампф». Сердечно сокрушаясь по поводу нынешних заблуждений германской социал-демократии, они постановляют: единственная политика, подобающая социализму во время войны, это — «молчание»; социализм начнет снова действовать лишь после того, как раздастся благовест мира *). Как теория добровольных евнухов, считающих возможным охранить добродетель социализма только путем устранения его, как фактора, в решительные моменты мировой истории, эта теория страдает основным пороком всех расчетов политической импотенции: в ней счет составлен без хозяина.

Перед лицом альтернативы: за войну или против войны — социал-демократия в момент своего отказа от противодействия войне была вынуждена железной логикой исторической необходимости бросить все свое влияние на другую чашку весов, т.-е. высказаться за войну. Тот самый Каутский, который на памятном совещании фракции от 3 августа отстаивал вотирование военных кредитов, и те самые «австро-марксисты» (как они сами себя именуют), которые еще и теперь в своем журнале «Кампф» объявляют вотирование военных кредитов социал-демократической фракцией чем-то само собою понятным, и они время от времени проливают слезы по поводу националистических эксцессов социал-

*) См. статью Фридриха Адлера в январском выпуске журнала «Kampf» («Борьба»).

демократических партийных органов, а также по поводу недостаточной теоретической подготовки, обнаруживаемой последними, в особенности в тех случаях, когда требуется тончайшее расчленение понятия «национальности» и других «понятий», и являющейся будто бы причиною их заблуждений. Но вещи имеют свою логику, даже в тех случаях, когда люди хотят обойтись без нее. Стоило только социал-демократии, в лице ее парламентского представительства, высказаться за поддержку войны, и все прочее последовало само собою с неотвратимостью исторического рока.

4 августа германская социал-демократия, очень далекая от того, чтобы «молчать», взяла на себя чрезвычайно важную историческую функцию: она стала щитоносцем империализма в настоящей войне. Наполеон как-то сказал: исход сражения зависит от двух факторов: во-первых, от «земного» фактора, т.-е. характера местности, качества оружия, атмосферических явлений и т. п., и во-вторых — от «божественного» фактора, под которым надо разуметь моральное состояние армии, ее воодушевление, ее веру в свое дело. О «земном» факторе в настоящую войну больше всего позаботилась на стороне германской коалиции фирма Крупп в Эссене; «божественный» же фактор оказался, главным образом, на попечении социал-демократии. Услуги, оказанные ею со дня 4 августа и оказываемые ею еще и теперь, изо-дня в день, германскому верховному командованию, не поддаются исчислению. Профессиональные союзы с момента возникновения войны прекратили всякую борьбу за повышение заработной платы и прикрывают флером «социализма» все меры, принимаемые военною властью в целях предупреждения народных волнений. Женщины социал-демократки, забросив дело социал-демократической агитации, рука об руку с буржуазными патриотками отдают все свои силы и время на облегчение участи терпящих лишения семейств воинов. Социал-демократическая пресса, за немногими исключениями, в своих ежедневных газетах, в еженедельниках и ежемесячниках пропагандирует взгляд на войну, как на национальное и пролетарское дело; в зависимости от оборота, принимаемого войною, эта пресса либо разрисовывает опасность со стороны России и ужасы царского режима, либо разжигает ненависть народа к вероломному Альбиону, либо ликует по поводу восстаний и революций в чужих колониях, либо пророчествует о восстановлении могущества Турции в результате нынешней войны, либо обещает свободу полякам, русинам и другим народам, либо прививает пролетарской молодежи военную храбрость и героизм; короче говоря, она обрабатывает общественное мнение и народные массы в духе

военной идеологии. Наконец, социал-демократические парламентарии и партийные вожди не ограничиваются вотированием военных кредитов: они стараются подавить в зародыше всякий тревожный симптом сомнения или попытку критики, объявляя все это «озорством» (Quertreiberei), а сами поддерживают правительство и личными негласными услугами, и своими брошюрами, речами и статьями в духе чистейшего немецко-национального патриотизма. Перед лицом таких фактов невольно напрашивается вопрос: знает ли мировая история еще одну войну, в которой наблюдалось бы что-либо подобное?

Где и когда граждане до такой степени покорно примирялись с отменой всех конституционных прав, как с чем-то вполне естественным? Бывало ли где-нибудь, чтобы оппозиция пела хвалебные гимны строжайшей цензуре печати, наподобие того, как это делают некоторые газеты германской социал-демократии? Никогда еще война не находила таких Пиндаров, никогда военная диктатура не встречала такого послушания. В истории не было случая, чтобы политическая партия с таким пламенным рвением сожгла все, чем она была и чем владела, на алтаре того дела, бороться против которого до последней капли крови она бесчетное число раз клялась перед лицом всего мира? По сравнению с этой эволюцией, приходится признать национал-либералов истинными римскими Катонами,—rochers de bronze. В том то и сказалась сила могущественной организации и хваленой дисциплины германской социал-демократии, что четырехмиллионная масса, по команде горсточки парламентариев, дала повернуть себя и запречь в ту самую колесницу, сокрушить которую эта масса считала задачею своей жизни. Полувековая подготовительная работа социал-демократии использована для нынешней войны: недаром профессиональные союзы и партийные вожди считают победную мощь Германии в значительной мере плодом «школы», пройденной массами в пролетарских организациях. Маркс, Энгельс и Лассаль, Либкнехт, Бебель и Зингер вышколили германский пролетариат для того, чтобы Гинденбург мог им командовать. И поскольку Германия превосходит Францию в отношении пройденной массами школы, их организованности, пресловутой дисциплины и развития профессиональных союзов и рабочей прессы, постольку серьезнее военная помощь социал-демократии в Германии по сравнению с Францией. Вместе со своими министрами, французские социалисты, взявшись за непривычное ремесло национализма и ведения войны, оказываются жалкими дилетантами, если сравнить их дела с теми услугами, которые оказывают отечественному империализму германская социал-демократия и германские профессиональные союзы.

II.

Официальная теория, приютившаяся на столбцах «Нейе Цейт» и непринужденно злоупотребляющая марксизмом в интересах партийных инстанций, нуждающихся в доводах для оправдания своей повседневной практики, пытается объяснить некоторую несогласованность теперешних действий рабочей партии с ее вчерашними словами ссылкою на то, что интернациональный социализм много занимался вопросом о том, какие меры следует принимать против возникновения войны, но не касался вовсе вопроса о том, что надлежит делать после ее возникновения *). Как девица, готовая к услугам всякого, эта теория уверяет нас, что нынешняя практика социализма находится в полной гармонии с его прошлым, что ни одна из социалистических партий не может упрекнуть себя в чем-либо таком, что могло бы поставить под вопрос ее принадлежность к Интернационалу. Но в то же время эта на редкость гибкая теория имеет наготове и достаточное объяснение для противоречия между нынешней позицией интернациональной социал-демократии и ее прошлым, — противоречия, явного для всякого, кроме слепого. Интернационал, — говорит она, — обсуждал только вопрос о предупреждении войны. Но вот, «война стала фактом», и тут выяснилось, что с момента возникновения войны социалистам надлежит руководствоваться совершенно иными правилами поведения, чем до войны. Как только война стала фактом, для пролетариата любой страны важен только один вопрос: победа или поражение. То же самое говорит и другой «австро-марксист», Фр. Адлер, выражаясь языком философии естествознания: нация должна, как и всякий организм, прежде всего отстоять свое существование. В переводе на житейский язык это значит: для пролетариата имеется не одно правило поведения, как до сих пор гласил научный социализм, а целых два, — одно для мирного, другое для военного времени. В условиях мира надлежит внутри каждой страны вести классовую борьбу, во-вне — поддерживать интернациональную солидарность; в условиях войны — внутри страны поддерживать классовую солидарность, во-вне — отстаивать борьбу между рабочими различных стран. Исторический призыв Коммунистического Манифеста получает ныне существенное дополнение и, с поправкою Каутского, гласит: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь во время мира и перегрызайте друг другу глотки во время войны!» Итак, сегодня: «бей

*) См. статью Каутского в «Neue Zeit» («Новое Время») от 2 октября 1914 г.

врага, патронов не жалей», а завтра, по заключении мира: — «примите в наши объятия, миллионные массы, наш поцелуй — всему миру». Ибо Интернационал представляет собою «в сущности орудие мира», но «не аппарат, применимый во время войны» *).

Эта услужливая теория открывает, таким образом, чарующие перспективы для социал-демократической практики, возводя чуть ли не в основной догмат социалистического Интернационала непостоянство фракции-флюгера в комбинации с иезуитизмом центра. Но это еще не все. Официальная теория, вдобавок, кладет начало совершенно новому «пересмотру» исторического материализма, — пересмотру, по сравнению с которым все попытки, сделанные в свое время Бернштейном, представляются невинной детской игрой. По этой теории пролетарская тактика до возникновения войны и после ее возникновения должна направляться по совершенно различным и даже прямо противоположным путям. В основании такого положения лежит предпосылка, что и социальные условия, определяющие нашу тактику, в корне различны в мирное и в военное время. По теории исторического материализма, в том виде, как она создана Марксом, вся дошедшая до нас история человечества представляет собою историю классовой борьбы. По пересмотренной Каутским теории материализма, к словам Маркса необходимо прибавить: исключая периоды войн. Таким образом, имея в виду периодически повторяющееся на протяжении тысячелетий войны, схему общественного развития надо представлять себе в следующем виде: период классовой борьбы, за ним — перерыв, заполненный единением классов и национальной борьбою; затем — опять период классовой борьбы, опять перерыв и единение классов, и так далее, с теми же очаровательными сменами. Основы социальной жизни переворачиваются вверх ногами всякий раз, как только возникает война, и вторично переворачиваются обратно, как только заключен мир. Это уже, как видите, не теория общественного развития «катастрофами», против которой Каутскому приходилось в свое время ополчаться вместе с другими «озорниками», это — теория развития... акробатическими прыжками. В данном случае общество движется на манер ледяной горы, плывущей в весенних водах: по истечении известного времени, как только ледяная гора пообтаяла кругом в своем основании, она переворачивается вниз головой, и эта забавная процедура повторяется периодически время от времени.

Но, во-первых, этому пересмотренному историческому, материализму резко противоречит весь известный фактический

*) См. статью Каутского в «Neue Zeit» от 27 ноября 1914 года.

материал истории, вплоть до наших дней: вместо на-спех сконструированного противоречия между войною и классовой борьбою, факты, наоборот, самым наглядным образом свидетельствуют о постоянном диалектическом переходе войн в классовую борьбу и классовой борьбы в войны и, следовательно, о внутреннем единстве их сущности. Это мы наблюдаем и в войнах средневековой истории городов, и в войнах эпохи реформации, и в войне за освобождение Нидерландов, и в войнах Великой Французской революции, и в Американской войне за независимость, и в восстании Парижской Коммуны, и, наконец, в Русской революции 1905 года. Во-вторых, и при чисто абстрактно-теоретическом подходе к вопросу, теория исторического материализма Карла Каутского не оставляет и камня на камне от теории Маркса, что явствует из следующего простого соображения. Если, как полагает Маркс, и классовая борьба, и войны не падают с неба, а вытекают из глубоких экономически-социальных причин, то они могут периодически прекращаться только при условии, если исчезают их причины. Что касается пролетарской классовой борьбы, то она является лишь неизбежным последствием эксплоатации наемного труда, во-первых, и политического классового господства буржуазии, во-вторых. Но во время войны эксплоатация наемного труда ни в малейшей степени не исчезает; наоборот, интенсивность этой эксплоатации усиливается в огромной степени в связи со спекуляцией и горячкой «грюндерства», процветающими на благодарной почве военной индустрии и вследствие нажима, производимого военной диктатурою на рабочих. Точно так же не прекращается во время войны и политическое классовое господство буржуазии; наоборот, вследствие отмены конституционных прав, оно вырастает в неприкрытую классовую диктатуру. А если экономические и политические источники классовой борьбы во время войны бьют в обществе с удесятеренной силою, то каким же образом может классовая борьба прекращаться? Далее, что касается войн современного исторического периода, то они проистекают из конкурирующих интересов различных групп капиталистов и из потребности капитала в расширении сферы своего приложения. Но обе эти движущие пружины действуют не только под грохот пушек, но и под сенью мира: тут-то именно они и подготовляют и делают неизбежным возникновение войн. Ведь война, по выражению Клаузевица (которое Каутский особенно любит цитировать), представляет собою только «продолжение политики другими средствами». И ведь именно империалистический фазис господства капитала своим соперничеством в вооружениях и превратил мир в нечто иллюзорное, установив, по существу

дела, перманентность диктатуры милитаризма, перманентность войны.

Из всего предыдущего вытекает для пересмотренного исторического материализма определенная альтернатива. Либо классовая борьба представляет собою и в обстановке войны доминирующий закон существования пролетариата, а провозглашение, вместо нее, на время войны, классовой гармонии является со стороны партийных инстанций преступлением против жизненных интересов пролетариата; либо классовая борьба представляет собою и в условиях мира преступление против «национальных интересов» и против «безопасности отечества». Одно из двух — либо классовая борьба, либо гармония классов — является основополагающим фактором общественной жизни, как в обстановке войны, так и в условиях мира. В переводе на язык практики эта альтернатива получает еще более ясную форму: либо социал-демократии придется, принеся покаянную перед отечественной буржуазией, подвергнуть основательному пересмотру всю свою тактику и свои принципы и в мирное время, чтобы приспособиться к своей теперешней социал-империалистической позиции (об этом уже заговорили в наших рядах кающиеся грешники, бывшие некогда молодыми забияками, а ныне превратившиеся в старых святош), —либо она будет вынуждена покаяться в грехах перед международным пролетариатом и согласовать свое поведение во время войны с принципами, исповедываемыми ею в мирное время. При этом все, что мы говорим применительно к германскому рабочему движению, сохраняет свое значение также и для Франции.

Интернационал либо и после войны останется кучей обломков, либо начнет возрождаться на основе классовой борьбы, на той почве, из которой он только и извлекает свои жизненные соки. Он воскреснет к новой жизни не под звуки вновь заведенной после войны старой шарманки, на которой станут бойко и непринужденно, как будто бы ничего не случилось, наигрывать старые мелодии, пленявшие до 4 августа весь мир. Восстановление Интернационала может начаться только путем «сурово-беспощадного осмеяния и отрешения от собственной половинчатости и собственных слабостей», своего собственного нравственного падения со дня 4 августа, только путем ликвидации всей тактики, усвоенной социал-демократией с того дня. И первым шагом в этом направлении является активное выступление в пользу быстрого окончания войны, а также за согласование условий будущего мира с общими интересами международного пролетариата.

III.

До настоящего времени по вопросу о мире в партии обозначилось два течения. Одно из них, выразителями которого являются член президиума партии Шейдеман, ряд депутатов рейхстага и ряд партийных газет, выдвигает, вторя правительству, лозунг «войны до конца» и ведет кампанию против движения в пользу мира, как несвоевременного и опасного для военных интересов отечества. Это течение отстаивает необходимость продолжения войны, т.-е. объективно добивается, чтобы война продолжалась «до победы, соответствующей принесенным жертвам», до «мира с гарантиями», как понимают эти слова господствующие классы. Другими словами, сторонники лозунга «войны до конца» добиваются, чтобы объективная тенденция войны, по возможности, приблизила страну к тем империалистическим завоеваниям, относительно которых газета «Пост», господа Рорбахи, Диксы и прочие пророки мирового владычества Германии откровенно высказались, что они являются целью войны. Если же не осуществятся все эти прекрасные сны, и молодые побеги нашего империализма не разрастутся до поднебесья, то в этом не придется винить ни господ из редакции «Пост», ни их подручных из рядов германской социал-демократии. Ясное дело, что для исхода войны имеют существенное значение не торжественные «декларации» в парламенте «против всякой завоевательной политики», а отстаивание необходимости «войны до конца». Война, за продолжение которой ратуют Шейдеман и иже с ним, имеет свою собственную логику, признанными носителями которой являются верховодящие ныне в Германии группы капиталистов и аграриев, а не скромные фигуры социал-демократических парламентариев и редакторов: последние только помогают первым держаться в стременах. В этом направлении социал-империалистическая линия поведения партии выражена, как нельзя более, ясно.

Во Франции партийные вожди — правда, исходя из совершенно иной военной ситуации — так же неуклонно отстаивают лозунг «войны до победного конца». Но тем временем во всех странах все яснее обозначается движение в пользу скорейшего окончания войны. Наиболее характерной чертой всех этих исканий мира является старательное придумывание всяческих гарантий мира, которых надлежит добиваться при ликвидации войны. Помимо единодушного требования отказа от завоеваний, выдвигается целый ряд новых требований: всеобщее разоружение или, поскромнее, планомерное ограничение соперничества в вооружениях; отмена тайной дипломатии, свободная для всех наций тор-

говля в колониях и много других хороших вещей. Во всех этих пунктах, имеющих целью осчастливить человечество и предупредить в будущем войны, заслуживает удивления неискоренимый оптимизм, который, уцелев в ужасающей катастрофе нынешней войны, еще сажает на могиле старых надежд цветы новых... резолюций. Если что-нибудь доказано крушением от 4 августа, так это — историческое положение, что действительной гарантией мира и действительным оплотом против войн являются не благие пожелания, не хитроумные рецепты и утопические требования, предъявляемые господствующим классам, а исключительно только твердая решимость пролетариата оставаться верным своей классовой политике, своей международной солидарности, как бы ни бушевали ураганы империализма. У социалистических партий главнейших стран, и прежде всего Германии, не было недостатка в требованиях и формулах; им не хватало способности подкрепить свои требования волею и действием в духе классовой борьбы и интернационализма. В настоящее время, после всего пережитого нами, рисовать себе работу по утверждению мира в виде попыток измышления наилучших рецептов против войны — это значило бы констатировать нечто, чреватое величайшими опасностями для интернационального социализма, а именно: что он, несмотря на суровые уроки действительности, ничему не научился и ничего не забыл.

Германия и в данном случае являет нам классический образец. Недавно в журнале «Нейе Цейт» депутат рейхстага Гох изложил программу мира, в защиту которой он, по свидетельству одного партийного органа, выступил с большим пылом. В этой программе было все, что угодно: и длинный список расположенных по пунктам «требований», долженствующих безболезненно и раз навсегда предотвратить всякие войны; и очень убедительные соображения о том, что скорый мир возможен, необходим и желателен. Только одного не было в программе,— указания, что для достижения этого мира необходимо действовать, необходимы дела, а не «пожелания»; не было также пояснения, каким образом необходимо действовать. Дело в том, что автор программы принадлежит к тому компактному большинству фракции, которое не только голосовало дважды за военные кредиты, но и отстаивало всякий раз этот акт, как политическую, патриотическую и социалистическую необходимость, и, будучи превосходно выдрессировано в новой своей роли, готово вотировать и дальнейшие кредиты для продолжения войны, как нечто вполне естественное. Но одновременное согласие на отпуск материальных средств на продолжение войны и разглагольствования на тему о желательности скорого мира со всеми его благами,

стремление «одною рукою вручать меч правительству, а в другой — держать ветку мира, помахивая ею над Интернационалом», — все это не что иное, как живой классический образчик политики «болота», теоретически пропагандируемой в той же «Нейе Цейт».

Когда социалисты нейтральных стран, когда участники Копенгагенской конференции самым серьезным образом считают сочинение на бумаге требований и рецептов для установления мира активным выступлением в пользу скорого окончания войны, мы имеем перед собою сравнительно невинное заблуждение. Уразумение важнейших моментов в нынешнем положении Интернационала и причин его крушения может и должно стать общим достоянием всех социалистических партий; но спасение, действие, которое приведет к восстановлению мира, равно как и Интернационала, может исходить только от социалистических партий воюющих стран. Для первого шага к миру, как и к Интернационалу, необходимо повернуть обратно с путей социал-империализма. А пока социал-демократические парламентарии продолжают вотировать военные кредиты, их пожелания мира и рецепты для достижения мира, в частности их торжественные декларации «против всякой завоевательной политики», представляют собою то же, что и «Интернационал» Каутского, члены которого «ни в чем не могут упрекнуть себя» и периодически то братаются и обнимаются, то перерезают друг другу глотки, а именно — лицемерие и, что еще хуже, — химеру. И здесь также вещи имеют свою логику. Вотируя военные кредиты, господа Гохи выпускают поводья из своих рук и не служат делу мира, а наоборот — помогают «продержаться», немногим отличаясь при этом от господ Шейдеманов, которые, отстаивая необходимость «продержаться», фактически отдают поводья в руки людям, стоящим на платформе журнала «Пост», и, таким образом, не осуществляют на деле своих торжественных деклараций «против всякой завоевательной политики», а, наоборот — способствуют разнузданию империалистических инстинктов... до полной потери крови. Здесь также имеется альтернатива: либо Бетман-Гольвег, либо... Либкнехт; либо империализм, либо социализм в понимании Маркса.

Подобно тому, как в личности самого Маркса были неразрывно слиты, поддерживали и дополняли друг друга проницательный историк-аналитик и смелый революционер, человек мысли и человек дела, точно так же и марксизм, как социалистическое учение, впервые в истории современного рабочего движения соединил теоретическое познание с революционной энергией пролетариата, осветил и оплодотворил одно другим. То и другое одинаково принадлежит к существенным элементам

марксизма; без того или другого марксизм превращается в жалкую свою каррикатуру. Германская социал-демократия в течение полувека собирала в изобилии плоды теоретического познания марксизма; их соками она вырастила могучую организацию. Но когда для нее пришел час величайшего исторического испытания, — испытания, которое она, вдобавок, теоретически предвидела с уверенностью естествоиспытателя и предсказала во всех его существенных чертах, — она обнаружила полное отсутствие второго жизненного элемента рабочего движения, — действенной воли, без которой можно только понимать историю, но не делать ее. При всей образцовой ясности ее теоретического понимания и всей ее организационной мощи, ее подхватило водоворотом истории, повернуло в один миг, как оставшийся без руля корабль, и подставило под ветры империализма, против которых она думала пробиться к спасительному острову социализма. Поражение всего Интернационала было уже предрешено этой аварией его «авангарда», его отборного, наиболее подготовленного и наиболее сильного отряда, даже если бы не было ошибок со стороны других частей.

Перед нами одно из величайших по своему значению во всемирной истории крушений, опасным образом осложнившее и замедлившее процесс освобождения человечества от господства капитализма. Но если так должно было случиться, то все же марксизм тут совершенно непричем. А все нынешние попытки приспособить его к маразму, в который впала в данный момент социалистическая практика, проституировать его для нужд продажной апологии социал-империализма, — эти попытки опаснее даже всех открытых и вопиющих эксцессов националистического угара в рядах партии; в этих попытках имеется тенденция не только продолжать скрывать истинные причины глубокого падения Интернационала, но еще и засыпать родники, из которых он может почерпнуть силы, чтобы в будущем вновь стать на ноги. Возрождение Интернационала, равно как и осуществление мира, соответствующего интересам пролетарского дела, возможно только на основе самокритики пролетариата, на основе осознания им своей силы, — той силы, которая 4-го августа склонилась, как слабая былинка от налетевшей бури, но остается исторически призванной, выпрямившись во весь свой рост, свалить тысячелетние дубы социальной несправедливости и двигать горами. Путь, ведущий к воскрешению этой силы (а не путь бумажных резолюций) и есть вместе с тем путь к миру и к восстановлению Интернационала.

* * *

Статья тов. Люксембург написана еще в начале февраля *). Так как она, находясь под арестом, не имеет возможности внести какие бы то ни было изменения в свою статью, я считаю своим долгом внести фактическое дополнение: Каутский тем временем заявил, что он не высказывался за военные кредиты. В одной своей полемической статье он сам говорит о своей тогдашней позиции: «Я считал наилучшим выходом из трудного положения — воздержание от голосования. Так как с этим не согласились ни большинство, ни меньшинство, то мне предоставлялось, на худой конец, уместным обсудить вопрос о том, чтобы решение было поставлено в зависимость от предоставления гарантий». По поводу этих слов газета «Гамбургер Эхо», из редакторов которой один, если не два, принадлежат к фракции рейхстага, замечает: «Между прочим, свидетели, заслуживающие безусловного доверия товарищи, утверждают, что на официальных совещаниях Каутский и не предлагал всерьез воздержаться от голосования. Если он это предлагал, то разве в тесной компании собравшихся за чашкою кофе безответственных лиц». На эти слова газеты Каутский ничего не ответил. См. «Гамбургер Эхо» № 50 от 28 февраля 1915 г.

Далее, необходимо добавить, что тов. Гох 20 марта был в рядах меньшинства фракции, покинувшего перед голосованием зал заседаний рейхстага: он не соглашался вотировать бюджет, а новые военные кредиты соглашался принять только в сумме 5 вместо 10 миллиардов.

Франц Меринг.

---

*) 1915 года. *(Прим. перев.)*.

КТО БУДЕТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА ВОЙНУ?

Статья Иоганна Кемпфера.

Когда в январе текущего года в печати появились сведения о финансовых переговорах между Россией, Англией и Францией, газета «Франкфуртер Фольксштимме» к сообщению о переговорах прибавила от себя: «Пусть они занимают и платят! Мы боремся и трудимся.» Это звучит гордо...

Однако, нам представляется своевременным и для Германии, где займы при содействии социал-демократической фракции налажены, поинтересоваться немного вопросом о платеже. Факт тот, что в капиталистическом мире война в значительной мере сводится к деньгам, а пролетариат в этом вопросе заинтересован совершенно исключительным образом, так как обыкновенно на него в первую очередь взваливается бремя платежа. Германская социал-демократия вела систематическую борьбу против милитаризма, ссылаясь в своей аргументации на связанные с ним расходы; в этом отношении она даже подчас не соблюдала меры, уделяя слишком мало внимания прочим сторонам вопроса. Но оставлять без внимания вопрос о том, кому придется возместить издержки войны, было бы в корне неправильно.

Интересующие нас финансовые вопросы теснейшим образом связаны с общими экономическими вопросами. Какие экономические последствия порождает война, — в этом мы не станем здесь детально разбираться; но мы считаем необходимым опровергнуть иллюзию, будто хозяйственный аппарат в самом деле остался невредимым. Правда, в этом хотят нас уверить не в меру бойкие критики. Им чрезвычайно импонирует то обстоятельство, что «машина работает». Так-то так. Но если насыпать в жернова кремней, то мельница также начнет очень энергично трещать, только, вместо муки, получится... песок, а мельница испортится. А «хорошая деловая конъюнктура», о которой идут вести из всех воюющих стран, именно и сводится к подобному перема-

лыванию кремней, вместо зерна. Производственный аппарат искусственно поддерживается в ходу, потому что современная война требует чудовищного количества средств разрушения, представляющих собою продукт человеческого труда. Но, с точки зрения народного хозяйства, это — безусловно непроизводительная и даже вредная затрата труда: вместо обогащения она приводит к обеднению. Миллионы людей в Европе служат делу разрушения, а миллионы других работают над изготовлением орудий разрушения. Происходит в чудовищных размерах расточение материалов и рабочей силы, в результате которого воюющие народы должны обеднеть. В переводе на деньги, считая не только прямые расходы, но и разрушения и ущерб людьми, можно оценить убытки от войны в сотни миллиардов марок.

При всем том, накопление капитала идет своим чередом. При капитализме всегда во время войны обогащались определенные группы, в особенности военные поставщики; в настоящую же войну этот процесс, повидимому, происходит в небывалых еще размерах: тут наживают миллиарды. А подобное обогащение определенных групп в условиях всеобщего оскудения возможно только за счет обнищания широких масс трудящегося населения: с одной стороны, война низвергнет в ряды пролетариата тысячи крестьян и мелких буржуа, а с другой стороны — рабочие лишатся своих скудных сбережений (причем, надо опасаться, наиболее тяжелым, роковым последствием будет израсходование стачечных фондов профессиональных организаций); наконец, помимо всего этого рабочие, вследствие недоедания, ослабеют физически, что неминуемо повлечет за собою роковые последствия, в особенности для подрастающего поколения.

При обсуждении вопроса об уплате издержек войны следует иметь в виду, что нынешняя война в большей степени, чем все предыдущие, ведется в кредит. Денежное обращение принимает совершенно своеобразную, уродливую форму. В распоряжение правительств воюющих государств предоставлены многомиллиардные кредиты. Разумеется, это не значит, что им вручены деньги в таких суммах: подобных сумм, соответствующих подписке на военные займы, вообще не существует. Правительствам, при помощи финансовых сделок, предоставляется распоряжение капиталом. Это тем легче осуществить, что владельцы капитала во время войны, вследствие застоя в промышленности, сплошь да рядом не находят применения для своих оборотных средств. Правительства расходуют капитал, закупая военные материалы, продовольствуя миллионы солдат, а также поддерживая семьи значительной части этих солдат. Весьма значительная доля расходуемых сумм остается в руках предпринимателей, военных

поставщиков; все остальное «потребляется», т.-е. идет на безусловно непроизводительные цели. Так или иначе, а занятый капитал должен быть возвращен с процентами, и счет будет подан после окончания войны.

Существует взгляд, что возмещение этих расходов ляжет на побежденного врага, с которого будет взыскана контрибуция. Но так думать могут только люди, не имеющие представления об экономическом и финансовом положении. Со времени Наполеоновских войн наложение контрибуции в крупном масштабе имело место только в двух случаях: Франции пришлось в 1871 г. уплатить Германии 4 миллиарда марок, а Китай после экспедиции 1901 г. был обложен контрибуцией, которой он не выплатил еще до сего дня. В Крымскую войну, в Франко-итальянскую, Испано-американскую, Трансваальскую и в балканских войнах контрибуция вообще не применялась; в 1866 г. Австрия уплатила Пруссии жалкую сумму в 20 миллионов талеров. Франции в 1871 г. пришлось принять жестокое условие потому, что она была в военном отношении разгромлена, и, кроме того, она могла согласиться на уплату контрибуции, так как кратковременная кампания причинила ей сравнительно мало ущерба в хозяйственном отношении. Она была в то время второю по богатству страною в Европе, и могла, уплатив контрибуцию, избавиться от других тяжелых условий мира. Нынешнее положение — совершенно иное: уже в данный момент все воюющие страны сильно пострадали в хозяйственном отношении; война поглощает огромные средства, и каждая из этих стран вышла бы из войны совершенно истощенной, если бы ей пришлось, кроме своих собственных, возместить расходы победителя. В результате получилось бы разорение, государственное банкротство, т.-е. чрезвычайный экономический подрыв для имущего класса данной страны. Поэтому включить контрибуцию в условия мира значило бы вызвать отчаянное сопротивление со стороны имущих; побежденная сторона приняла бы это условие лишь в том случае, если бы она подверглась полному военному разгрому и была вынуждена сдаться на милость победителя. Вдобавок, подобный экономический разгром противника неминуемо причинил бы ущерб и самому победителю. Дело в том, что, при нынешних тесных экономических взаимоотношениях между отдельными капиталистическими странами, разорение одной из них убыточно и для прочих: они теряют капитал, помещенный в данной стране, а также рынок для сбыта. Но, прежде всего, реальное положение вещей до настоящего момента таково, что, повидимому, совершенно исключена возможность полной победы одной из борющихся группировок государств, — такой победы, при которой

побежденная группа была бы вынуждена принять любые условия мира.

Территориальные аннексии вроде тех, каких требуют не в меру воинственно настроенные политики, ни в коем случае не принесли бы финансовых выгод расширившему свои границы государству, так как речь могла бы идти только о территориях, экономически разоренных войною. Если же «компенсаций» стали бы искать в присвоении колониальных областей, то такие аннексии означали бы только финансовое бремя, так как колониальные владения всегда требуют от метрополии затрат.

Таким образом, можно с уверенностью предполагать, что каждой стране, которая в результате этой войны не перестанет существовать, как самостоятельное государство, придется в конце концов самой нести расходы, связанные с войною.

Точно учесть сумму этих расходов в настоящий момент немыслимо, и прежде всего — потому, что до сих пор не видать конца войны. При всем том, мы считаем небесполезным попытаться нарисовать себе картину финансовых последствий войны, могущую претендовать хотя бы на отдаленное сходство с действительностью. Попробуем сделать это, в приблизительных очертаниях, для Германии.

Издержки войны в обычном смысле, т.-е. расходы, производимые правительством для ведения войны, точно не известны. В оценке их размеров суждения расходятся довольно сильно. В английском специальном журнале «Экономист» сумма расходов Германии на войну оценивается в 47 миллионов марок в день, т.-е. в 1,41 миллиарда в месяц. Профессор Юлиус Вольф оценивает их в 40 миллионов в день, т.-е. в 1,2 миллиарда в месяц. Если мы будем исходить из последней, более низкой оценки, то получим, по расчету за истекшие 8 месяцев войны, расход по сей день в сумме 9,6 миллиардов марок.

Для покрытия этих расходов правительство испросило кредит в сумме 20 миллиардов марок, а новый секретарь казначейства Гельферих заявил, что этой ассигновки хватит до осени. Этот кредит обходится не дешево. По займам уплачивается 5%, а покупная цена облигации — ниже паритета. Соответственно этому, в проекте общеимперского бюджета и значится круглая сумма в 1 миллиард на оплату процентов по займам в сумме 20 миллиардов. Но этим, надо полагать, не будут исчерпаны все расходы, связанные с государственным долгом: нельзя забывать о погашении долгов. Правда, до настоящего времени в финансовом хозяйстве империи в вопросе о погашениях поступали довольно беззаботно: неоднократно (в связи с «финансовыми реформами» 1906 и 1909 гг.) решали приступить к погашению,

по дальше благих намерений дело не подвигалось; фактически задолженность государства ни на йоту не убавлялась, а наоборот — в последние годы она неуклонно возрастала. Но после окончания войны продолжать такую политику станет немыслимо: не приступить всерьез к погашению долгов значило бы подорвать в корне кредит империи. Это тем более неизбежно, что, по всем вероятиям, придется прибегнуть к дальнейшим заемным операциям. Часть реализованных до сих пор займов представляет собою краткосрочный кредит под «обязательства государственного казначейства». По этой части займов должен быть произведен расчет в 1920 — 1922 гг. Весьма сомнительно, чтобы к этому сроку удалось извлечь из народного хозяйства пару миллиардов свободных денег, необходимых для погашения обязательств. Ясное дело, что придется превратить краткосрочный заем в долгосрочный. Другими словами: придется снова занимать, чтобы погашать долги, по которым наступили сроки платежей. Если мы примем ежегодно погашаемую долю за 1% с общей суммы, то, по расчету из 20 миллиардов военного долга, мы получим по 200 миллионов в год. Вместе с процентами, стало быть, потребуется после войны расходовать, по меньшей мере, 1.200 миллионов в год.

Не следует упускать из виду и того обстоятельства, что отдельным союзным государствам также приходится нести расходы на войну, покрываемые займами. Правительству Пруссии разрешен кредит в сумме 1 миллиарда марок. От Пруссии не отстанут, без сомнения, и прочие государства. Надо полагать, что после войны, наконец, будут урегулированы запутанные отношения между империей и отдельными государствами. В каком бы виде это ни было сделано, но военные расходы отдельных государств, в конце концов, лягут бременем на имперские финансы: имперской казне придется платить проценты и погашение по займам отдельных государств. Таким образом, надо полагать, сумма в 1.200 миллионов марок ежегодного расхода еще значительно увеличится. Но пока не будем принимать этого во внимание.

Государству не избежать еще одного расхода: это — на обеспечение инвалидов войны и семейств павших воинов. После франко-германской войны 1871 г. из контрибуции был выделен инвалидный фонд в сумме 561 миллиона марок. Этот капитал был помещен в процентные бумаги (жел.-дорожные облигации). Но процентов не хватало для покрытия расходов, и пришлось тратить капитал. В 1911 году фонд был исчерпан; расход на пособия инвалидам 1870 г. и их семьям стали относить на счет имперской казны. В бюджете на 1914 — 15 г. на эти нужды было отпущено 27.435.000 марок. Состояло на обеспечении:

офицеров и чиновников — 2.303, фельдфебелей, унтер-офицеров и рядовых — 22.782; кроме того, вдов и сирот офицеров — 1.071, рядовых — 12.146, а всего 37.302 лица. Таким образом, на каждое лицо приходилось пособия, в среднем, 735 марок. Размер пособия, несмотря на повышение его по закону 1906 года, все же нельзя считать достаточным в виду падения покупательной способности денег. После войны надо с уверенностью ожидать вздорожания жизни, и ставки пособия придется повысить, иначе жертвам войны придется терпеть жестокую нужду. — Из сказанного вытекает для нас необходимость решить такую задачу: если спустя 43 года после войны, когда уже перемерло большинство инвалидов и вдов павших на войне, приходится все еще затрачивать на обеспечение пострадавших 27,4 миллиона, какова же будет сумма расхода после нынешней войны, принимая во внимание, что число участников войны в эту кампанию в несколько раз больше, что война носит гораздо более кровопролитный характер, что, в связи с методами современной войны, число солдат, оставшихся неизлечимо больными, по всей вероятности, будет чрезвычайно велико, и что, наконец, упала покупательная способность денег? Мы вряд ли впадем в преувеличение, если возьмем сумму, в 30 раз превосходящую ту цифру, которая фигурирует в нынешнем бюджете. Получается уже 723.05 миллиона марок. — Попробуем произвести расчет другим способом. Так как, по общему признанию, средняя цифра выдаваемого ныне пособия — 736 марок — недостаточна, то придется исходить в расчетах из средней цифры в 1.000 марок. Это тем более верно, что число инвалидов-офицеров и имеющих законное право на пенсию офицерских вдов и сирот будет очень велико, как абсолютно, так и по отношению к общему числу имеющих право на пособие. В этом случае суммы в 723 миллиона хватит для 723.000 лиц. В войну 1870 г. наши потери убитыми и ранеными составляли 129.700 человек. Численность действующей армии теперь, по меньшей мере, в пять раз больше, чем в 1870 г., когда на театре войны находилось, круглым числом, 1.146.000 человек. Потери тяжело ранеными в настоящее время, в виду артиллерийских боев, относительно более велики, а продолжительностью нынешняя война уже теперь превзошла войну 1870 г. Вдобавок, надо полагать, что теперь и число вдов и сирот должно быть относительно больше, потому что среди солдат теперь относительно больше семейных людей. Таким образом, предполагая, что число лиц, получивших в связи с войною право на пособие, выразится в цифре 723.000, мы рискуем, вернее всего, ошибиться в сторону уменьшения, но уж ни в коем случае не впасть в преувеличение. — Из всего этого следует, что предполагаемую

на первые годы после войны сумму в 750 милл. марок ежегодного расхода на пособия, без сомнения, следует считать скромной. Другие авторы говорят о гораздо более значительных суммах: от 800 миллионов до 1 миллиарда. Желая избегнуть обвинения в склонности к преувеличениям, мы останавливаемся на упомянутой сейчас сумме: по 750 миллионов марок ежегодного расхода в первые годы после войны.

В 20-миллиардную сумму расходов на войну включена только стоимость продовольствования армии и заготовки всякого рода военного материала. Само собою понятно, что военный материал изнашивается, и что после нескольких месяцев военных операций большая часть его, начиная с орудий и кончая портянками, потребует замены. В частности, то же самое применимо и к флоту. Здесь эта замена обойдется очень дорого даже в том случае, если не придется, как это бывало до сих пор после каждой войны, коренным образом обновлять систему морских вооружений. В данный момент о размере этих расходов трудно судить. Многое зависит, напр., от того, будут ли после уроков нынешней морской войны продолжать строить дорогостоящие линейные корабли и, наряду с ними, подводные лодки в огромном числе. Наверняка можно только сказать, что расходы в этой области будут колоссальны. Но точно также понадобится много миллиардов, чтобы вновь пополнить состав артиллерийских парков, наполнить цейхгаузы и склады, восполнить убыль лошадей, обзавестись аэропланами, цеппелинами и автомобилями. А что касается возражения, что расходы на вооружение могут быть ограничены международным соглашением, то такое возражение может исходить только от неисправимых оптимистов. В соотношении социальных сил не видно никаких изменений; после войны сопротивление милитаризму, пожалуй, даже станет слабее, чем оно было до сих пор. В частности, в Германии формально сохраняется существовавшее до сего времени большинство рейхстага, проявляющее максимум рвения в разрешении кредитов. Возможно, что прибегнут к такому приему: расходы будут распределены на более долгий промежуток времени путем выпуска новых займов; в ближайшие годы в этом случае придется обременить бюджет не полными годичными суммами расходов, а только процентами и погашением по займу. Но если принять во внимание, что после войны капитал будет вновь находить выгодное применение в индустрии и в мелкой промышленности, то осуществимость такого рода крупных займов представляется весьма сомнительной. — Повторяем, судить о размерах предстоящих новых расходов трудно. Оценивая сумму ежегодного перерасхода против нынешнего военно-сухопутного

и морского бюджета в 300 миллионов марок, мы, безусловно, берем слишком низкую цифру.

К сказанному присоединяется то обстоятельство, что военное время неминуемо порождает дефициты в имперских финансах. Правда, новый секретарь казначейства в своей речи по поводу бюджета устанавливал, что в истекающем 1914 — 15 финансовом году предвидится превышение прихода над расходом, но он тут же добавил, что этот излишек имеется только на бумаге. Вероятно, он имел в виду следующее обстоятельство: из сумм, ассигнованных в бюджете на армию и флот, освобождается некоторая доля в связи с тем, что с 1 августа соответствующие расходы покрываются не из регулярных поступлений, а из средств, добытых путем займов; таким образом открывается возможность перетасовки сметных ассигнований. Действительное же положение вещей таково. В течение восьми месяцев войны доходы имперской казны, без сомнения, потерпели огромное сокращение. Доход от таможенных пошлин, предполагавшийся по смете в сумме 713 миллионов, сократился в сильнейшей степени, так как в эти месяцы войны ввоз товаров упал до минимума и, кроме того, отменены ввозные пошлины на предметы продовольствия. Сильно должны были сократиться также доходы от косвенных налогов (на пиво, водку, табак) и, далее, от гербовых сборов (с биржевых сделок, с ценных бумаг, с векселей, с купчих крепостей). То же самое можно сказать и о поступлениях по почтовому ведомству. С другой стороны, расходы, — даже не считая прямых расходов на войну, — без сомнения, не сократились, а возросли. Если мы из общей суммы обыкновенных расходов на 1914 — 15 бюджетный год (3.403 миллиона) вычтем расходы на армию и флот, то получим круглую сумму в 1.728 миллионов марок; это — ассигнования на содержание гражданского управления, в частности: на имперскую почту — 751 милл., на управление имперских железных дорог — 114,5 милл., на пенсионный фонд — 145,3 милл., на платежи по государственным долгам — 249,4 милл., на ведомство внутренних дел — 99,4 милл. В течение 8 месяцев войны, приходящихся на истекший бюджетный год, по многим статьям, наверно, произведены перерасходы (чиновникам, призванным в армию, все же выплачивается часть их содержания, между тем как их заместителей приходится оплачивать полностью; расходы на оплату процентов по имперским долгам растут, потому что приходится платить проценты по первому займу, реализованному в октябре, и т. д.). Поэтому весьма сомнительно, хватит ли доходов на покрытие хотя бы только расходов по гражданскому управлению. В предстоящем финансовом году (с апреля 1915 г.) положение вещей будет точно

такое же. При условии скорого заключения мира не исключена возможность покрытия возникающих таким образом дефицитов за счет разрешенных до настоящего времени займов; но если война затянется еще на несколько месяцев, то на такую возможность рассчитывать очень трудно, и дефициты придется покрывать из доходов будущих лет. Назвать конкретную сумму возникающих отсюда расходов пока невозможно.

С крупными дефицитами заключат этот год также отдельные союзные государства и коммуны. Доходы от железных дорог и рудников сократились. Сократились также доходы от прямых налогов (подоходного, поимущественного, промыслового); это неизбежно уже потому, что значительная часть цензовых элементов призвана под знамена, а у остальных доходы сократились. В то же время чрезвычайно возрасли расходы, в особенности для коммун. Здесь также придется дефициты покрывать впоследствии, путем усиленного нажима налогового пресса. О тяжелом финансовом положении многих городов уже появляются сведения в печати.

Вернемся, однако, к имперским финансам. Здесь получаются следующие приблизительные цифры. По сравнению с довоенными издержками, после войны придется расходовать ежегодно лишних приблизительно:

на оплату процентов и на погашение военного займа	1200	милл.	марок,
на пособия инвалидам войны и семьям погибших	750	»	»
на перевооружение армии и флота .	300	»	»

В итоге мы получаем излишек расходов в сумме 2250 милл. марок, причем наша оценка, наверно, не выше, а ниже действительных цифр.

Последний довоенный бюджет (роспись «обыкновенных» и «чрезвычайных» приходов и расходов) сбалансирован в круглой сумме 3.496 миллионов марок. Сюда входят, однако, не говоря уже о единовременных поступлениях (сбор на оборону и заем), ведомственные поступления, которых нельзя принимать в расчет для покрытия исчисленного нами излишка расходов. Например, доходы по почтовому ведомству поглощаются расходами почти целиком; остается небольшой излишек, на значительное увеличение которого рассчитывать невозможно. Не могут быть увеличены и доходы по административным ведомствам. Для покрытия новых расходов можно использовать только налоги и таможенные и прочие пошлины. По смете последнего довоенного года доходы из этих источников были исчислены в круглой цифре 1.715 мил-

лионов марок. Если же после войны понадобится покрывать излишек расходов и 2.250 миллионов марок, то это значит, что придется более чем удвоить доход от пошлин и налогов.

Имперские финансы, как всем известно, находятся в плачевном состоянии. Великой «финансовой реформой» 1909 г., которая свелась к повышению косвенных налогов на 500 миллионов марок, не было достигнуто «оздоровления» финансов, так как, несмотря на увеличение суммы доходов, все же не удалось без новых займов создать равновесие в бюджетах последующих лет, не говоря уже о том, что о погашении долгов не было и помину. Систематическое увеличение численного состава армии в течение последних лет потребовало расходов, все время срывавших равновесие в бюджете; покрывать расходы не удавалось. В конце концов, пришлось прибегнуть к совершенно необычному средству единовременного «сбора на оборону». Это безнадежное положение отчасти находит себе объяснение в нездоровых основах финансового хозяйства Германии, в ненормальном соотношении между финансами империи и финансами отдельных союзных государств. Но главную его причину надо искать в истощении платежной способности населения.

Оптимисты, верующие, что после войны для покрытия колоссальных перерасходов будут использованы прямые налоги, падающие исключительно на имущих, предаются беспочвенным иллюзиям. Если принять во внимание налоги, взимаемые отдельными государствами и коммунами, то прямое обложение в Германии приходится признать немалым. Повышению прямых налогов имущие классы будут оказывать упорное сопротивление, пока у них имеется большинство в ландтагах и в рейхстаге, и мы думаем, что никто не верит всерьез, чтобы после войны положение стало иным. К тому же, до 1917 г. хозяином положения остается, пока-что, избранный в 1912 г. рейхстаг, а как вело себя его большинство при распределении налоговых тягот, надеемся, еще у всех свежо в памяти. Таким образом, если не сходить с реальной почвы, то приходится считаться с тем фактом, что неизбежные, в результате войны, огромные тяготы в громаднейшей своей доле будут взвалены на плечи трудящегося населения. Открытым остается только вопрос, как это будет сделано: посредством ли простого нажима аппарата косвенных налогов, или путем введения доходных монополий. Результат же— один: доходы трудящихся масс будут вновь урезаны, государство будет урывать у них в свою пользу еще большую долю, чем до настоящего времени.

В этих условиях весьма существенное значение получает вопрос, каковы будут эти доходы после войны. Возможность

наступления кратковременного периода благоприятной экономической конъюнктуры не исключается: ведь понадобится восстановить многое, разрушенное войной. Не следует, однако, забывать, во-первых, что все страны Европы, в том числе и нейтральные, сильно пострадали от войны, что все они обеднели. По этой причине о бурном подъеме не может быть и речи. О том, чтобы повторилась ситуация, возникшая после войны 1870 г., вряд ли можно мечтать. В то время германская промышленность получила могучий толчок от только-что завоеванного политического единства, и вся Европа служила ей обширным рынком для сбыта ее изделий, так как, кроме Франции, ни одна страна не пострадала экономически от той войны. Кроме того, в настоящее время производительные силы индустрии исполински развиты. Поэтому производство очень скоро опередит потребности, которые возникнут из необходимости восстановить разрушенное и пополнить нехватку материальных благ, недопроизведенных за время войны; период подъема, спустя короткое время, сменится периодом перепроизводства. Будет ли, в этих условиях, иметь место значительное повышение денежной заработной платы, это остается под вопросом. Конечно, после войны на рынке труда число работоспособных мужчин убудет тысяч на двести. Но в наше время серьезное противодействие повышению заработной платы оказывают, даже при экономическом расцвете, с одной стороны, тенденция к замене живой рабочей силы машинами, а с другой стороны—крепко спаянные организации предпринимателей. Наряду с этим можно быть уверенным в одном, а именно в том, что дороговизна удержится и после войны. Война сильно отражается на сельско-хозяйственном производстве. России, вероятно, понадобится ряд лет, чтобы быть в состоянии снова выбрасывать на рынок прежние массы продуктов; в Польше, в Восточной Пруссии, Галиции, Бельгии и Северной Франции опустошены важные в хозяйственном отношении территории; в Германии количество домашнего скота все убывает. Вспомним, что и без того в течение последних 15 лет предложение продуктов земледелия на мировом рынке едва-едва удовлетворяло спрос, чем и обусловливалась, главным образом, дороговизна; теперь это соотношение еще ухудшится. А ведь на продовольственном рынке достаточно малейшего сдвига в соотношении между предложением и спросом, чтобы вызвать сильное повышение цен. Давно сделанное наблюдение, что война порождает дороговизну, на этот раз, боимся, будет подтверждено фактами весьма печального свойства. Повысится ли денежная заработная плата, — по меньшей мере, сомнительно, а вздорожание жизни, в связи с положением на мировом рынке, представляет собою факт не-

сомненный. Если же к этому присоединится вздорожание ряда важных пищевых продуктов вследствие обложения косвенными налогами, да еще и уменьшение доходов вследствие обложения прямыми налогами (которые, как известно, падают и на рабочих довольно чувствительным бременем), то понижение уровня жизни масс станет неминуемым. Между тем уровень жизни рабочего класса Германии уже с давних пор настолько низок, что ученые-гигиенисты с грустью констатировали упадок физических сил народа на почве недостаточного питания. За войну будет расплачиваться рабочий класс—сокращением своей жизненной силы.

КУДА НИ ГЛЯНЬ, ВЕЗДЕ СОЦИАЛИЗМ!

Статья Пауля Ланге.

Германские профсоюзы полагали, что им надлежит, в общем, отказаться на время войны от борьбы за повышение заработной платы и ограничиться отражением попыток ухудшить условия труда. Но и в этом направлении им связывает руки осадное положение. Последнее в различных частях страны применяется неодинаково: в большинстве округов собрания допускаются с разрешения властей, в других же местностях запрещаются вообще. При этом не делается различия между открытыми собраниями и собраниями членов профсоюзов. Несмотря на это, все же зарегистрированы случаи небольших «диких» забастовок, т.-е. таких, которыми не руководили какие бы то ни было организации. Газета «Бергарбейтер-Цейтунг», в номере от 20 февраля 1915 г., сообщает о трех подобных случаях, имевших место в Верхней Силезии; в одной из этих забастовок участвовало 870 горнорабочих. — Далее, германские профсоюзы пытались отстаивать интересы рабочих, как потребителей. Мы далеки от того, чтобы умалять значение этих попыток, вылившихся больше в форму переговоров вождей профсоюзов с властями, нежели в форму агитации среди масс. Но мы не можем не указать на проявляющееся стремление говорить о социальных достижениях, не существующих в действительности.

Правда, полицейский нажим на профсоюзы, как «политические сообщества», пока-что прекратился, но все же прусско-германское государство не поступилось в пользу профсоюзов ни одним из своих прав. Некий адвокат из социал-демократов, раньше сетовавший на одном из профессиональных конгрессов на испытываемые профсоюзами притеснения, недавно выразил свое удовлетворение по поводу «официального признания профсоюзов». В действительности, власти предержащие были достаточно сообразительны, чтобы привлечь свободные профсоюзы к сотруд-

ничеству повсюду, где в них оказывалась надобность для осуществления задач, диктуемых государственной необходимостью. Вот почему сейчас же после начала войны мы были свидетелями переговоров между вождями профсоюзов и представителями правительства по вопросу о привлечении рабочих к работам по уборке урожая; вот почему мы наблюдали сотрудничество представителей правительства и профсоюзов в деле обработки под картофель Темпельгофского поля и т. д. Но где считали возможным обойтись без профсоюзов, там их не привлекали. Вот несколько примеров. Имперский комитет по распределению муки состоит исключительно из чиновников и предпринимателей. В правлении Общества утилизации сушеного картофеля, в которое входят множество помещиков и Центральное бюро винокуров, мы не находим ни одного представителя рабочих; только в экспертной комиссии этого общества фигурирует имя управляющего делами рабочего кооператива; это единственная белая ворона. Так как этому обществу предоставлены от государства известные привилегии, то можно было бы предполагать, что правление его состоит не из одних производителей *). В этой компании находятся, в качестве представителей государства, несколько чиновников; но рабочие, в лице их политических, профессиональных и кооперативных организаций, не привлечены надлежащим образом. Их участие ограничивается второстепенными функциями в государственном аппарате по заготовке продовольствия и в произнесении речей по вопросу о заготовках.

*) Президиум социал-демократической партии и генеральная комиссия профсоюзов 24 февраля сочли себя вынужденными заявить протест министерству внутренних дел. В своей петиции они обвиняют Общество утилизации сушеного картофеля в содействии вздуванию цен. Далее, мы читаем в этом документе: «Но и помимо того есть основание к более серьезному контролю над Обществом утилизации сушеного картофеля. Приемы этого общества превосходят все, что мы наблюдали до настоящего времени в купеческом обиходе и в капиталистическом обороте. С каждого, вступающего в деловую связь с этим обществом, последнее требует залога в размере не менее 10.000 марок. Обществу оптовых закупок для кооперативов пришлось внести залог в сумме 50.000 марок; от Берлинского общества закупок для цеха пекарей потребовали 20.000 марок. Этими приемами исключаются из круга покупателей все мелкие предприятия и вводятся такие условия, каких не смели выдвигать даже при самых уродливых формах картелей и трестов. В министерстве внутренних дел нам в свое время объяснили, что означенное общество находится под контролем этого министерства. Но если контроль не будет производиться более серьезно и энергично, то было бы лучше, чтобы министерство возложило на само Общество всю ответственность за его действия. В этом случае Общество, вероятно, стало бы больше считаться с торговыми обычаями и с голосом общественного мнения, чем теперь, когда оно чувствует себя прикрытым крылышком государственного контроля».

Что влияние рабочих на мероприятия по обеспечению населения пищевыми продуктами было невелико, ясно из того, что предельные цены на хлеб в зерне и на картофель были установлены не согласно с их желаниями. Это следует также из того факта, что в течение первых пяти месяцев войны не была осуществлена реквизиция хлебных запасов, — мера, выдвинутая рабочими в видах удешевления предметов продовольствия. В данном случае государственное вмешательство состоялось не в интересах рабочих, а в интересах самого государства. Хлебная монополия стала необходимостью, без нее невозможно было довести войну до конца. Одно вздувание цен не давало уверенности в том, что имеющимися запасами хлеба удастся свести концы с концами. Придя к этому убеждению и ввели в январе 1915 года монополию. В феврале 1915 года выяснилась необходимость принять меры против употребления картофеля в корм скоту. Но и этой области до настоящего времени не прибегли к реквизиции и распределению запасов, а Союзный Совет ограничился повышением предельных цен на картофель. Реквизиция облегчила бы положение народных масс, между тем как новые предельные цены падают на них тяжелым бременем.

Германская акционерная компания кожного сырья, комитеты по учету льна, каучука, джута, льняной пряжи, хлопка-сырца и конского волоса, акционерные компании химических продуктов, металлов и шерсти для военных надобностей, лейпцигское объединение шерстяной торговли и целый ряд других подобных организаций, по мнению газеты «Хемницер Фолькcштимме» (номер от 10 февраля 1915 г.), имеют то значение, что «значительная часть перечисленных сырых продуктов изъята из капиталистического оборота и передана в общественное управление». С этим можно согласиться, если понимать под общественным управлением такое положение, когда действуют сообща предприниматели при участии представителей государственной власти. Я же считал бы возможным говорить об общественном управлении лишь в том случае, если бы на управление оказывали существенное влияние представители общества в целом, т.-е. народа. Этого нельзя сказать о перечисленных и вслед за ними созданных аналогичных учреждениях. Народу, несущему финансовые тяготы и приносящему в жертву своих сыновей на полях брани, не предоставлено надлежащего влияния на «хозяйственную мобилизацию», а стало быть — и на движение цен. Неужели же рабочие, именно по отношению к данным случаям, поступаются своим принципом, что необходимо повсюду путем сотрудничества заставить считаться с собою?

Таким образом, мнение, что государство во время войны сделало уступки демократии и началу самоуправления, оказывается совершенно необоснованным. Точно также и предприниматели ни на иоту не отступились от той точки зрения, на которой они стояли раньше. Их теоретики, заседающие в редакциях капиталистической прессы, неуклонно отстаивают положение, что военная служба — это общегражданский долг, из которого не вытекает никаких новых прав для каких бы то ни было групп или слоев участников войны. А с этим положением согласуют свою работу практические деятели предпринимательского лагеря. Правда, в настоящее время нет крупных конфликтов из-за заработной платы. Имеются даже созданные на время войны объединения предпринимателей и рабочих. Эти объединения не только радеют о нуждах рабочих, но и пекутся самым недвусмысленным образом об интересах предпринимателей. Они далеки от желания устранить предпринимательский барыш; они от имени рабочих добиваются организации общественных работ для бедствующих. А как только рабочие таким путем добыли себе работу, предпринимателю тем самым обеспечен его барыш. Благодаря содействию рабочих представителей в городских самоуправлениях, действительно удается здесь и там раздобыть средства для подобных общественных работ. В тех же отраслях промышленности (а их немало), где для предпринимателей нет возможности извлечь выгоду в этом смысле из подобных объединений, последние и не возникают. В этих отраслях фактически имеют место серьезные трения между предпринимателями и рабочими. В начале января 1915 г. горнорабочие в официальной жалобе министерству внутренних дел сетовали на то, что предприниматели и в настоящее время не везде отказываются от локаутов и черных списков. Транспортные рабочие горько разочарованы в своих чаяниях тем, что в Гамбурге, при назначении на этот год заседателей в морскую камеру, не прошел ни один рабочий-моряк. Гамбургская депутация по делам торговли, пароходства и промышленности, при назначении означенных заседателей, даже не предложила свободному профсоюзу моряков выставить свои кандидатуры. «Таким образом и теперь, как до войны, попрежнему орудуют клики и процветает система партийного пристрастия и протекции», — пишет «Курьер» (№ 4). Берлинское Главное Артиллерийское Управление, без предварительного соглашения с профсоюзами, предложило владельцам металлозаводов выдавать оставляющим службу рабочим свидетельства об оставлении службы, так как другим предпринимателям вменяется в обязанность принимать этих рабочих только с ясно выраженного согласия прежнего их хозяина. В Гамбурге и Штеттине

рабочим военных поставщиков сообщено, что состояние на особом учете военнообязанных действительно лишь до тех пор, пока данный рабочий работает у того же поставщика, и что учет теряет силу, как только рабочий переменил место работы, хотя бы он перешел к другой, также работающей на войну, фирме. Это предписание, явно не продиктованное военной необходимостью, открывает предпринимателю возможность устанавливать условия труда и вознаграждения по собственному ничем не ограниченному усмотрению. К чему это может привести, видно из помещенного в номере «Фольксботе», от 14 февраля 1915 г., отчета об одном собрании рабочих-металлистов гор. Штеттина. В этом отчете ставится вопрос: «Справедлива ли и способна ли привязать рабочих к предприятию практика завода «Вулкан», на котором шлифовщиков литья, вынужденных попросту бросить работу вследствие слишком мизерной оплаты, должны были заменить пятнадцать формовщиков стали, работая за плату первых в размере 37 пфеннигов в час, что означало для формовщиков уменьшение заработка приблизительно на 20 марок в неделю?» После этих слов в отчете несколько строк было вычеркнуто цензурою. В отраслях промышленности, работающих на войну, местами выплачивается более высокая почасовая или сдельная плата, чем в мирное время, так что рабочие этих отраслей, при обычном теперь более продолжительном рабочем дне, зарабатывают значительно больше прежнего. Но так обстоит дело не во всех предприятиях. Газета «Фахцейтунг фюр Шнейдер», в номере от 15 января 1915 г., жаловалась, что «существует немало бессовестных предпринимателей, которые не платят своим работницам по установленным ставкам», и что наблюдаются все чаще и чаще те же безобразные приемы эксплоатации рабочей силы, какие практиковались в довоенное время. В высшей степени характерный образчик того, что испытывают рабочие в результате установившихся ныне взаимоотношений между рабочими и предпринимателями, мы находим в объявлении президиума союза текстильщиков, помещенном впереди текста в № 11 издаваемого Союзом органа: «Так как некоторые предприниматели и в настоящее тяжелое время не могут обходиться без выбрасывания рабочих на улицу по самым ничтожным поводам, то президиум постановил с 1 апреля 1915 г. возобновить выдачу из кассы союза пособий рабочим, подвергшимся репрессиям». В пояснительной заметке к этому объявлению приводятся яркие случаи урезывания заработной платы и применения репрессий к рабочим, выступавшим по поручению товарищей в защиту их интересов. «Из отчетов об отдельных случаях репрессий, равно как и ухудшения условий труда и вознаграждения, выясняется

с полною очевидностью вся необоснованность того фантазерства, которое в последнее время широко проявлялось даже в социал-демократических собраниях и в социал-демократической рабочей печати людьми, уверовавшими в якобы происшедшее политическое и экономическое обновление Германии, влияние которого будто бы сказалось, в особенности, на правовом положении и на условиях жизни трудящихся... Чего нам только не говорили в этом духе и не говорят еще и по сей день! Каких только благ, и политических и социальных, не таит в себе, якобы с стихийною необходимостью, нынешняя война для германских рабочих! В наших глазах все это—даже не вексель на будущее, а только продукт фантазии оптимистов, которые до такой степени одержимы страстью давать взаймы, что приходят в трепет при одном виде незаполненного вексельного бланка». К этому, думается нам, прибавлять нечего.

Можно ли отметить с момента возникновения войны какие-либо достижения в области социальной политики в тесном смысле слова? Я не имею в виду специальных пожеланий рабочего класса, ни более широких; ни более узких. О таких притязаниях не приходится и помышлять, пока длится война. Но профсоюзам, вольно или невольно подчиняющим свои материальные средства и свои учреждения нуждам войны, следовало в течение последних месяцев требовать самым решительным образом, чтобы государственная власть дала ясные заверения в том, что она защитит от всяких готовящихся посягательств право коалиции,—тот фундамент, на котором построены профсоюзы. Что же мы видим на деле? В середине января сего года в одном из собраний ответственных работников берлинских профсоюзов было высказано мнение, что проектировавшиеся до войны мероприятия против профсоюзов, носившие ярлык «охраны желающих трудиться», можно в настоящее время, в результате войны, считать окончательно ликвидированными. Но спустя несколько дней после этого последовало полуофициальное сообщение, что после войны все будет улажено и что теперь подлежащим ведомствам некогда задумываться над этими вопросами. Это был ушат холодной воды, на который профсоюзы не реагировали. А «Газета Работодателей», в номере от 31 января 1915 г., нагло писала, что хорошо осведомленные круги «считают исключенным, чтобы при пересмотре имперского уголовного уложения желающим трудиться было отказано в той защите, на которую они вправе претендовать.»

В № 7 журнала «Нейе Цейт» один из профсоюзных вождей сетовал на то, что рейхстаг 4 августа, при разрешении военных кредитов, не ассигновал миллиарда на безработных. Это позор,—

говорил он, — что государство находит деньги на все, только не для безработных. И в самом деле, разве не следовало правительству, хотя бы 2 декабря 1914 г., заявить в рейхстаге, что в ближайшее время и в Германии будет положено начало правильному государственному попечению о безработных, наподобие того, как это было уже сделано в предшествовавшие войне годы в Дании, Норвегии, Франции и Великобритании? Подобного принципиального заверения не было дано, да его и не требовала ни одна из партий в заседании рейхстага от 2 декабря. Правда, в этот день рейхстаг отпустил 200 миллионов марок на нужды социальной помощи в связи с войною, и часть этой суммы предназначена на ассигнования тем бедствующим общинам, которые ввели у себя выдачу пособий безработным. Обещаны также субсидии общинам из средств отдельных союзных государств. Но все это лишь в очень незначительной мере подвинуло вперед дело коммунального попечения о безработных уже потому, что прусский министр внутренних дел дал общинам указание не принимать раньше февраля 1915 г. никаких постановлений в расчете на имперский закон, в силу которого им будут предоставлены дополнительные средства. Имперского закона, обязывающего общины организовать попечение о безработных, не существует. По подсчету генеральной комиссии профсоюзов, произведенному в промежутке с сентября по ноябрь 1914 г., попечение о безработных ввела у себя 301 община. Но эта цифра не вполне соответствует действительности: в числе 301 общины находится 106 таких, которые выдают безработным не регулярно, а только от случая к случаю, пособия деньгами или натурою. Для того, чтобы добиться законодательного акта в имперском масштабе о пособиях безработным, — акта, который сохранил бы свое действие и после войны, — представителям рабочего класса следовало не ограничиваться закулисными совещаниями с членами правительства, а прибегнуть к энергичным выступлениям в обстановке гласности, поскольку это было осуществимо в условиях осадного положения.

Не менее важным был и остается вопрос о посредничестве в приискании работы. Когда, после начала войны, в некоторых случаях обнаружилась потребность в подобном посредничестве в интересах государства (напр., для полевых или для окопных работ и т. п.), таковое тут же было создано, отчасти при содействии профсоюзов. Но этим дело и ограничилось. А ведь законодательное урегулирование посредничества в приискании работы, на основе паритета, представляет собою неотложную задачу: необходимо, в интересах ищущих работы, выравнивать предложение и спрос, необходимо освободить трудящихся от услуг

профессиональных посредников по найму, а тем более от всяких бюро работодателей, которые существуют больше для контроля над рабочими, чем для содействия им в приискании работы. К тому же, отсутствие правильно организованного посредничества попрежнему все еще продолжает служить предлогом для того, чтобы откладывать разрешение вопроса о введении государственного попечения о безработных. Это соображение, в особенности, говорит за неотложность государственного урегулирования посредничества в приискании работы. Кроме того, есть еще и такое соображение: к моменту окончания войны должны быть приняты известные предохранительные меры, дабы возможно было наново разместить в системе народного хозяйства возвратившиеся миллионы рабочих рук.

У нас принято восхвалять проявившуюся во время войны приспособляемость германского народного хозяйства. Почему же эта хваленая приспособляемость не обнаружилась в организации попечения о безработных и посредничества в приискании работы, — в той области, в которой некоторые из враждебных нам государств еще до войны могли послужить нам хорошим примером? Еще и сейчас, когда мы пишем эти строки, нет данных для суждения о том, что сделает в этой области рейхстаг в предстоящей сессии, начинающейся 10 марта.

Эти требования тем более справедливы, что именно рабочий класс, как таковой, несет, в связи с войною, чудовищные финансовые жертвы. Профсоюзы, правда, отчасти сократили ставки индивидуальных пособий, выдаваемых их отделами пособий, но тем не менее они чрезвычайно обременены. За один только период времени с 3 августа 1914 г. по 30 января 1915 г. свободные профсоюзы израсходовали 17.783.129 марок на пособия безработным и 6.180.208 марок на пособия семействам призванных в войска. В некоторых профсоюзах, — например, в союзе литографов,—наличность кассы исчерпана расходами на пособия дочиста. После войны результаты этих расходов скажутся в том, что профсоюзы будут испытывать в своей деятельности сильнейшие затруднения. Если мы вспомним, как часто срывались движения за повышение заработной платы из-за недостатка денежных средств, то нам станет ясно, как сильно пострадали профсоюзы от войны.

Бремя войны падает также на больничные кассы, на дело страхования на случай инвалидности и на дело страхования служащих. Лицам, оставившим, в связи с призывом в войска, работу, при которой страхование обязательно, было предоставлено, по их заявлению, остаться добровольными членами местных больничных касс. Это, безусловно, выгодно для участников

войны, так как они получают право на пособие в случае болезни, а их родные на пособие в случае их смерти; но для больничных касс такое положение создает огромное, вытекающее из войны, бремя. Областным страховым учреждениям, т.-е. действующим в силу имперского закона органам страхования на случай инвалидности, было предоставлено израсходовать приблизительно около 100 миллионов марок на нужды благоустройства в связи с войною, — на снабжение воинов шерстяными вещами, на попечение о безработных и т. д. Имперское страховое бюро для служащих (деятельность которого распространяется только на торговых служащих, конторщиков, техников, преподавателей частных школ и служащих частных учреждений, старших мастеров и т. д.) израсходовало около 2 милл. марок на шерстяные вещи для воинов и на оборудование санитарного поезда, но оно отказывается сделать что бы то ни было для застрахованных безработных, не призванных в войска. Областным страховым учреждениям придется, кроме того, выплатить много миллионов марок в виде ежегодных пенсий лицам, сделавшимся инвалидами войны и выждавшим определенные сроки; велики будут также расходы по выдаче пенсий сиротам. Правда, ставки индивидуальных выдач очень скромны, но в виду большого числа павших или сделавшихся инвалидами воинов придется выплачивать значительные суммы. Таким образом, больничным кассам, существующим на $^2/_3$, и учреждениям по страхованию на случай инвалидности, существующим на $^1/_2$ за счет прямых взносов лиц, обязанных к страхованию, пришлось взять на себя долю бремени военных расходов. Хотя мы и рады от души за тех воинов и за те семьи погибших, которым достанутся пособия, но, вместе с тем, мы не можем не указать на то, что народу раньше и не приходило на ум, что на органы страхования, созданные по закону в интересах жертв трудового фронта, будет взвалено подобное бремя обеспечения жертв настоящего, боевого фронта, — бремя, которое, собственно говоря, должно было принять на себя все общество в целом. В совершенно ином положении находится страхование от несчастных случаев, основанное на взносах предпринимателей: на этот институт участники войны не лягут бременем.

Из всего вышеизложенного ясно, что у рабочего класса нет никаких оснований ликовать по поводу «социальных достижений». Рабочие и не ликуют. Только отдельные лица стараются внушить им, что имеются налицо великие достижения. На самом деле говорить о подобных достижениях рабочего класса за время войны не приходится, а можно говорить лишь о его великих жертвах. И именно в виду этих жертв необходимо самым на-

стойчивым образом добиваться скорейшего проведения в жизнь хотя бы таких элементарных требований, как неприкосновенность права коалиции, лежащего в основе профсоюзов, как практическое признание профсоюзов и в тех областях, где без них можно и обойтись, но где привлечение их представляет специальный интерес для рабочих; как, далее, урегулированное законом попечение о безработных, посредничество в приискании работы и т. д.

С точки зрения интересов германского рабочего класса было бы гораздо лучше, если бы рвение, проявляемое в нападках на «озорников», применялось в направлении этой «положительной работы».

НАШИ ЖЕНЩИНЫ И „ЖЕНСКАЯ СЛУЖБА НАЦИИ“.

Статья Екатерины Дункер.

Спустя несколько дней после начала войны президиум партии и генеральная комиссия профсоюзов обратились к женщинам-пролетаркам с призывом отдать свои силы делу широкой социальной помощи. Повсеместно в Германии наши товарищи-пролетарки откликнулись на этот призыв. Отчасти они приняли участие в учреждениях, организованных общинными властями, в некоторых же областях создали и свои собственные органы. Почти везде эта кампания социальной помощи привела социал-демократок к работе бок-о-бок с буржуазными женщинами, организовавшимися в объединение так называемой «Женской службы нации».

3 августа 1914 г. на собрании представителей всех берлинских союзов социальной помощи социал-демократка Цитц, от имени женщин социал-демократок, заявила о готовности их работать рука об руку с женщинами буржуазного класса. Это заявление вызвало большую сенсацию как в буржуазных, так и в партийных кругах. И действительно, в числе сюрпризов, которые уготовил нам момент возникновения мировой войны, не последнее место занимает это слияние воедино буржуазной и социал-демократической работы по облегчению нужд, возникших в связи с войною. Вспомним, что в течение четырех десятилетий оставался незыблемым принцип — всегда выступать только под своим флагом. Это диктовалось двумя соображениями: во-первых, тем, что наше социалистическое мировоззрение исключает солидарность с теми, кто составляет опору буржуазного общества; во-вторых, тем, что успех нашей агитации обусловливается резким подчеркиванием классового характера рабочего движения. Ясное дело, что поступиться столь важным принципом можно было только под влиянием очень уж веских причин. Кто бы мог раньше

допустить возможность солидарной работы женщин социал-демократок с буржуазными дамами-филантропками!

Для иллюстрации налаженной в настоящее время совместной работы товарищей-пролетарок и буржуазных женщин мы вкратце обрисуем положение этого дела в Берлине. Прежде всего, тов. Цитц, в качестве представительницы партии, тов. Ганна от профсоюзов и тов. Лодаль от кооперации, конституировались в центральное бюро пролетарских женщин. Одновременно с этим те же три товарища были приняты в число действительных членов президиума «Женской службы нации». Это объединение считает главной своей задачей «содействие городскому управлению в организации попечения о нуждах, порожденных войною; в виду этого, оно учредило в 23 налоговых районах Берлина комитеты помощи, примыкающие к комиссиям по выдаче пособий, рассматривающим ходатайства о выдаче установленных законом пособий в связи с войною». В каждый из этих комитетов к председательнице — буржуазной даме — прикомандирована одна из товарищей-пролетарок. К выдаче пособий эти комитеты не имеют прямого отношения. Их дело — только принимать заявления, давать указания добивающимся пособия и направлять их в налоговую кассу соответствующего района. Расследование степени нужды комитеты вправе производить только в тех случаях, когда им это поручает соответствующий районный начальник. Обе руководительницы комитета помощи присутствуют в той городской комиссии по выдаче пособий, которой они подчинены, но правом голоса по вопросу о выдаче пособия они пользуются лишь в тех случаях, когда обсуждается ходатайство, по которому они производили расследование. Когда дело не касается пособия в связи с войною или призрения бедных, комитеты помощи производят обследование по собственной инициативе. Для расследований и прочей работы каждый комитет имеет в своем распоряжении известное число сотрудниц из буржуазии и из социал-демократок. Нести эти обязанности вызвались вначале около 600 товарищей-пролетарок. По первоначальному плану, деятельность коммунальных комитетов помощи должна была ограничиваться выдачей справок и производством расследований. Но, в виду многочисленных случаев отчаянно-бедственного положения, требовавшего немедленной помощи, комитетам были предоставлены, в свободное их распоряжение, средства из фондов города или общественных союзов. В настоящее время комитеты могут, в известных границах, раздавать талоны на молоко, овощи и картофель. Далее, Берлинское потребительское общество предоставило комитетам карточки на получение товаров.

Есть, впрочем, две области, в которых берлинские социал-демократки создали свои собственные учреждения; это — уход за больными и родильницами и попечение о детях. Комитет по уходу за больными и родильницами предоставляет бесплатных сиделок, а в случае надобности—и врачебную помощь. В распоряжении комитета состоят, в качестве добровольцев, семь врачей и изрядное число партийных женщин. Берлинский комитет охраны детей расширил сферу своей деятельности и круг своих сотрудниц и устроил убежища для детей трудящихся женщин. В созданных им 19 пунктах находили себе приют в течение дня до 3.000 детей, причем были организованы присмотр за ними, занятия с детьми, а также, при содействии общества народных детских столовых, кормление детей. Но, хотя значительное число партийных женщин развило в этой области поразительную деятельность, все же, с наступлением холодного времени, эти пункты пришлось ликвидировать из-за отсутствия, главным образом, приспособленных, отапливаемых помещений, но также денег и надлежащего числа сотрудниц.

То же самое, что в Берлине, мы наблюдаем почти во всех крупных городах: наши товарищи-пролетарки принимают разностороннее участие в деле попечения о нуждах, порожденных войною. В виду этого нам представляется уместным поставить вопрос, полезно ли и насколько полезно партии, как таковой, официальное участие в этом деле женщин-социал-демократок. Тов. Цитц неоднократно высказывалась в том смысле, что товарищам-пролетаркам, впавшим в нужду в связи с войною, показалось бы совершенно непонятным, если бы мы не оказали им в настоящее время деятельной поддержки, и что, наоборот, самоотверженной помощью мы укрепим связывающие их с нами узы. Но поскольку мы будем говорить о положении дел в Берлине, уже выяснилось, что среди тех, которые прибегают к комитетам помощи за советом и пособием, наших товарищей чрезвычайно мало. Большинство нуждающихся в помощи принадлежит к тому слою, который сплошь и рядом был слишком бессилен экономически и слишком малокультурен, чтобы быть захваченным нашею просветительною и организационною работою. Другая, незначительная, часть рекрутируется из элементов, которые до войны пользовались относительным благосостоянием, но, в связи с призывом в войска или безработицей, обрушившейся на их кормильца, вдруг очутились в крайней нужде: это — служащие частных учреждений, торговые служащие и т. п. Вот те два слоя, на пользу которых, главным образом, работают комитеты помощи. Есть основание полагать, что товарищи-пролетарки, имеющие право на пособие

в связи с войною, достаточно информированы уже своими организациями, чтобы осуществить свое право без дальнейшего руководства с чьей бы то ни было стороны. Таким образом, аргумент, приведенный товарищем Цитц, очень мало убедителен, по крайней мере, если иметь в виду Берлин.

Товарищи-пролетарки, предложившие свои услуги для работы по обследованиям, во многих случаях надеялись своею деятельностью привлечь в нашу организацию новых приверженцев и дать нашей прессе новых читателей. Но, не говоря уже о том, что обследование положения лиц, впавших в нужду, вряд ли представляет собою подходящий случай для привлечения их в наши союзы или для вербовки среди них абонентов для нашей прессы, большинство лиц, подлежащих обследованию, представляет для нас, по приведенным уже соображениям, очень малопригодный, в смысле вербовки, материал.

Таким образом, полезный для нашей партии результат сотрудничества товарищей-пролетарок в деле помощи терпящим нужду в связи с войной оказывается весьма проблематичным. С другой стороны, однако, нельзя отрицать, что это сотрудничество местами имело воспитательное значение, приучая, кого надо, к надлежащему обращению с нуждающимися в помощи. Случалось нередко, что буржуазные дамы говорили с людьми снисходя, с тем надменным тоном, который очень часто делал антипатичным для нас буржуазное «милосердие». Иная считала нужным сопровождать свои указания благочестивыми наставлениями; другой казалось уместным делать строгое моральное внушение несостоящим в браке матерям. Но это не все: случалось не раз, что матерям, имеющим много детей, делались упреки в преступном легкомыслии, а то и в безнравственности; и это в такое время, когда в «руководящих» сферах восхваляется германская многосемейность, как «главный источник нашей силы». Были и такие места, где каждого безработного, не взирая на его жалкий и тщедушный вид, увещевали наняться в ломовые извозчики для перевозки муки, т.-е. заняться делом, требующим значительной физической силы. А в случае несогласия, в документах просителя делалась отметка: «Уклоняется от работы». В этих и аналогичных случаях наши товарищи имели возможность своим вмешательством устранять резкости и мало-по-малу пробуждать в своих коллегах из буржуазных кругов способность глубже чувствовать и разумнее разбираться в вопросах социального характера. Мы менее всего склонны к пренебрежительной оценке такого результата, но мы полагаем, что он все же обошелся нашей партии слишком дорого. Несколько сот активных товарищей были отвлечены в течение нескольких месяцев от

настоящей партийной работы, будучи всецело поглощены работой в комитетах помощи. Правда, тем временем число их сильно сократилось: одни разочаровались в тех чаяниях, которые они связали со своею работою, и не нашли возможным наладить согласованную работу с буржуазными женщинами; другим необходимость искать заработка не позволила продолжать бесконечно работу в комитетах. Однако, фактом остается то, что партия была лишена работников из женщин в такое время, когда они, в связи с призывом мужчин в войска, были ей особенно нужны. Сплошь да рядом оставались незамещенными должности районных руководителей, кассиров, библиотекарей и т. д. В течение многих месяцев на партийных собраниях, в особенности женских, только и говорилось, что о кампании помощи в связи с войною, хотя уже давно обнаружилась необходимость и зачастую имелось налицо горячее желание заняться другими, более важными для партии делами. Надо полагать, что для членов политической партии наиболее необходимым делом было обсуждение причин войны, нашей позиции по отношению к ней и наших ближайших политических задач.

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к такому выводу: личное сотрудничество значительного числа товарищей-пролетарок в деле помощи терпящим нужду в связи с войною можно вполне понять, как продиктованное чисто-человеческим желанием оказывать помощь и психологической потребностью — посредством лихорадочной деятельности отвлечь свой ум от кошмарных событий, совершающихся там, за рубежом; что же касается официального участия наших партийных женщин в этом деле, то таковое мы не можем признать правильно обоснованным. Смягчать нужду, порожденную войною, это — дело тех, которые стоят за войну и, в конечном счете, так или иначе, извлекают выгоду из войны. Мы же, всегда выступавшие против войны, должны были только требовать, чтобы были приняты меры к смягчению нужды; мы должны были путем политических выступлений принудить буржуазное общество к принятию подобных мер и контролировать их осуществление. Такова была до сих пор линия нашего поведения по отношению к социальным бедствиям вообще, проистекающим из современного общественного строя: мы требовали соответствующих институтов, но никогда не создавали их сами. Таких задач политическая партия не может себе ставить, не говоря уже о том, что пролетариям, при попытке конкурировать в подобном деле с буржуазными кругами, никогда не угнаться за последними, за неимением средств, а также обученных и экономически независимых специалистов.

Разумеется, для нас мыслима и такая ситуация, при которой и мы могли бы высказаться за официальное участие наших

партийных женщин в деле попечения о нуждах, возникших в связи с войною. Если бы наша фракция отклонением военных кредитов зафиксировала свою принципиальную оппозицию по отношению к международному разбою, тогда наша работа в деле помощи выявила бы перед лицом всего мира, что, решительно отказавшись наносить раны, мы всегда готовы лечить таковые. Наша специальная задача, в качестве социалистов,—уяснить массам ситуацию, — была бы выполнена этим актом нашей фракции, и потому мы могли бы свободно проявлять наши общие социально-альтруистические чувства. Этим мы выполнили бы заодно и просветительную работу по отношению к тем, которые истолковали бы отклонение нами кредитов, как враждебный акт по отношению к солдатам и их семьям. Свершилось, однако, иное! А из этого факта для проникнутых классовым сознанием товарищей-пролетарок вытекала обязанность: не содействовать дальнейшему затушевыванию грани, отделяющей нас от буржуазного мира, а отдать все свои силы нашей организационной и просветительной работе. Переживаемое нами время представляет собою, быть может, совершенно исключительный, небывалый момент в смысле его пригодности для того, чтобы вскрыть перед массами всю бессмысленность и антикультурность капиталистического строя, равно как и его опасность для общества в целом. Используя момент в этом смысле, мы действуем в духе принятого в Штуттгарте, в Копенгагене и в Базеле интернационального воззвания, обязывающего нас «с т р е м и т ь с я в с е м и с и л а м и и с п о л ь з о в а т ь п о р о ж д е н н ы й в о й н о ю э к о н о м и ч е с к и й и п о л и т и ч е с к и й к р и з и с д л я т о г о, ч т о б ы в с к о л ы х н у т ь н а р о д и т а к и м п у т е м у с к о р и т ь л и к в и д а ц и ю к л а с с о в о г о г о с п о д с т в а к а п и т а л и с т о в».

БОРЬБА ЗА МИР.

Статья Клары Цеткин.

Не страшись, дорогой, не терзайся!
Больше бодрости! Слушай!..
Раннего утра уже начался перезвон.

Э. Мёрике.

Пусть там, за рубежом, грохот пушек повествует миру о том, что империализму удалось погнать к себе на службу пролетариев воюющих стран, и что, следовательно, империализм торжествует свою победу над международным социализмом; пусть к нам доносится отзвук грома побед в сбивчивых и вносящих путаницу речах социалистических вождей и статьях рабочих газет как отечественных, так и иностранных; пусть еще теряется в сомнениях отравленный шовинистическими фразами разум широких масс рабочего класса... Для тех, кто в сумерках наших дней не сбивался с пути и твердо держал в руках знамя социалистических принципов, уже встает заря новых дней, с их надеждами и задачами. Кое-какие факты навевают на нас то предрассветное настроение, которое неподражаемый Мёрике облек в такие простые слова, и таинственную, чарующую прелесть которого воплотило в себе полностью тоническое искусство Гуго Вольфа. Раннего утра уже начался перезвон! Тихо, но вполне определенно этот перезвон говорит нам о том, что рабочие воюющих стран, в атмосфере империалистического угара, снова начинают приходить к сознанию своих классовых интересов и своей великой исторической миссии: таков, и только таков смысл все учащающихся публичных выступлений за международную солидарность пролетариев всех стран и за мир, согласующийся с социалистическими принципами.

Мы указываем, прежде всего, на «куцую» конференцию скандинавских и голландских социалистов в Копенгагене. Конечно,

мы не думаем придавать ей слишком большое значение. Против этого говорит хотя бы уже то обстоятельство, что конференция объединяла лишь представителей социалистических партий немногих нейтральных стран. Но против переоценки ее значения еще больше говорит другое обстоятельство. Перед лицом переживаемой нами эпохи и предъявляемых ею требований, эта конференция представляла собою в значительно большей степени съезд вождей для формулирования благочестивых пожеланий в стиле социалистических конгрессов прежнего времени, нежели выражение сознательной, порывающейся к действию воли пролетарских масс. Приобрести выдающееся по результатам значение копенгагенская конференция могла бы лишь в том случае, если бы ее работа помогла пробудить в массах подобную волю к миру, притом — пробудить ее как в нейтральных, так, в особенности, и в воюющих странах, что она и сама признала в своей резолюции, резюмирующей результаты совещания. Но такому плодотворному результату препятствует то обстоятельство, что конференция не подвергла поведение социалистических партий воюющих стран критической оценке, каковая была бы равносильна призыву к рабочим сделать то, что для угнетенного, борющегося класса является политической необходимостью: проверить действия своих вождей и смело взять инициативу в свои руки, как только окажется, что вожди колеблются и медлят.

При всем том, скандинавская конференция, если говорить о занятой ею позиции, была более социалистичной и более яркой, чем можно было бы думать, судя по отчетам германских партийных газет. Так, напр., она протестовала против нарушений международного права, совершенных Германией по отношению к несчастной Бельгии, и требовала от социал-демократии воюющих стран энергичного противодействия всякой насильственной аннексии. Для социалистов это — само собою понятные, простейшие положения. Однако, германская социал-демократия до сих пор все еще не уразумела, что момент повелительно обязывает высказывать их с непреклонной решимостью перед широчайшими массами, побуждая их также выдвигать эти положения. Бледные и растяжимые декларации фракции рейхстага от 4 августа и 2 декабря прошлого года недостаточны; это тем более верно, что, как мы знаем, некоторые политические и профсоюзные вожди в своих речах, а также газеты в своих суждениях идут совершенно вразрез с означенными элементарными положениями.

Наиболее важными, бесспорно, следует признать все те события, в которых проявляется первое сознательное возмущение социалистов-пролетариев Франции против подавления историче-

ских задач пролетарской классовой борьбы требованиями империалистической войны. Эти события представляют резкий контраст с ультра-националистической позицией социалистической партии и должны рассматриваться, как стихийный протест, исходящий из самой толщи трудящегося народа. Блестящею заслугою партийной федерации департамента Эны, ее органа «L'Eclaireur de l'Ain» и ее мужественного секретаря Нико останется то, что они первые вновь провозгласили публично принципы социалистического Интернационала в такое время, когда шум империалистического «шабаша ведьм» заглушал классовое сознание французских пролетариев и лишил даже их наиболее испытанных вождей понимания исторической действительности. Эти принципы, подобно сильнейшему химическому реактиву, разложили все лицемерные идеологические построения, в которых, под действием накаленной атмосферы мировой войны, причудливо перемешались буржуазные и социалистические понятия. Провозгласить эти принципы, положить их в основание оценки событий и их последствий — это значило, в конечном счете, вернуть международной солидарности пролетариев всех стран прежнее, принадлежащее ей по праву место, где она гордо возвышается над мнимым национальным единением всех классов, и требовать быстрого прекращения пролетарского братоубийства. Это было равносильно осуждению поддержки, оказываемой социалистами империалистической войне, и, стало быть, вступлению на путь оппозиции политике социалистической партии своей страны.

Наряду с настроениями и течениями, проявившимися в политической сфере влияния партийных организаций департамента Эн, а затем и других округов, подобные же настроения и течения всплыли во Франции также и в кругах профессионально-организованных рабочих. В качестве их ревностного и мужественного поборника заслуживает быть выделенным, в особенности, Мерргейм, вождь профсоюза металлистов. А что не следует недооценивать силу и значение этого процесса брожения, уразумения смысла событий и прояснения умов, о том свидетельствуют два документа. Газета «Humanité», в номере от 2 февраля, опубликовала воззвание, в котором Всеобщая Конфедерация Труда — объединение французских профсоюзов — обращается к входящим в нее централизованным союзам и к рабочему Интернационалу. Бесспорно, с точки зрения научного социализма можно критиковать некоторые мысли и требования воззвания, как неясные и пропитанные иллюзиями, при чем в самых главных вопросах оно не идет еще достаточно далеко. Однако, из-за слабых сторон данного выступления не будем упускать из виду его значения в качестве отрадного симптома, свидетельствующего о том,

что рабочие призадумались и повернули обратно. Воззвание проникнуто сознанием солидарности пролетариев всех национальностей, — сознанием, которое не путается между буржуазными идеями «патриотического долга» и «измены отечеству», уподобляясь животному, бродящему по бесплодной степи, а идет своим прямым путем. Всеобщая Конфедерация Труда, касаясь ужасной военной грозы, разразившейся «против ее воли и усилий», заявляет: «Мы чувствуем себя неразрывно связанными с делом рабочего Интернационала. Война остается для нас самым ужасным из социальных преступлений. Мы всегда обращали свою пропаганду и свои активные выступления против низменного национализма, против жаждущего завоеваний милитаризма, равно как и против возврата к изжитым формам государственности». Предложения, внесенные Конфедерацией на международных социалистических конгрессах, начиная с 1905 года, доказывают, что она ясно сознавала необходимость объединить силы рабочего Интернационала для действия единым фронтом против общей опасности. События подтвердили правильность ее взглядов.

Само собою разумеется, что воззвание не могло обойти лживым молчанием тот факт, что территория Бельгии занята почти что до последней пяди враждебными войсками, и что целый ряд департаментов Франции в таком же печальном положении. Однако, в нем нет ни малейшего намека на реванш, а об Эльзасе и Лотарингии даже и не упоминается. А как смотрит воззвание на мнимую заинтересованность рабочих в том, чтобы иметь «более обширное и более могущественное отечество», на завоевание которого в настоящее время выступают некоторые вожди германского рабочего движения, идя по стопам Мауренбрехера и Гильдебранда и пуская в ход свое хлесткое перо или зычную глотку? Воззвание говорит: «Мы слишком часто протестовали против колониальных экспедиций, чтобы в настоящее время быть в состоянии забыть глубокие основания нашего протеста». В другом месте мы читаем: «Существеннейшим условием социального прогресса является неприкосновенность, независимость народов». Идеал будущей свободы для всех «велит изгнать всякую мысль о гегемонии, велит добиваться общечеловеческой гармонии на основе равенства всех народов». Всеобщая Конфедерация Труда желает, чтобы мир наступил «возможно скоро», и кроме того, чтобы пролетариат посвятил всю свою боевую энергию задаче «сделать эту войну последнею из войн». Конфедерация «всем сердцем с теми, кто борется за это дело», и ждет осуществления его от «прямого восстания организованных в рабочий Интернационал активных сил». Рабочий класс всех стран, — говорит Конфедера-

ция,— должен принять на себя нерушимое обязательство действовать в этом духе.

Недвусмысленно, с полной определенностью выступает пролетарское сознание против войны и ее продолжения в другом, также исходящем от профсоюзных кругов документе. Мы говорим о декларации, единогласно принятой президиумом картели профсоюзов департамента Роны и распространенной в виде летучки. Эта профсоюзная картель представляет собою, на ряду с федерацией департамента Сены, сильнейшую из окружных организаций французского пролетариата, и к ее декларации немедленно присоединились: центральное бюро союза пищевиков, имеющее правление в Париже, а также социалистическая федерация департамента Эн. Таким образом, летучка также оказалась выразительницей мыслей и настроений значительных по своей численности пролетарских масс. В ней мы находим следующие характерные места: «Не доискиваясь причин нынешнего конфликта в дипломатических интригах, разыгравшихся в течение последних лет под покровом тайны, профсоюзная картель департамента Роны напоминает, что международный пролетариат несет жертвы войны, но ни в коем случае не ответственность за нее, так как все его усилия были всегда направлены против того, чтобы народы вели между собою борьбу силою оружия... Рабочие и их семьи проникнуты горячим желанием быстрого благодетельного мира, который положил бы конец ужаснейшей, беспримерной в истории войне. Каждый лишний день войны устилает театр войны трупами честных и полезных работников, создает новые кадры вдов и сирот, лишенных средств к существованию. Профсоюзная картель департамента Роны ставит общечеловеческие интересы выше всяких соображений второстепенного характера и заявляет во всеуслышание о своей верности принципам, которые всегда будут живы в рабочем Интернационале. Она заявляет, поэтому, что присоединится ко всякому искреннему выступлению, ставящему своей целью достижение в кратчайший срок честного и окончательного мира. Война войне! Да здравствует рабочий Интернационал!». В этом документе мы также тщетно стали бы искать хотя бы одного слова, которое можно было бы истолковать, как уступку ограниченному националистическому образу мыслей. Как в своих заявлениях, так и в недомолвках, декларация означает открытое восстание против иллюзий и лозунгов социалистических парламентариев и рабочих вождей, запрягающих пролетариат в колесницу капиталистического империализма.

Кроме вышеупомянутых двух организаций, во Франции нашлась еще одна группа, отважившаяся выступить во имя меж-

дународной солидарности пролетариата и вынести на форум гласности социалистические требования мира; это — группа смелых парижских товарищей-пролетарок. Почти что одновременно с вышеупомянутыми двумя органами профсоюзов, — даже, судя по всему, раньше их, — эти парижские пролетарки распространили, в виде летучки, воззвание, в котором заведывающая интернациональным секретариатом напоминает социалисткам всех стран о их важнейшей для данного момента задаче: не смущаясь наветами со стороны «истинно-патриотических элементов» и не робея перед трудностями и опасностями, смело выступить пионерами борьбы за мир. Парижские товарищи заявили французским женщинам, что на них падает почетная обязанность — действовать в духе воззвания. Последнему предполагалось дать широчайшее распространение путем опубликования его в социалистической прессе; но цензура, свирепствующая в обстановке «гражданского мира», — совсем, как в Германии, — отчасти помешала этому: она не позволила поместить воззвание в «Eclaireur de l'Ain», но зато его удалось напечатать в «Populaire du Centre». А что воззвание возымело свое действие, о том свидетельствует письмо, присланное в редакцию газеты какою-то пролеткою и содержащее в себе мучительный вопрос: что можем сделать мы, слабые, бедные женщины, чтобы положить конец ужасному взаимоистреблению народов? И все это имело место, несмотря на то, что власти строжайше запретили всякую пропаганду в пользу мира, — даже молитву папы о даровании мира! — и несмотря на то, что ослепленные патриотизмом социалисты клеймят всякую мысль, всякое слово о мире, как «преступление против отечества».

Конечно, нам будут возражать. Мы видим уже эти лица и эти жесты самодовольного превосходства, с которыми станут презрительно отвергать значение приведенных нами фактов поклонники большой численности организаций и значительной кассовой наличности, вне которых «несть спасения». Французские профсоюзы малочисленны, плохо организованы и бедны. А парижские женщины-социалистки? Боже милостивый! Да стоит ли говорить об этой крошечной кучке людей, не пользующихся никаким влиянием? Мы нисколько не намерены скрывать слабость и несовершенства профсоюзов и социалистических женских групп Франции; мы ничуть не отрицаем великого значения, которое могут иметь во всех областях многочисленные, крепко спаянные организации с крупною кассовою наличностью. Но мы знаем также из истории Франции и ее рабочего движения, что в этой стране до настоящего времени организация — как ее понимают в Германии — не была важнейшею предпосылкою для того,

чтобы трудящиеся массы выступили активно и бросили все дремлющие в них силы и страсти на весы исторического движения. Кроме того, мы откровенно признаем себя сторонниками следующего «еретического» взгляда: организационно-техническое превосходство рабочих объединений само по себе не решает дела; оно остается «водичкой» и не становится освящающим историческим таинством, если отсутствуют ясность целей и действенность воли. При таких данных могущественные организации могут, конечно, свершить великие дела; но без них они могут превратиться в опасные оковы для пролетарской энергии и способности к действию. При том вавилонском смешении языков, которое породила в международном пролетариате нынешняя война, — проникнутая подлинным социализмом активная деятельность малых групп представляется нам более ценной, нежели образцовая постановка и самые блестящие финансовые возможности могучих организаций, не противящихся, а то и потворствующих тому, что, под прикрытием лживого лозунга: «отечество в опасности», пролетариат приносится в жертву, как илот, исключительно в интересах политики его господ и эксплоататоров.

Как бы ни умаляли значение проникающих из Франции известий о социалистических манифестациях солидарности и голосах в пользу мира, мы именно в них усматриваем наиболее яркие симптомы того, что пролетариат воюющих стран начинает освобождаться от националистического угара и снова собираться под знаменем классовой борьбы. Во Франции патриотизм рабочих неразрывно связан с революционными традициями страны. Он черпает свою силу из исторического блеска Великой Революции, из воспоминаний о войнах той эпохи, когда приходилось защищать дело революции в борьбе против коалиции монархов всей Европы, а французская буржуазия, переживая бурную весну своего господства, могла мечтать о том, что войска республики, побеждая под ее знаменами, утвердят свободу во всем мире; из того факта, что «пение галльского петуха» в 1830 и 1848 гг. пробудило от политической дремоты народы европейского континента, и из той роли, которую в эти исторические моменты накаленный докрасна Париж играл для политических революций буржуазии и первых восстаний пролетариата. Наконец, и франко-германская война не могла не подогреть вновь патриотизма французских рабочих: ведь 2 сентября она превратилась в национальную оборонительную борьбу за самое существование республики, — борьбу, достигшую своего кульминационного пункта в героической Парижской Коммуне. Кроме того, не следует забывать современного положения Франции. Она видит воочию судьбу родственной ей по национальности Бельгии, а значительные части

ее собственной, отечественной территории, в том числе промышленно наиболее развитые округа, заняты врагом. Отсюда следует, что во Франции в настоящий момент необходимо обладать непоколебимою верностью своим убеждениям и исключительною нравственною стойкостью, чтобы пойти против «патриотических» выкриков о необходимости «войны до конца», и чтобы, во имя международной солидарности пролетариата, требовать мира. Но отсюда следует также, что в таком акте проявляется стихийная сила пролетарского классового интереса и классового сознания, — сила, которая, в конце концов, подобно расплавленной лаве, прорвется через кору буржуазных националистических идей и лозунгов и отметет в сторону, как безжизненные камни, аргументы поддерживающих правительство социалистов. Здесь мы имеем перед собою полезный урок, говорящий о непобедимой силе объективных исторических факторов, когда они объединяются с сознательною волею людей. Вывод из него для пролетариев всех стран: веровать и действовать, оставаться твердыми в убеждениях и быть смелыми в деле!

В Англии, несмотря на страстную джингоистскую агитацию, никогда не умолкал «утренний перезвон», говорящий о сильно выраженном сознании международной солидарности и желании мира. В этом перезвоне принимали и принимают участие также и не-пролетарские круги. Буржуазное движение в пользу мира и женского избирательного права, бесспорно, углубило понимание международных культурных связей; оно также выдвинуло и воспитало ряд сильных личностей, которые, не смущаясь шумом дня, оценивают события без предубеждения и действуют так, как им велит их убеждение. С другой стороны, нельзя не отметить печального факта, что и в Англии подпали влиянию империалистического безумия не только широкие непросвещенные пролетарские массы, но и значительная часть их профессионально и политически организованного авангарда, с авторитетными вождями во главе. Однако, в обстановке националистической вакханалии, видя перед собою крушение Интернационала, — это неизбежное последствие обнаружившегося банкротства социал-демократии в Австрии, в Германии и во Франции, — английская Независимая Рабочая Партия держится непоколебимо на посту передового борца за пролетарское братство и за мир. А Независимая Рабочая Партия — это не «самая малочисленная из социалистических групп Англии», как утверждает тов. Шейдеман. Наоборот, насчитывая в своих рядах до 60.000 сторонников, она представляет собою, по числу членов, самую крупную из всех социалистических фракций Англии и пользуется в рабочем движении страны влиянием, значительно превышающим ее числен-

ное значение, потому что в нее входит большинство самых передовых руководителей, агитаторов и организаторов пролетариата. Независимая Рабочая Партия была движущей силою той импозантной демонстрации в пользу мира, которую устроила Рабочая Партия накануне войны. Она не отступилась от своей мирной политики даже тогда, когда парламентская фракция Рабочей Партии, под впечатлением нарушения нейтралитета Бельгии, прекратила свою оппозицию против войны. Тов. Рэмсей Макдональд, самый влиятельный из вождей Независимой Рабочей Партии, сложил с себя звание председателя фракции Рабочей Партии, когда большинство этой фракции отклонило его предложение о разрешении ему прочитать в нижней палате принятую президиумом фракции резолюцию протеста против войны. В этой резолюции говорится: «Рабочая Партия вновь подчеркивает факт, что она боролась против политики, приведшей к войне, и что теперь ее долг — возможно скорее обеспечить стране мир на условиях, которые создали бы наилучшую почву для восстановления дружественных отношений между рабочими Европы». К Независимой Рабочей Партии принадлежат те четыре товарища, — Рэмсей Макдональд, Кейр Гарди, Джоветт и Ричардсон, — которые одни из всех членов парламентской фракции Рабочей Партии энергично возражали против участия в кампании по набору рекрутов. О непоколебимой верности идеалам интернационального социализма свидетельствует воззвание, в котором партия после начала войны обратилась к рабочим всех стран и, в частности, торжественно заявила относительно германских рабочих и социалистов: «Они — не враги наши, а друзья!»

С тех пор Независимая Рабочая Партия вложила всю свою душу в борьбу против империализма и за мир. Ее орган «Labour Leader», устроенные ею митинги и другие выступления являются блестящим подтверждением наших слов. В данном случае не единичные «озорники» бунтуют против «само собою понятного патриотического долга содействовать безопасности нации и сохранению ее могущества». Общие собрания и конференции на местах и в округах, можно сказать, все, без исключения, доказывают, что за этой политикой сплоченно стоит подавляющее большинство партии. Независимая Рабочая Партия подтверждает, что социализм и империализм — смертельные враги, и что для рабочего класса желание мира не может означать ничего иного, как страстную и упорную борьбу против империализма. Она поняла, что борьба международного пролетариата против общего врага должна вестись на национальной почве, и что, следовательно, рабочий класс каждой страны должен низвергнуть империализм своего эксплоататорского класса и своего пра-

вительства. Поэтому она не предается до опьянения дешевой критике империализма: она не клеймит его, как интернациональное явление, и не клеймит империалистической политики других, кроме Англии, государств. Она направляет свои удары прямо в сердце врага, разоблачая перед массами с такою же беспощадностью, как и до войны, империализм и грехи правительства Великобритании; и делая это без страха перед обвинениями в «неимении отечества» и в «измене отечеству». Образцовое поведение Независимой Рабочей Партии представляет собою, объективно, жестокую критику беспринципности и приспособляемости тех социалистических партий, которые, под грохот пушек и под знаком гражданского мира, сегодня поклоняются тому, что еще вчера ниспровергали, — враждебной рабочему классу империалистической политике своего правительства, — и так же свободно сжигают сегодня то, чему вчера поклонялись, — социалистические принципы и идеалы. Бесспорно, для Независимой Рабочей Партии борьба несколько облегчается тем обстоятельством, что в стране «низкого, алчного народа торгашей» граждане пользуются широкими политическими свободами; но все же эта борьба является великою заслугою со стороны партии и делает ей честь в наше время, когда мы видим кругом разнузданные джингоистские страсти и спущенное социалистическое знамя в прочих воюющих странах. Перед нами — одна из самых блестящих глав в истории освободительной борьбы интернационального пролетариата.

«Утренний перезвон» доносится к нам и с **Востока**, где юный пролетариат выступил первым в текущем столетии, пойдя в 1905 году на приступ для завоевания свободы. Русская социал-демократия своим решительным и повторным отклонением военных кредитов в «истинно-патриотической» Думе, лицом к лицу с насильниками царизма, покрыла себя неувядаемой славой. Не менее достойно восхищения и последовательное социалистическое поведение ее печати и огромного большинства ее вождей; подтверждение этому мы находим в недавно занятой ими позиции по отношению к Лондонской конференции социалистов стран Антанты. Но не имеем ли мы во всех этих случаях дело с одним лишь политическим донкихотством крохотных групп «мастеров по части резолюций», которые, не имея действительного контакта с трудящимися массами, не пользуясь влиянием на эти массы, могут позволять себе роскошь принципиальной, но беспочвенной политики? Даже в глазах людей, не знающих истории русской социал-демократии, против подобной унижающей оценки должен говорить уже один тот факт, что в избранной при помощи совершенно исключительных реакционных ухищрений Думе

существует социал-демократическая фракция—парламентское представительство рабочих, которым только в упорной борьбе с царскими палачами и с полицейскими прислужниками капитала удается осуществлять свои жалкие политические права. Но, помимо этого факта, в нашем распоряжении есть в высшей степени ценное сообщение, свидетельствующее о том, как относятся к войне лучшие элементы рабочего класса России, с какою спокойною твердостью они проносят сквозь шквал шовинизма принципы интернационального социализма и требования мира. В газете «Бремер Бюргерцейтунг» опубликован отчет о положении в России, составленный двумя делегатами, командированными в начале января петербургскими товарищами заграницу. На них была возложена задача — переговорить с живущими в эмиграции вождями русской социал-демократии о тактике по отношению к войне. Мы предоставляем слово самим делегатам,—в их простой речи проглядывает неприкрашенная правда:

«В Петрограде массовыми арестами накануне войны было совершенно дезорганизовано партийное и профессиональное движение. Рабочая масса осталась без всякого руководства со стороны партии. Тем не менее, рабочие социал-демократы были против войны. Они попытались по собственной инициативе устроить ответные демонстрации против патриотических манифестаций, организованных полицией и мелко-буржуазными элементами, но были везде разогнаны полицией. Из провинции мы получали сообщения в таком же роде... Мы встречаемся с рабочими самых разнообразных профессий и можем утверждать самым положительным образом, что враждебное отношение к войне усиливается с каждым днем. Мы не встретили ни одного рабочего, который высказался бы за гражданский мир с царизмом... Наилучшее представление о настроении рабочих дают подпольные воззвания, напечатанные типографским способом или размноженные при помощи пишущей машины или гектографа и выпускаемые самими рабочими: ведь так называемая партийная интеллигенция почти-что вся арестована. Эти воззвания появляются во всех промышленных центрах, и все они говорят только об одном: о борьбе с царизмом».

«Другое доказательство: рабочие отказываются от участия в денежных сборах на войну... Например, в Петербурге, на заводе «Вулкан», несмотря на все насильственные меры фабричной администрации, из общего числа в 5—6 тысяч рабочих сделали взносы всего 300 человек. Нет, сознательные русские рабочие остались врагами войны и царя... Самый злободневный вопрос—это борьба против войны. Мы не знали, каковы намерения зарубежных товарищей, но считали необходимым при-

ложить все усилия к делу организации движения, которое вынудило бы правительство положить конец войне. Мы будем бороться под лозунгом мира без аннексий и добиваться демократической республики... Ошибки братских партий не должны удерживать нас от выполнения нашего долга. Только своею активностью мы можем приобрести влияние на братские партии. Мы будем итти своим путем борьбы и надеемся, что уроки войны приведут к тому, что Интернационал возродится более сильным и более сплоченным. Ему придется действовать в атмосфере резче выраженных противоречий; поэтому мы надеемся, что все вредные иллюзии исчезнут.»

Гулко доносится утренний перезвон международной солидарности и воли к миру из стана женщин, в особенности женщин-социалисток, пролетарок. Конечно, в воюющих странах найдутся везде партийные женщины, восторженно несущие хоругвь новой буржуазно-патриотической веры в отечество и отставившие в скромный уголок старое боевое знамя социализма. Однако, в конечном счете, женщины-социалистки повсюду обнаружили гораздо больше стойкости, чем мужчины, в своей принципиальной оценке, как мировой войны, так и своей собственной задачи. А в соответствии с этим, стойко держится юный женский социалистический Интернационал, а внутренние узы, связывающие партийных женщин всех национальностей, стали крепче и сердечнее, несмотря на затруднительность внешних сношений.

В воюющих государствах английские социалистки первыми, перед лицом бьющегося в лихорадке мира, заявили в «Послании к женщинам всех стран» о своей интернациональной солидарности и своем горячем желании мира. Честь и слава этим смелым женщинам! Здесь невозможно и перечислить все те многочисленные выражения сочувствия, которыми немедленно откликнулись на послание социалистки нейтральных стран. Но отклики из воюющих государств мы считаем необходимым отметить. Русские партийные женщины приветствовали послание, как проблеск надежды над мрачной бездной братоубийства; австрийские социал-демократки, на первом же своем многолюдном собрании, постановили послать ответ, составленный в сердечных выражениях; тов. Цитц ответила письмом с выражением братских чувств социалисток Германии. Заведывающая интернациональным секретариатом в своем ответном письме уверяла английских товарищей-пролетарок в признательности и преданности социалисток всех стран и заявляла о солидарности также и с пролетарками прочих вовлеченных в войну стран. В письме заключалась оценка, с социалистической точки зрения, причин и характера мировой войны и указание на то, что добиваться мира—это ближайшая вели-

кая общая задача всех социалисток. Эта идея, в еще более определенной форме и с более детальной мотивировкой, была выдвинута в середине ноября перед женским социалистическим Интернационалом: воззвание интернационального секретариата призывало к планомерной и энергичной кампании в пользу скорого мира. Само собою понятно, что в нейтральных странах наши товарищи-пролетарки позаботились о самом широком распространении этого воззвания. Но важнее знать, какова была его судьба в воюющих странах. В Германии цензура не допустила опубликования воззвания в «Gleichheit»; в газете «Wiener Arbeiterinnen-Zeitung» оно прошло, но было порядком изуродовано рукою недремлющего начальства. Английским товарищам власти предержащие не препятствовали опубликовать воззвание и высказаться за предложенную в нем практическую работу. Русские товарищи приложили все усилия к распространению воззвания.

В Голландии, Италии, Швейцарии, в странах Скандинавии и в Соединенных Штатах женщины-социалистки на собраниях и в печати ведут борьбу против империалистической мировой войны и за мир, не представляющий собою бесплотного призрака, а наоборот, соответствующий социалистическому представлению о праве национальностей и народов. В государствах, не втянутых в войну,—в Швейцарии, Скандинавии, Голландии,—женский конгресс в этом году обещает превратиться в импозантную мирную манифестацию с резко выраженным интернациональным характером. Женщины-социалистки воюющих стран, несмотря на военное положение и гражданский мир, не лишены возможности присоединиться к возгласу своих сестер: война войне! Было бы желание, а пути найдутся,—в этом убеждает нас мужественное поведение парижских товарищей-пролетарок.

Сознание международной солидарности и воля к миру остались живы также и в кругах буржуазных женщин, в особенности в среде поборниц женского равноправия. Выходящий в Лондоне орган всемирного союза борьбы за избирательное право женщин—«Jus suffragii»—сообщает в каждом номере о смелых выступлениях в пользу мира. Конечно, во всех воюющих странах против этого восстают сверх-патриотки, которые с неменьшим усердием, чем патриоты из Союза защитников отечества, поддерживают напев о необходимости «войны до конца». Но наряду с ними очень многие и очень видные вожди буржуазных женщин остались верны старым идеалам, сохранили эти идеалы, как наследие той эпохи, когда либерализм переживал свою юность. Эллен Кей, Керри Чепман-Кетт и др. посвятили свой талант и свою мировую известность служению пропаганде мира. Характерно, что в этом деле и Германии проявляют максимум реши-

мости и активности те организации и женщины-вожди, которые ведут энергичную борьбу за всеобщее избирательное право женщин и за демократию. К таким организациям принадлежат союзы борьбы за избирательное право женщин в Мюнхене, Нюренберге, Гамбурге, Карлсруэ и, last, but not least, Женское Общество Мира; к вождям — Минна Кауэр, Анита Аугспург, Лида Гайман и Фрида Перлен. В первой половине февраля конференция буржуазных женщин в Амстердаме постановила немедленно приступить к подготовке международного женского конгресса, задачей которого будет выразить волю женщин к миру.

Мы не скрываем от себя, что адская симфония артиллерийской канонады и шумные националистические песни войны в ближайшее время будут заглушать требование мира, исходящее из глубины трепещущего женского сердца. Но это будет недолго, если женщины, если, в особенности, пролетарские женщины проявят серьезную волю. А они должны ее проявить, так как исторический факт этого ужасного взаимоистребления народов повелительно диктует им необходимость усиленной классовой борьбы, — борьбы тесно сомкнутою фалангою пролетариев. Политическое влияние возможно и без конституционных правовых титулов на прямое или косвенное участие в парламентской деятельности. Корни его — в явлениях социальной жизни и в тех идеях, в той воле, которые пробуждаются этими явлениями в людях. Мы, женщины, должны проникнуться сознанием значения нашей социальной роли и, следовательно, нашей реальной силы, которую мировая война именно и осветила ярким светом. Мы должны использовать эту силу, смело выступая впереди в войне против войны и при помощи грандиозных манифестаций придавая политический вес нашей воле к миру, как сознательно сконцентрированной массовой воле. Это — первейшая и важнейшая область, в которой мы можем претендовать на историческую роль в такое время. За подобную борьбу нас будут ругать «плохими патриотками», нас будут обвинять в измене отечеству. Пусть! Разве нас, социалисток, когда-нибудь щадила клевета, и разве она сковывала когда-нибудь нашу активность? Те, в чьих руках власть в данный момент, станут, быть может, преследовать нас, воздвигнут гонение на наши идеи и наше дело, будут карать за них. Но если бы такая перспектива могла запугать нас, мы были бы недостойны лелеять мысль об освобождении и возвеличении человечества социализмом. Таким образом, и мы считаем нужным «продержаться во что бы то ни стало», но только, в отличие от новообращенных социалистов-империалистов, ради цели прямо противоположной: продержаться против империализма и во имя социализма.

Мы выявили живые силы, приходящие в движение, как в стане женщин, так и в трудящихся классах различных, в том числе и воюющих стран, — силы, ставящие себе целью, путем воссоединения пролетариев и возобновления ими классовой борьбы, установить мир между разъединенными трудящимися народами. Объединить эти силы в единую волю и в единое действие,—как в национальном, так и в интернациональном масштабе,—таков для социалистов категорический императив нашего злополучного времени. Здесь перед нами — историческая задача величайшей важности, к спешному и энергичному выполнению которой должна была бы приступить, в особенности и в первую очередь, германская социал-демократия, чтобы искупить грехи, содеянные ею, в качестве союзницы империализма, по отношению к рабочему Интернационалу. Ее решение и ее поведение тем более важны, что она представляет собою самый многочисленный отряд Интернационала, что она всегда вызывала восхищение своею образцовою разработкою теории и практики социализма, и что ей принадлежала, можно сказать, никем не оспаривавшаяся роль вождя. К сожалению, в данный момент непохоже на то, чтобы партия сознала свой долг. Многое, очень многое следовало бы загладить и французской социал-демократии. Свести счеты с нею — это неотложное дело тех французских товарищей, которые не захотят долее терпеть, чтобы их партия и пролетариат продолжали оставаться жертвами и соучастниками политики господствующих классов. Мы же относительно Германии констатируем позорный факт, что здесь столь гордая социал-демократия находится в настоящее время в плену у империалистической военной политики и оказывается несостоятельной в борьбе за мир. Правда, мы слыхали благочестивые пожелания мира, которыми президиум партии, комитет партии, фракция рейхстага и прочие высшие инстанции пытаются уверить нас в незыблемости «принципиальной позиции партии». Но, как бы мы ни искали, мы не найдем тут одного, — воли к действию, той воли, которая призвала бы массы развить для дела мира, — а следовательно, ради своих же собственных интересов, — такую же энергию и принести такие же жертвы, каких требует от них империалистическая война. Без этой воли к действию самые красноречивые декларации представляют собою пустой звук.

Чего ждут руководящие инстанции германской социал-демократии, чтобы решиться проявить подобную волю? Не дожидаются ли они, под грохот орудий, с спокойствием и мудростью дельфийского оракула, «подходящего момента», чтобы бросить тогда всю мощь партии на ту чашку весов, на которой написано: «мир»? Полагают ли они, что не должны начинать действовать,

раньше, чем французская братская партия протянет им по всей форме ищущую мира руку? Нам думается, что у всех, не решающихся приступить к борьбе за мир, мы найдем в их подсознательной сфере идеологию буржуазного национализма, а не международного социализма. Политическими целями германского империализма и стратегическими масштабами его армий не могут определяться наши действия, как интернациональных социалистов. Чем дольше продолжается опустошающая Европу борьба народов, тем острее становится необходимость положить ей конец во имя настоящих и будущих интересов пролетариата, самым очевидным образом совпадающих в данном случае с высшими интересами человечества. И даже если стоять на узко-национальной точке зрения, то Германия представляет собою то из воюющих государств, которое менее всего должно опасаться, чтобы категорическая воля к миру не была истолкована, как бесславный симптом «усталости от войны» и «слабости». На наш взгляд, не побратски и неполитично поступают те, которые поведение германской социал-демократии ставят в зависимость от поведения французских социалистов. Не следует, ведь, забывать, что, кроме Бельгии, значительная часть восточной и северной Франции находится в руках немцев. Хотя мы и осуждаем решительно французскую социал-демократию за то, что она не расторгает своего соглашения с буржуазным правительством и не восстанавливает своего братского союза со всем рабочим Интернационалом, но все же, в виду создавшегося положения, мы можем понять ее поведение. А помимо того и прежде всего: с каких пор ошибки братских партий дают нам отпущение наших грехов? С каких пор они заменяют нам отсутствующую у нас добродетель? По этому поводу мы позволим себе повторить скромные, достойные и умные слова русских делегатов: «Ошибки братских партий не должны удерживать нас от выполнения нашего долга. Только своею активностью мы можем приобрести влияние на братские партии».

Итак, первейшим долгом германской социал-демократии, германских рабочих, мы считаем немедленное энергичное выступление в пользу мира, — выступление вместе с вождями, если они, наконец, решатся на это; без вождей, если они и в дальнейшем будут колебаться и медлить; против вождей, если они вздумают тормозить дело. Только подобным выступлением в пользу мира можно положить начало подведению прочного фундамента под дело возрождения рабочего Интернационала. Того, что разбито вдребезги злосчастной войною, не спаять воедино ни высокопарными уверениями вождей в солидарности и в симпатиях, ни мудро придуманными резолюциями относи-

тельно соглашательского мира. Величественное здание Интернационала может быть восстановлено только на основе доверия пролетарских масс, братски сомкнувших свои ряды под общим стягом, при зареве пожара классовой борьбы. «В начале было дело!» — эти слова подходят и к данному случаю. Между тем — «раннего утра уже начался перезвон». На призывный звон колоколов германский пролетариат должен ответить: я готов!

ИЗ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ЖИЗНИ.

I.

Трещина во фракции прусского ландтага.

Статья Генриха Штрёбеля.

Берлин, 17 марта 1915 г.

Конрад Гениш опубликовал во вчерашнем номере газеты «Гамбургер Эхо» статью, в которой, весьма кстати, бросает яркий свет на трещину, образовавшуюся в социал-демократической фракции прусского ландтага и, кстати сказать, проходящую сквозь всю партию вообще.

Правда, уже депутат ландтага Гирш, в газете «Френкише Тагеспост», писал об этих «несогласиях», но он старательно обошел щекотливые стороны вопроса. На его взгляд, расхождения были как бы притянуты за волосы, были искусственно вызваны неуместным внесением политических вопросов, касающихся империи в целом, между тем как для фракции ландтага, в условиях прусской идиллии, все сложилось бы так удобно, если бы она ограничила себя рамками предоставленных ее ведению прусских дел. Фракции ландтага надо было только просто-напросто пройти мимо войны и всех выдвинутых войною политических проблем,— и тогда в ее заседаниях не могли бы возникнуть какие бы то ни было раздоры. Но вот в этой группе нашлись несдержанные люди: они не захотели попросту пройти мимо ужасных фактов войны; они не сочли допустимым, в мудром самоограничении, предоставить все высшему усмотрению фракции рейхстага; они были глубоко потрясены «великой эпохою» и — вот уж чудаки! — вообразили себя обязанными, в качестве социал-демократов, высказаться и в прусской палате по поводу великих злободневных проблем. Такие люди нашлись в том и другом крыле

фракции, и так как обе группы были одинаковы по своей численности, то, в конце концов, оказалось невозможным помочь делу и крайним средством — постановлением большинства. Оба направления выдвинули своих ораторов, и так как «горячие головы» (как их называет Гирш) не сумели обуздать себя, то в их речах проявились удивительнейшие диссонансы.

Мы готовы согласиться с товарищем Гиршем, что это было некрасиво само по себе и далеко не назидательно для партии. Но ведь горечь создавшегося положения, в конце концов, коренилась не в личностях Либкнехта или Гениша и не в их неумении обуздать себя, а в той трещине, которая в настоящее время проходит сквозь всю духовную жизнь партии, в том невероятном брожении и замешательстве, которое вызвало в рядах социал-демократии колоссальное по своему значению событие—мировая война. И так как этот процесс брожения все же должен, в конце концов, закончиться прояснением, то мы не только не усматриваем несчастия, но — наоборот — видим прямо необходимость в том, чтобы и вся масса партийных товарищей была возможно полнее посвящена в смысл тягостных разногласий, дабы и эта масса обдумала проблемы, а затем вынесла свое решение. Ведь сущность демократии состоит, надо полагать, не в том, чтобы «вожди» и «инстанции» решали все споры в своем тесном кругу и затем давали директивы миллионам своих приверженцев, а в том, чтобы широкие пролетарские массы выслушивали все доводы за и против, а затем, зрело обсудив вопрос, сами избирали тот или иной путь. Для подобной ликвидации существующих разногласий и для подобного зрелого обсуждения вопросов время наступит лишь по окончании войны; однако, вреда от того не будет, если массы знают уже в настоящее время, насколько велики и остры те разногласия, которые придется партии вырешить в будущем.

С этой точки зрения, мы можем только приветствовать статью Гениша в «Гамбургер Эхо». Он ничего не затушевывает и не прикрывает, но и не преувеличивает, говоря о своих идейных противниках словами Лютера: «у них другой дух». В правильности этого взгляда мы имели возможность достаточно убедиться на заседаниях фракции. Впрочем, нет вовсе и надобности ссылаться на дискуссии в тесном кругу фракции: достаточно заглянуть в стенографические протоколы заседаний палаты депутатов, чтобы убедиться, что Гениш и Либкнехт (также Лейнерт и моя скромная персона) попросту перестали понимать друг друга.

Гениш и делает из этих фактов — опять-таки с похвальною откровенностью — свои выводы. Партейтаг, говорит он, превра-

тится в трибунал,—разумеется, для «озорников». И этот партийный суд пусть не церемонится и произведет решительную чистку,— таково желание Гениша. Чем терпеть, чтобы парализующие партийные раздоры в течение многих лет причиняли ущерб великим задачам пролетариата, так уж лучше—думает Гениш—сразу покончить со всеми этими «бесчинствами Либкнехтов и ему подобных» и выставить озорничающих за дверь. Вышвырнуть за борт «рыцарей принципа» и сутяжников партии, по мнению Гениша, удастся безболезненно, потому что за кучкою подобных вождей не последует сколько-нибудь значительное число сторонников.

Очень мило со стороны Гениша, что он высказывает без всяких обиняков, к чему клонится дело. Быть может, он просто выбалтывает то, что у других наболело на душе. Ведь некоторые профсоюзные газеты уже несколько месяцев тому назад угрожали, что придется вышвырнуть «озорников». В этих кругах публика стала с тех пор осторожнее, но товарищ Гениш настроен до сих пор очень оптимистично.

* * *

Разногласия, возникшие во фракции ландтага, по своему смыслу вполне тождественны с расхождениями, обнаружившимися в партии с момента возникновения войны.

С начала августа 1914 г. партия стала «переучиваться». До этого времени партия в своем большинстве, как это видно из всех постановлений партийных съездов, занимала по отношению ко всякому империализму резко отрицательную позицию. В ее непоколебимой вражде к какой бы то ни было империалистической войне не посмел бы усомниться и самый отчаянный пессимист. Кандидатом для дома умалишенных назвали бы того, кто вздумал бы пророчить, что через несколько месяцев германские «радикалы» станут прославлять мировую войну, как желанное событие, сулящее расцвет германского пролетариата и социализма.

Точно так же считалась совершенно исключенной возможность вотирования военных кредитов. В настоящее же время большинство фракции рейхстага говорит о разрешении этих кредитов, как о чем-то «само собою понятном»; да и вообще у нас сделано изумительное открытие, что истинная сущность социалистическо-пролетарского интернационализма заключается в безоговорочном служении национализму. Это—совсем еще недавнее открытие; ведь мы знаем со слов товарищей Реноделя и де-Мана, что еще накануне возникновения войны представитель Ц. К. германской партии заявил французским товарищам, что фракция рейхстага, по всей вероятности, *воздержится* от голосования, а

то и вовсе будет голосовать против военных кредитов. Заграницей, в нейтральных странах, такую позицию и считали чем-то само собою разумеющимся. Престарелый Герман Грейлих, в течение многих десятилетий состоящий вождем швейцарской социал-демократии, — притом человек, которого еще никогда ни один из германских товарищей не имел случая изобличить в крайнем радикализме,—лишь на этих днях высказался по этому поводу следующим образом: «Когда было получено телеграфное сообщение о том, что и социал-демократы голосовали единогласно за военные кредиты, мы этому не поверили. Но вслед за тем пришло подтверждение вместе с текстом сделанного фракцией заявления. Это был удар обухом по голове». А насчет поведения германской партии в течение последних месяцев (поскольку в настоящее время можно на партию возлагать ответственность за поведение большинства ее активных работников) Грейлих говорит: «Мы с изумлением видели, что руководящие германские товарищи продолжают оставаться во власти военного безумия».

В германской партии также нашлись люди, слишком долго прожившие в верности традициям партии и в мире социалистических идей, чтобы быть в состоянии «сменить вехи» так быстро, как это сделали Гениш и Ленш. В числе десяти членов фракции прусского ландтага оказалось даже целых пять таких староверов, о которых Гениш в своей знаменитой речи говорил тоном иронии, смешанной с состраданием, как о людях со слабым интеллектом. Неудивительно, что в этой фракции не прошло все так гладко, как во фракции рейхстага, где большинство, хотя также не могло переубедить меньшинство и рассеять гложущие его совесть сомнения, но все же имело возможность попросту подавить его численным превосходством своих голосов.

* * *

У Гирша мы читаем: «Какое дело фракции прусского ландтага до проблемы войны? Пусть ломают себе над нею голову депутаты рейхстага». Но, вот, господа буржуа были иного мнения. Они, в качестве представителей Пруссии, этого важнейшего из союзных государств, охватывающего $^{2}/_{3}$ населения всей империи, очень хорошо сознавали свой удельный вес. Война была — это они чувствовали — их делом; ход войны, ее задачи касались, в первую голову, их, господ крупных землевладельцев, господ крупных промышленников, представителей движимого капитала. Поэтому палата депутатов сочла своим долгом не только принять все связанные с войной социальные мероприятия, входящие в ее законодательную компетенцию, но и превратить обе свои сессии военного времени в импозантные манифестации в пользу войны.

Если бы даже резолюция международного Штуттгартского конгресса не налагала определенных обязательств на случай войны, то все же, при такой ситуации, первым долгом для социал-демократической фракции было бы выявить свое отношение к подобной манифестации. Однако, и декларацию социал-демократической фракции с великим трудом, пятью голосами против четырех, удалось включить известный «пункт о мире», представляющий собою поистине лишь крупицу того, чего надо было ожидать. Меньшинство фракции приводило обычные возражения: «Разумеется, и мы желаем честного и справедливого мира, но сейчас — момент, не подходящий для декларации в этом смысле. Заграницей она могла бы быть истолкована, как симптом слабости, а это только затянуло бы войну». С такой аргументацией можно в любой момент отвергнуть всякую социал-демократическую манифестацию в пользу мира!

Окончательно столкнулись оба направления во фракции при обсуждении в пленуме вопроса о цензуре и об осадном положении. Большинство буржуазных партий, руководимое свободными консерваторами и национал-либералами, потребовало от правительства допущения публичного обсуждения целей войны и условий мира. Правительство обещало удовлетворить это пожелание в тот момент, когда обсуждение означенных вопросов станет допустимым по соображениям военного и политического характера. Интерпеллянты временно удовлетворились таким ответом. Они ведь, пока-что, достигли своей цели: выразили крайнее свое неудовольствие по поводу мнимого несправедливого и недружелюбного отношения властей к аннексионистам и дали ясно понять правительству, чего ждут от имперского правительства в вопросе об условиях мира они, господа положения в Пруссии. В действительности, стало быть, дело сводилось вовсе не к озабочивающему буржуазное большинство поведению цензуры в будущем, а к неприкрытому выпаду против «пораженцев». Поэтому мне представлялось само собою понятным, что я, как оратор по данному вопросу, обязан не только выступить с жалобами на цензуру, но и охарактеризовать социал-демократическую позицию в вопросе о проблеме мира. Но, несмотря на то, что я свою речь в части, касающейся целей войны, изложил в самых осторожных выражениях, какие только мыслимы, застраховав ее от всякого шовинистического истолкования заграницей, эта часть моей речи встретила суровое осуждение со стороны большинства фракции, постановившего вычеркнуть ее. В ответ на это я заявил, что после устранения важнейшей части моей речи, я вынужден отказаться и от утратившей всякое значение остальной ее части, и в **этом**, по крайней мере, я был вполне понят тов. Генишем.

Чтобы составить себе представление о глубине той пропасти, которая образовалась между обеими группами во фракции (равно как и в партии), необходимо припомнить речь Гениша по поводу бюджета министерства народного просвещения.

Всем нам знакомы непостижимые для социалиста и марксиста иллюзии известных кругов партии. Война — говорят нам — это купель, омолаживающая нацию социально и морально. Совместно пролитая кровь крепче спаивает части нации, устраняет «предрассудки» и приводит к гармоническому разрешению столь резкие зачастую диссонансы классовой борьбы. К профсоюзам впредь не будут относиться хуже, чем к христианским союзам рабочих; стремления партии не будут осуждаться, как «враждебные порядку»; социальное законодательство развернется шире, а очистившийся от подозрения в «неимении отечества» пролетариат получит более широкие политические права. Далее, к внешней гармонии присоединится культурный подъем народа. В парламентах мы не услышим больше слов гнева и не увидим вспышек ненависти; как честные, благожелательные люди, противники будут, наподобие рыцарей, грациозно скрещивать шпаги. (Сторонников Либкнехта, будь они распречестные ребята и вчерашние друзья сердечные, надо выбросить из партии, потому что у них — «дух другой», но с господами фон-Рихтгофеном и Цедлицем можно столковаться!) Национальному и социальному духу будет соответствовать прекрасная свободная культура. — Эта картина будущего так обольстительно хороша, что вдохновила Гениша в одной из его брошюр на пророческие вирши:

О, Господи, каким цветком чудесным
Германия такая расцветет!

Если бы Гениш не был неизлечимым галлюцинантом, его сразу должны были бы вернуть в реальный мир речи, произнесенные представителями прочих партий во время дебатов по поводу сметы министерства народного просвещения. Ведь уже речь консерватора фон-Гослера обнаружила, чего эти господа ждут и могут ждать от войны. Утверждение ф.-Гослера, будто немцы «в отношении культуры и нравственности обнаружили огромное превосходство над всеми народами, о которых теперь говорят», — это еще невинный цветочек. Более серьезные опасения внушало восхваление Гослером «попечения о церковной жизни», давшего теперь «обильную жатву», как и вообще подчеркивание «наблюдаемой во всем нашем народе глубокой тяги к внутреннему сосредоточению, к религиозности». А когда оратор консервативной партии потребовал, как чего-то само собою понятного, недопу-

щения «русских и японцев» в высшую школу и высказал надежду что «переживаемая нами великая эпоха даст толчок к общему расцвету нашего германского искусства», то нам стало достаточно ясно, что клерикальная реакция собирается пожать плоды войны не в одной только Франции.

Впрочем, и речи всех остальных буржуазных ораторов носили приблизительно тот же отпечаток. Господин Кауфман из партии центра сказал, между прочим: «Пусть наше германское искусство и, в особенности, наша поэзия теперь, в этой великой войне, освободится, наконец, из обольщающих объятий заграницы, с их мертвящим влиянием на немецкую душу». Национал-либералу фон-Кампе принадлежат такие слова: «Школа, не проникнутая духом нашего времени, ничего не стоит. В настоящее время школе неминуемо, как бы со стихийной силой, будут поставлены совершенно новые цели и указаны совершенно новые пути». А оратор свободомыслящих Эйкгоф не только подчеркивал этот национал-либеральный идеал школы, но и почтительно расшаркивался перед духовенством.

Как же реагировал на все это Гениш? Изобразил ли он, в противовес этой националистически реакционной программе, социалистические идеалы культуры? Будем справедливы: он против многого возражал, защищал международное взаимооплодотворение искусства и науки, порицал слишком резкие шовинистические уклоны и т. д. Но центральными пунктами в его речи были: отстаивание «гражданского мира», националистическое воодушевление и фанатическая надежда на «победу».

Карл Либкнехт как-то сказал, что в Германии, вероятно, не найдется человека, который был бы настолько извращен, чтобы желать поражения Германии. Но со стороны социал-демократа такою же извращенностью было бы желать поражения наших противников. Социал-демократ видит счастие всякой нации и торжество культуры не в насильственном подавлении той или другой стороны, а во взаимном согласии. Такой взгляд отстаивал до момента возникновения войны каждый социал-демократ; в этом смысле высказался также 10 марта, от имени социал-демократической фракции рейхстага, тов. Гаазе.

Гениш стоит на другой точке зрения. Он разделяет взгляд тов. Ленша, который считает торжество германскаго империализма равнозначущим с торжеством германского пролетариата и... марксизма; это он высказал в своей речи не менее трех раз. По его стопам пошел и тов. Лейнерт 5 марта, при обсуждении бюджета железнодорожного ведомства.

Что хорошо для германских социал-демократов, то не худо и для русских, французских и английских социалистов. Наши

германские товарищи не вправе осуждать их, если они, на манер Гениша, настаивают с высоты парламентской, а то и министерской трибуны, на «полной победе» своей страны. Если Гениш гордо именует себя социал-демократом-германцем или германским социал-демократом, то, например, к Плеханову не хуже идет титул русского, а к Вальяну — титул французского социал-демократа. Все они помогают раздувать пламя войны и добиваться «полной победы»... во славу социалистического Интернационала!

Не приходится удивляться тому, что такой старый и умеренный социал-демократ, как Герман Грейлих, говорит о «военном помешательстве» некоторых социал-демократов, которое он может себе объяснить только влиянием «навязчивых представлений» (idées fixes). Вполне понятно также, что, при таком расхождении во взглядах, о соглашении между обеими группами фракции прусского ландтага не могло быть и речи, ибо каждая сторона должна сказать о своих противниках: у них — дух другой!

* * *

Мы считаем в высшей степени отрадными и расхождение умов и столь неприкрытое выявление нового веяния, — национального социализма (можно даже сказать — национал-социализма, потому что никакой другой программы не отстаивал пастор Науман, а Ленш превосходно вульгаризовал бывшего национал-социалиста Рорбаха): ведь с восстановлением нормальной жизни партии придется самым основательным образом разделаться с заблуждениями и с идейной путаницей.

Лишь в одном мы не согласны с Генишем, именно — с его убеждением, что масса германского пролетариата воспримет новое евангелие социализма, основывающего свои чаяния на войне и связанных с нею иллюзиях, и что, в виду этого, кучке «озорников» остается покорно приступить к укладыванию своих чемоданов. Мы верим в обратное, потому что полвека социалистической школы и просвещения не могло пройти для масс так бесследно, как того ожидают виртуозы по части «смены вех».

Ведь на самом деле вся эта злобная ругань по адресу «озорников», все эти бешеные угрозы мнимого большинства обнаруживают только нечистую политическую совесть и внутреннюю неуверенность. Если бы это было не так, то почему бы стали так сломя голову торопиться «вышвырнуть» товарищей, все преступление которых заключается в верности прежней теории и тактике партии, между тем как раньше, в продолжение десятилетий, с кротостью ягненка терпели бесконечное «озорничание» ревизионистов?

С наибольшим удовольствием Гениш и Ко сплавили бы «озорников» немедленно, путем созыва чрезвычайного партейтага. Но так как это, к сожалению, невозможно, то приходится быть готовым к тому, что они попытаются застигнуть «озорников» врасплох, созвав партейтаг в настолько ускоренном порядке, чтобы не оставалось достаточно времени для необходимой дискуссии в печати и на собраниях, и чтобы определенные выборные органы в нынешнем своем составе выступили «судьями» в своем собственном деле. Но и такая попытка, надо полагать, потерпит позорное фиаско, натолкнувшись на демократическое чувство и здоровое политическое чутье партийных масс.

Если Гениш не успеет снова, со свойственным ему проворством, «сменить вехи», то легко может случиться, что ему придется с ужасом констатировать относительно самих пролетарских масс Германии, что у них—дух другой!

II.

Разложение фракции рейхстага.

Берлин, 31 марта 1915 г.

Тов. Либкнехт собирался поместить на страницах этого журнала статью, посвященную тактике социал-демократической фракции германского рейхстага. Но уже в начале января Либкнехт был призван в войска, и мы, к величайшему для нас прискорбию, лишены были возможности приветствовать его в кругу наших сотрудников. Кроме того, заявляем, что он и косвенно к настоящей заметке причастен так же мало, как любой другой из членов фракции рейхстага. Мы только собрали материал, уже опубликованный в некоторых органах, как буржуазной, так и социал-демократической печати.

О событиях, происходящих во фракции рейхстага, буржуазная пресса часто бывает осведомлена лучше или, по меньшей мере, скорее, чем социал-демократическая пресса. В «Форвертс'е» даже сообщалось об одном случае, когда «Берлинер Тагеблатт» в своем вечернем издании, заканчиваемом печатанием в 3 часа пополудни, опубликовал постановления фракции, о которых «Форвертс», к набору которого приступают в 4 часа, мог сообщить лишь на следующее утро, ссылаясь на сообщение «Тагеблатт'а», так как дать собственное сообщение он не мог в силу запрета, исходившего от фракции. В этом, однако, как объяснил в партийной прессе тов. Штампфер, не повинен ни один из членов фракции, если говорить об умышленной вине. «Кто знаком

с внутренней жизнью рейхстага, — читаем мы у Штампфера, — тот знает, как трудно фракции что-либо сохранить в тайне. О всяком важном событии во фракции уже спустя час говорят все в кулуарах. И причиною несоблюдения тайны почти никогда не бывает злой умысел; причина почти всегда кроется в случайности или в неуместной доверчивости. Напр., два члена фракции вели между собою громкий разговор или же кто-нибудь доверил тайну человеку, с которым его связывает личная дружба, тот доверил ее другому и, смотришь, скоро секрет известен уже всему городу». В этих строках Штампфер ярко изобразил ту страсть к сплетням и ту претенциозность, которые процветают, как нигде, в кулуарах бессильных парламентов.

Но в таком случае зачем скрывать, как некую религиозную тайну, от наивной 4-миллионной массы избирателей-социал-демократов то, что известно «всему городу», т.-е. каждой буржуазной фракции и каждому из членов правительства? Спокойное чувство собственного достоинства народного представителя не должно переходить в холодное самомнение школьного учителя, вроде того, какое проявил недавно один из членов фракции в закрытом собрании в одном из предместий Берлина: он распек какого-то бойкого избирателя за «преступное любопытство», выразившееся в том, что последний задал депутату вопрос относительно факта, известного уже в течение нескольких недель «всему городу». Что касается нас, то мы не желаем терзаться муками «преступного любопытства» и потому ограничимся теми данными, которые уже давно стали достоянием печати. А эти немногие вступительные слова мы сочли необходимыми для того, чтобы наивная масса социал-демократических избирателей не заподозрила нас в намерении сделать «разоблачения», что нам совершенно чуждо.

* * *

Социал-демократическая фракция рейхстага заседала со дня начала войны четыре раза. В первый раз — 3 августа 1914 г., когда ей предстояло решить вопрос об утверждении первого военного займа в сумме 5 миллиардов. Чего в тот момент ждали от фракции, и чего надо было ждать от нее в соответствии с программою партии, с постановлениями партийных съездов, с постановлениями международных конгрессов, а также со всеми традициями германской социал-демократии, — по этому вопросу высказался за несколько дней перед тем, в официальной беседе с французской братской партией, секретарь германской партии Герман Мюллер: он заявил, что фракция либо отклонит требуемые правительством кредиты, либо воздержится от го-

лосования, и что возможность голосования за кредиты, по его мнению, исключается.

Фракция, однако, 78 голосами против 14 высказалась за разрешение кредитов. Декларация о мотивах голосования, сделанная ею с предварительного согласия правительства и буржуазных фракций, уже развеяна ветром в пережитое с тех пор бурное время. Что касается «культуркампфа» против царизма, игравшего главную роль в декларации, то в настоящее время даже самый ограниченный филистер может говорить о нем только пожимая плечами. Зато декларация умалчивает об аргументе, который имел решающее значение, по крайней мере, для части членов фракции: о боязни насилий, будь то со стороны правительства, или со стороны фанатиков вроде того, от руки которого пал Жорес. Члены фракции не хотели, чтобы национальная честь была запятнана подобным актом.

Впоследствии стало известно, что часть вотировавших кредиты (приблизительно 20 или 30 человек) голосовала бы сепаратно в том случае, если бы большинство фракции решилось отказать в кредитах. Когда же решено было голосовать за кредиты, вопрос о сепаратном голосовании встал перед меньшинством в числе 14 человек, усматривавшим в постановлении большинства попрание принципов партии. Если это меньшинство все же не решилось голосовать против кредитов, то у него, без сомнения, были для этого очень веские основания. При оценке положения вещей в целом приходилось основываться больше на слухах, чем на достоверных сведениях; казалось вероятным, что, несмотря на падение большинства, предстоят тяжелые конфликты с правительством; и вот, сочли необходимым избегнуть всего, что напоминало бы раскол в партии. Первый председатель Ц. К. партии, шедший с меньшинством, даже настолько подчинился фракционной дисциплине, что согласился, хотя и после долгого сопротивления, публично огласить декларацию большинства фракции.

Конечно, теперь нам все виднее, и мы можем сказать, что сепаратный вотум меньшинства дал бы более благоприятные результаты, чем его молчание: тогда за Иенским сражением вряд ли последовала бы такая быстрая капитуляция крепостей; кроме того, ошеломляющее впечатление от кажущегося единодушия фракции толкнуло значительное число партийных газет в объятия оголтелого шовинизма.

* * *

Когда рейхстаг был вновь созван на 2 декабря, чтобы вотировать второй по счету военный заем в сумме 5 миллиардов,

и фракция собралась 29 ноября на предварительное совещание, происхождение и сущность войны вырисовывались уже гораздо яснее, чем 3 августа. К этому времени было также пережито немало горьких разочарований. Соответственно этому, в двухдневных дебатах расхождения обозначались резче прежнего. Меньшинство насчитывало уже не 14, а 17 человек: один перешел к большинству, но зато от последнего откололись четверо. Меньшинство выдвинуло предложение — разрешить ему выступить перед пленумом со своим особым мнением. Но большинство отклонило это предложение; точно также оно не поддалось и на настойчивые увещания известного австрийского товарища—опубликовать энергичное воззвание в пользу мира и против нарушения нейтралитета Бельгии. Оно не могло, однако, решиться бессловесно вотировать военный заем и изготовило декларацию, заключавшую в себе несколько предостерегающих фраз относительно осадного положения, политики аннексий и бельгийского вопроса.

Эта декларация, подобно прежней, от 4 августа, была представлена на просмотр правительству и буржуазным партиям. Последние, а за ними и правительство, потребовали, чтобы означенные фразы были вычеркнуты или изменены. В связи с этим обнаружилось, что действительно «всему городу» было известно о том, что происходило в недрах фракции. Статс-секретарь Дельбрюк заявил, что ему известно про некоторых членов фракции, с их же слов, что они готовы голосовать за кредиты безо всякой декларации со стороны фракции; депутат народной партии Пайер сказал, что ему лично говорили социал-демократические депутаты, что они отнюдь не принципиальные противники завоеваний. В виду создавшегося затруднительного положения, группа в 20-30 членов фракции приняла решение, в случае уступки требованиям буржуазных партий, прочитать на пленуме декларацию без изменений, как свой сепаратный вотум. Под влиянием угрозы, большинство отклонило какое бы то ни было изменение или устранение тех фраз, против которых были сделаны возражения.

При голосовании, в заседании 2 декабря, члены меньшинства вышли из зала; остался один Либкнехт, который, не поднявшись с места, этим самым открыто голосовал против разрешения кредитов. После этого президиум фракции опубликовал в «Форвертс'е», в номере от 3 декабря, заявление о том, что «глубоко сожалеет об этом нарушении дисциплины, которое явится еще предметом обсуждения фракции». Это заявление не произвело никакого впечатления, между тем как мужественный акт Либкнехта зажег сердца сознательных рабочих, как в Германии, так и за ее пределами.

Конечно, можно было бы сомневаться в целесообразности поступка Либкнехта, отделившегося от меньшинства, которое так же, как и он было против разрешения кредитов. Но и по отношению к данному случаю оказывается, что теперь нам виднее. Ряд неопровержимых фактов доказывает, что поступок Либкнехта встретил живой отклик у германских товарищей, а для зарубежных товарищей этот поступок был первым лучом надежды на то, что лежащее в обломках величественное здание пролетарского Интернационала будет вновь воздвигнуто.

Нелепость утверждений буржуазных газет и даже ослепленных социалистов, будто Либкнехт своим поступком приподнял дух военных противников Германии и, таким образом, способствовал затяжке войны, достаточно освещается тем фактом, что шовинистическая пресса Франции изображала его, как правительственного агента, разыгравшего комедию революционной непримиримости для того, чтобы поднять заграницей престиж «императорской германской социал-демократии» и своим примером внести замешательство в ряды французских социалистов.

* * *

В третий раз фракция заседала 2, 3 и 4 февраля сего 1915 года. Она была созвана по инициативе тов. Ледебура, который настаивал на необходимости принять решение по вопросу о выступлениях Зюдекума заграницей в качестве добровольного агента правительства.

Но в первую очередь было подвергнуто обсуждению, в продолжительном заседании, дело Либкнехта. Подробностей, ставших известными относительно этого заседания «всему городу», мы здесь не будем касаться: они очень невыгодны для престижа партии. То же самое можно сказать, конечно, и обо всем деле, возбужденном против Либкнехта. Он нарушил фракционную дисциплину, чтобы спасти партийную дисциплину, которую фракция попрала ногами. Он нарушил мелкий формальный долг, чтобы выполнить более высокий нравственный долг. Борцы освободительного движения XVI века говорили в подобных случаях, что «надо больше повиноваться Богу, чем человеку». А один из борцов XIX века облек ту же мысль в несравненно более грубую формулу, из которой мы предпочитаем выпустить одно очень не-парламентское слово. Он сказал: «В то время как одна сторона... нарушает все законы, от другой стороны требуют самого щепетильного соблюдения даже устава». Эти слова принадлежат Карлу Марксу, и, напутствуемый ими, Карл Либкнехт, надеемся, не станет слишком огорчаться проклятиями, которые посылают ему Легины и им подобные.

Но возбужденное против Либкнехта дело о нарушении фракционной дисциплины не стоит того, чтобы о нем говорить в слишком высоком стиле. Один из тех 20 или 30 товарищей, которые, по недавнему признанию одного из них, собирались 3 августа пренебречь фракционной дисциплиной в том случае, если бы большинство решилось отклонить кредиты, назвал это дело «лицемерием и несправедливостью». Это совершенно верно, если принять во внимание, что значительная, если не самая значительная, часть фракции сама погрешила или, по крайней мере, готова была погрешить против фракционной дисциплины. В пользу фракции, как смягчающее ее вину обстоятельство, мы позволим себе еще привести тот факт, что отдельные пункты направленных против Либкнехта резолюций все же имели против себя голоса значительных меньшинств (15, 33, 39, 20, 26 голосов).

После дела Либкнехта фракция занялась делом Ледебура. Как справедливо указывал Ледебур, услуги, оказанные Зюдекумом самочинно германскому правительству заграницей, сильно скомпрометировали партию, и Ледебур сложил с себя звание члена президиума фракции, мотивируя свой поступок тем, что президиум не реагировал на поведение Зюдекума так, как это следовало сделать по мнению Ледебура. Фракция решила, что упреки Ледебура по адресу президиума были необоснованы, и что его поведение заслуживает самого решительного осуждения. Соответствующую резолюцию постановлено было опубликовать. С другой стороны, было отклонено предложение выразить публичное порицание правительственному агенту Зюдекуму; фракция ограничилась незлобивым заявлением, что члены ее не вправе итти навстречу «просьбам» правительства без разрешения фракции или, если она не созвана, ее президиума, и что этот последний должен «воздерживаться» от дачи подобных разрешений.

Наконец, в эту сессию фракция обсуждала еще вопрос о мире, — «подробнейшим образом», как сообщил оффициоз партии, и притом «без разногласий», но со строжайшим соблюдением тайны в отношении, как дебатов, так и принятых решений. На этот раз даже «весь город» не узнал ничего, так что наивной массе избирателей приходится совершенно подавить свое «преступное любопытство». Она может, впрочем, сделать это спокойно, в сознании, что сокровенные мысли фракции по вопросу о мире, в политическом отношении, лишены всякого значения.

* * *

После этих событий не было ничего удивительного в том, что во фракции обнаружилось полное разложение, когда она вновь собралась (в четвертый раз) 8 марта 1915 года, перед сессией рейхстага, в которой предстояло вынести решение по вопросу о бюджете в 13 миллиардов, в том числе о новых военных кредитах в сумме 10 миллиардов и о других военных расходах на сумму более 1 миллиарда. Накануне уже заседал Центральный Комитет Партии, высказавшийся за вотирование новых военных кредитов 35 голосами против 5, а за вотирование бюджета в целом — 30 голосами против 10.

Во фракции, прежде всего, обнаружилась довольно сильная оппозиция против утверждения новых кредитов. Предложение утвердить только 5 миллиардов, дабы правительство не могло слишком долго обходиться без созыва рейхстага, было отклонено большинством около двух третей голосов; утверждение же всех 10 миллиардов было принято всеми голосами против 23, а считая еще двоих отсутствовавших, но позже высказавших свое мнение, — против 25 голосов. Еще больше затруднений вызвал вопрос о том, следует ли принять бюджет, как таковой. Здесь уже нельзя было действовать уклончиво. Оставалось либо отклонить бюджет, либо попрать торжественнейшие постановления партийных съездов в Любеке, Магдебурге и Нюренберге и перед лицом всего мира сделать нарушение партийной дисциплины основою фракционной политики. Все попытки уклониться от этой дилеммы при помощи самых невероятных ухищрений оказывались сразу настолько нелепыми, что о них не стоит и упоминать: слишком много чести для них. Более логичны были сторонники вотирования бюджета, которые без дальнейших околичностей заявляли, что грехопадение произошло уже 4 августа и 2 декабря, потому что утверждение первых двух сумм военных кредитов, испрашивавшихся в порядке дополнения к смете, уже представляло собою два случая утверждения бюджета. Против этого спорить не приходится, но все же оставалось некоторое различие в условиях, заключающееся в том, что, утверждая годичный бюджет, социал-демократическая фракция добровольно упраздняла себя на целый год, обрекала себя на безвольное подчинение всякому решению правительства в продолжение года и, таким образом, лишала себя всякого влияния на ход войны и на характер будущего мира, притом в такое время, когда у партии отрезаны все прочие пути к выявлению своей воли, между тем как буржуазными, вдобавок очень влиятельными партиями открыто выдвигаются самые невероятные планы завоеваний. Однако, большинством около двух третей голосов было постановлено голосовать за принятие бюджета в целом.

Что одними заявлениями не достигается ровно ничего, в этом можно было достаточно убедиться в августе и декабре прошлого (1914) года. В марте же 1915 г. присоединилось такое обстоятельство: первый оратор по бюджету (Гаазе) произнес довольно сильную речь, но зато второй оратор (Шейдеман) нашел успокоительные слова для обеспокоенных речью Гаазе буржуа. Форма, в которой в заседании от 20 марта президиум фракции отрекался от Ледебура, заставила даже те заграничные партийные газеты, которые все еще на что-то надеялись и чего-то ждали, безнадежно махнуть рукою: лучшего, мол, ждать не приходится.

При голосовании в пленарном заседании рейхстага к тов. Либкнехту на этот раз присоединился тов. Рюле: оба они голосовали против. Тридцать членов фракции обнаружили свое отрицательное отношение к вотированию бюджета, удалившись из зала заседания. Их фамилии весьма кстати опубликовал «Форвертс». Это были товарищи: Альбрехт, Антрик, Баудерт, Бернштейн, Бок, Брандес, Бюхнер, Давидсон, Диттман, Эммель, Фукс, Гейер, Гаазе, Генке, Герцфельд, Гох, Гофрихтер, Горн, Куперт, Ледебур, Лейтерт, Пейротес, Рауте, Шмидт, Шварц, Симон, Штадгаген, Штолле, Фогтгерр и Цубейль. К ним присоединился еще тов. Коп, не присутствовавший в заседании. Таким образом, «крошечная группа», или «ничтожное меньшинство», будто бы имеющее против себя «подавляющее большинство», составляет в рейхстаге около одной трети фракции (в прусском ландтаге, как мы видели, даже целую половину).

Но распадением на большинство и меньшинство еще далеко не ограничивается разложение фракции рейхстага. Внутри большинства брожение продолжается. Наряду с национал-либеральными элементами, готовыми итти с правительством куда угодно, в большинстве имеются люди с чутьем, которые уже предостерегали не перегибать чересчур дуги, так как, мол, недовольство избирателей тактикой фракции растет; эти люди сумеют внять голосу разума, когда наивная масса начнет проявлять активность. С другой стороны, и в меньшинстве нет сплоченности. Оно не все против вотирования новых кредитов: 8 или 9 человек не соглашались только вотировать бюджет; да и этим еще не исчерпываются все оттенки, о чем свидетельствует уже последовательная оппозиция Либкнехта и Рюле.

Внутреннее разложение фракции рейхстага представляет собою, разумеется, весьма печальное, но вполне объяснимое явление. Боеспособность пролетарской организации держится ее принципом; стоит только разорвать эту скрепу, и организация неудержимо распадется. До сих пор только фракция поступи-

лась принципом, но этого еще не сделала партия. Пока не поздно, партийные массы должны обдумать, должно ли продолжаться и впредь то, что делалось в продолжение 8 месяцев. Уже некоторые enfants terribles из наших парламентариев проговорились, что существует такой план: немедленно после заключения мира созвать партейтаг и добиться того, чтобы «крошечная группа» была выброшена из партии. Ну, «крошечной группе» не приходится бояться такого позорного coup d'état, но зато у партии есть к тому полное основание, потому что, если бы подобное покушение удалось, партия подверглась бы разложению точно так же, как в настоящее время фракция рейхстага.

Возврат к исконным своим принципам — вот единственный путь, могущий обеспечить единство партии и ее будущность.

ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ И МИФ.

Статья А. Тальгеймера.

«Между войной и миром». Издатели: Георг Ирмер. Карл Лампрехт и Франц фон-Лист.

Выпуск 1. Г. Ирмер. Освободимся из-под мирового гнета Англии!
» 2. Ф. ф.-Лист. Средне-европейский союз государств.
» 3. А. Дикс. Война за мировое хозяйство.
» 4. Г. Гроте. Германия, Турция и Ислам.
» 5. Фон-Цедлиц и Нейкирх. Финансы Империи и союзных государств.
» 6. О. Гецш. Россия, как противник Германии.
» 7. К. Лампрехт. Война и культура.
» 8. И. Рисер. Англия и мы.
» 9. М. ф.-Брандт. Китай и Япония.
» 10. Э. Дриандер. Рождественские мысли в военное время.
» 11. Ц. Петерс. Бедствия немцев в Лондоне.
» 12. М. Апт. Война и положение Германской Империи, как мировой державы.
» 13. Г. Лош. Средне-европейский экономический блок и судьба Бельгии.
» 14. Е. ф.-Филиппович. Экономический и таможенный союз Германии и Австро-Венгрии.
» 15. П. Фишер. Между войною и миром.

Много лет тому назад, одному прусскому министру юстиции пришлась по вкусу известная, применяемая к тенденциозной юстиции поговорка: «если двое делают одно и то же, то это — не одно и то же». Прусскому министру хотелось, чтобы эти слова самым серьезным образом рассматривались, как настоящее юридическое положение. Эта знаменитая поговорка невольно приходит на ум, когда присмотришься к цензурной практике нынешних германских военных властей. Так, напр., в ежедневной печати не полагается обсуждать вопрос об аннексиях. Но империалистская пресса как будто бы пользуется в этой

области гораздо большею свободою, чем печать, не сумевшая еще понять необходимость завоеваний. Возможно, однако, что это с нашей стороны ошибка плохого наблюдателя, а потому не будем останавливать над этим фактом внимание читателя.

Зато уже обширная брошюрная и журнальная литература дает нам осязательные доказательства в пользу положения, что «если двое делают одно и то же, то это — не одно и то же». В этой литературе политические и экономические цели войны, в том числе и вопрос об аннексиях, обсуждаются и формулируются уже не в неопределенных выражениях, а с полною ясностью и в конкретнейших деталях. Эту удивительную практику нельзя оправдать необходимостью помнить о чужих, враждебных нам или нейтральных странах, потому что этим странам одинаково легко, а то еще и легче добывать брошюрную или журнальную литературу, чем ежедневные газеты. В таком случае, не руководятся ли наши власти заботами о населении своей же собственной страны? Если принять во внимание, что брошюры и журналы представляют собою литературу, обслуживающую очень тесный круг, а наоборот, газеты — это литература широких масс, то невольно напрашивается странная мысль, что секрет неодинакового внимания цензуры к различным родам литературы открывается просто: по вопросу о характере и целях войны существуют известные истины, которые можно доверить без опасения небольшому кругу посвященных, но приходится держать в тайне от широкой массы непосвященных. Совсем, как у некоторых философов классической древности, которые берегли свою философию, как некое строго хранимое тайное учение, для круга избранных учеников, в то время как остальной, непросвещенной толпе подносились окутанная мраком мифология и наивные легенды.

Нам возразят, что государственные люди Германии и германские военные — не философы классического мира. Против этого спорить не приходится: они — люди практики; они руководствуются, без сомнения, не воспоминаниями из античной жизни, а соображениями практического свойства; исторические сравнения к ним не применимы.

Итак, будем держаться фактов. Лежащая перед нами серия брошюр посвящена именно вопросу о целях войны; это видно уже из заголовков, а еще яснее из предисловия издателей. Она должна, как говорят издатели, «просветить публику насчет великих политических и экономических вопросов, которые в момент заключения мира будут иметь весьма существенное значение для жизненных интересов империи». Это «просвещение», предназначенное, повидимому, в первую очередь, для буржуазной

публики, будет тем более желанным для германских рабочих, что оно представляет собою странный контраст с теми неопределенными, ребяческими речами, которые преподносятся рабочим в буржуазной и, к сожалению, не только в буржуазной прессе. Правда, и серия Листа и Лампрехта не совсем свободна от этой, рассчитанной на большую публику, мифологии, но она отступает на задний план; вдобавок, излагая эту мифологию, авторы до того явно тут же себе противоречат, что легенда видна насквозь.

Зато у авторов брошюр наблюдается трогательная солидарность в том, что составляет сущность их «просвещения», а ведь подобное единодушие всегда считалось признаком истины. Имена авторов, сплошь принадлежащих к числу авторитетных буржуазных историков и политиков, ручаются за то, что просветительный материал не представляет собою неавторитетных измышлений некомпетентных величин, а действительно раскрывает тайну сердца буржуазных классов.

Шире всего эта тайна раскрывается в брошюре Артура Дикса (выпуск 3). Нынешняя война — говорит он ясным языком — ведется «под знаком империалистической идеи». «Империализм — продолжает он — это воля к мировой власти, стремление мировых держав, в соответствии с потребностями своей нации, добыть и обеспечить своему народному хозяйству соразмерную его наличным силам долю участия в мировой власти и в мировом рынке». Шаблонным фразам об идеалистическом характере войны Дикс противопоставляет трезвую формулу: «Если в древнейшие времена войны между массами велись из-за пастбищ, то в настоящее время они ведутся из-за доли участия в мировом рынке». Для полной исторической неоспоримости этой формулы ее необходимо немного дополнить в том смысле, что движущей силой и заинтересованной стороною в этой борьбе за мировой рынок всегда является не нация в целом, а владельцы национального капитала. Так же полно и без прикрас обрисовывает и Ирмер общий характер войны в следующих словах: «Пора перестать повторять, как нечто само собою понятное, что германцы выступили слишком поздно конкурентами на арене борьбы за мировое хозяйство и мировую власть, что мир уже распределен между другими. Разве не происходили во все исторические эпохи новые переделы земли? А при новом переделе земного шара наш народ не должен, попрежнему, уйти с пустыми руками. Раз мы вышли в открытое море мировой политики, у нас уже нет путей к отступлению, если мы не хотим впасть в национальный и моральный маразм, если не хотим отречься от самих себя». Ирмер желает, чтобы

рядом с «Great Britain» (с британской мировой державой) заняла место «Великая Германия».

Новый передел земли в интересах германского капитала — такова общая программа. Детали выполнения этой программы являются основной темой данной серии брошюр. Авторы с большой смелостью и уверенностью проводят на земном шаре линии, намечающие будущие германские доли. Верным капиталистическим инстинктом руководствуются они, когда намечают в качестве составных частей «Великой Германии» не только колониальные области, находящиеся еще в прочном обладании их теперешних владельцев, но и значительные территории европейского континента, которые предполагается частью включить в состав Германской Империи, частью объединить с Германией политически, экономически и в военном отношении, образовав «средне-европейский союз государств». Экономическое основание это двоякой программы нигде определенно не указано, но оно с полною ясностью вытекает из экономических условий капиталистической экспансии. С одной стороны, капиталу нужны, для его роста, некапиталистические области сбыта: это — колонии, сферы интересов и т. д. С другой стороны, ему необходимо расширить свой внутренний центральный промышленный очаг, чтобы иметь возможность в свободных областях мирового рынка выступать против своих конкурентов во всеоружии технического и экономического превосходства, каковое ему может дать только обширная, единая капиталистическая база. Кроме того, задача обороны и расширения крупного империалистического государства выдвигает необходимость расширения его военного базиса.

В военном отношении выполнение империалистической программы требует уничтожения морского владычества Англии. Это требование мы и находим уже в заголовке первого выпуска серии: «Освободимся из-под мирового гнета Англии». Оно же проходит красною нитью через всю серию.

Попробуем сгруппировать, в первую очередь, колониальные требования. Господин Ирмер налагает руку — мимоходом — на Марокко: «Французским dépendance (придатком) эта страна не должна стать». Господин Дикс останавливает свой взор на северной и средней Африке: первая может поставлять хлопок и руду, вторая — каучук. Африка привлекает также взоры господина фон-Цедлица. Для восточной Азии господин фон-Бранд предлагает программу restitutio in integrum, т.-е. 1) возвращение Киао-Чау плюс возмещение за убытки купцов и судовладельцев и 2) недопущение раздела Китая. Последнее означает «открытые двери», а опыт прошлого учит нас, что

«открытые двери» — это подготовительная стадия к поглощению лакомого куска. С Китаем предлагается заключить оборонительный союз.

Европейская программа наших империалистов обнимает две вещи. Прежде всего — присоединение чужих территорий на западе и на востоке империи. За это высказывается в общих выражениях господин фон-Лист, исходя из интересов обороны границ. Гораздо яснее выражается господин Дикс. «Германское побережье должно доходить до Ламанша, до выхода в открытый Атлантический океан». Поэтому Бельгию «нельзя выпускать из рук», и «побережье от Остенде до устья Соммы» — изрядная часть северного побережья Франции — «не должно достаться политическому вассалу Англии», т.-е. должно быть отторгнуто от Франции. На западе господин Дикс требует еще французскую Лотарингию с ее огромными ископаемыми богатствами; на востоке ему желательно, чтобы был положен конец политическому и экономическому разобщению среднего и нижнего течения Вислы. Господин Лош, экономист, подчеркивает: «Война между тремя западно-европейскими державами ведется не только на территории Бельгии: она ведется за Бельгию».

Основание «средне-европейского союза государств» возложено, по принадлежности, на либерального профессора международного права фон-Листа. Ему и карты в руки: как юристу— чтобы сконструировать юридическую сторону дела, а как либералу—чтобы разукрасить возводимое строение фразами в «демократическом» духе. Мы уже охарактеризовали истинный смысл этого союза государств и потому можем свободно обойтись без критической оценки фраз о «восстановлении разрушенных войною междугосударственных уз», об оборонительных и мирных задачах союза и т. д. Из самого плана ясны его задачи. «Твердое ядро» союза должны образовать Германия совместно с Австро-Венгрией. Союз между ними должен быть сделан еще более тесным при помощи «зафиксирования в конституции», военных конвенций и объединения торговой политики. К этому ядру должны присоединиться Нидерланды, три скандинавских государства, Швейцария, Италия и Балканский полуостров с Европейской Турцией. Желательно также присоединение Франции и Испании. В итоге получается территория в 8 миллионов кв. километров с населением в 200 миллионов душ. Члены союза, по этому плану, пользуются «полною самостоятельностью», неприкосновенность территории каждого из них гарантируется взаимной порукою; дальнейшими связующими мерами служат: общая защита от нападений, военные конвенции, единство принципов хозяйственной жизни и установление единства мер, весов

и валюты. Германия является в этом союзе «не гегемоном, а первым среди равных (primus inter pares)». Комментарий к этому мы находим у господина Лампрехта, который говорит: «Мы в праве надеяться, что тут установится градация, при чем Германская Империя в целом займет, по меньшей мере, такое же положение, какое до сих пор занимала в Империи Пруссия»... Когда господин фон-Лист исчисляет общую сумму населения своего союза государств и противопоставляет этой сумме, как нечто равнозначащее, численность населения Англии с ее колониями, то в этой детской игре кроется глубокий смысл: этим приемом затушевывается тот факт, что проектируемый союз государств представлял бы собою в военном отношении, принимая во внимание разбросанность по всему свету частей Британской Империи, отнюдь не равноценный с нею комплекс, а абсолютно ее превосходящий, и, таким образом, служил бы орудием мирового владычества.

Судорожные попытки согласовать эту империалистическую программу с совершенно противоположным официальным характером войны, как войны оборонительной, и с официальным лозунгом, отвергающим какие бы то ни было завоевания, приводят, вполне естественно, к комичнейшим сальто-мортале. Соответствующие отрывки из данной серии брошюр полны невольного, а потому самого великолепного юмора. Мы приведем несколько образчиков. Господин фон-Лист говорит, что наша война — «не завоевательная, а оборонительная». Через несколько страниц он высказывает свое убеждение в необходимости территориальных приобретений на Востоке, на Западе и за океаном. Как согласовать одно с другим? А вот как: «Конечной целью войны является не победоносная кампания, а выгодный мир». Господин Дикс утверждает евангельскую гармонию, заявляя: «Даже тот, кому чужда агрессивная политика, все же вынужден подумать о переходе в наступление, как только выяснилось с несомненностью намерение напасть на него». Это, по мнению Дикса, распространяется как на военные, так и на политические и экономические отношения. В настоящее время — говорит он — экономические цели Германии должны сообразоваться с первоначальными целями наших противников. А эти «первоначальные цели наших противников» оказываются удивительно подходящими для того, чтобы, в противовес к ним, выдвинуть... именно то, что составляет программу империализма. Тут невольно является искушение уверовать в предустановленную гармонию Лейбница. Франция и Россия — говорит Дикс—хотели сблизить восточную и западную границы Германии. Отсюда следует, что мы должны раздвинуть эти границы. Англия хотела—опять-

таки по словам Дикса—присвоить себе долю участия Германии в мировом хозяйстве и «удушить» народное хозяйство Германии (на этой-то почве возникло соглашение о Багдадской железной дороге!). Отсюда следует: «в ответ на это» Германия должна «стремиться уничтожить долю участия Англии в мировом хозяйстве и нанести смертельные удары народному хозяйству Англии»... Великолепно!

Ту же цель выдвигает и господин фон-Цедлиц; у него только подход другой, «Территориальные приобретения,—говорит он,—в качестве возмещения за военные расходы, вполне совместимы с тем фактом, что мы не ведем завоевательной войны». Как видите, все пути ведут в Рим.

Наконец, господин Гецш, в своей брошюре о России, опровергает с немецкой основательностью миф о борьбе против царизма, об освободительной войне. Он обстоятельно доказывает, что добрые отношения между Романовыми и Гогенцоллернами представляют собою «не легенду, как часто приходилось слышать в последнее время, а неоспоримый, исторически верный факт». По поводу утверждения, будто «Германия воюет против царизма», он замечает мимоходом: «Ведь нас совершенно не касается форма государственного строя другого государства: во всяком случае, она не может служить призом за победу в борьбе, в которой поставлено на карту самое существование государства. Истинной движущей силою конфликта является, по Гецшу, восточный вопрос, о котором он говорит, пародируя известные слова Бисмарка, что ради него «следовало бы пожертвовать костями даже значительного числа померанских гренадер».

Брошюра господина Лампрехта, историка, представляет собою сплошную мифологию. Для оправдания этой войны он призывает духов нашей классической литературы и философии. По этому вопросу пусть он объясняется с господином Диксом и с его «борьбой за долю участия в мировой власти». Говорить серьезно о таких вещах не приходится. Господин Лампрехт своею лептою замыкает круг метаморфоз: после того как из официального мифа вылупилась историческая действительность, он эту неприглядную действительность превращает обратно в более приглядный миф. Но только уж назвать этот миф наивным никак нельзя.

НАШИ УЧИТЕЛЯ И ПОЛИТИКА ПАРТИЙНЫХ ИНСТАНЦИЙ.

Статья Франца Меринга.

Политикой инстанций мы будем называть, для краткости, ту политику, которую с начала войны вели большинства некоторых партийных органов (Ц. К. партии, расширенный Ц. К. партии и фракция рейхстага) в несомненно добросовестном, но пока еще недоказанном предположении, что за ними стоит большинство партии. Эта политика инстанций отличается чрезвычайной простотой. Она рассуждает так: война есть война; в войне поставлено на карту существование нации; ради вопроса о существовании нации рабочий класс должен отречься от всякой самостоятельной политики и, жертвуя своими классовыми интересами, покорно итти на буксире у господствующих классов.

Есть, однако, один пункт, в котором представители политики инстанций не единодушны между собою. Одни, как, напр., Гениш, Кунов и Грунвальд, претендуют на право выступать в качестве преемственных представителей истинно-марксистского мышления, в отличие от нас, горемычных, усвоивших себе совершенно окостеневший и обескровленный формальный марксизм. Другие, вроде Шейдемана, самым решительным образом настаивают на необходимости плюнуть на ученость.

Плюнуть на ученость—значит отречься от Лассаля, Маркса и Энгельса. Дело в том, что эти наши учителя, отличаясь совершенно негосударственным строем мысли, всерьез были убеждены, что без научного багажа вести политику невозможно. Лассаль говорил: «Политическое убеждение возможно только на гранитном фундаменте научного познания; одного «образа мыслей» недостаточно: он является, по своей природе, продуктом условий, темперамента и настроения; как последнее, он переменчив». Маркс в 1850 г., отвечая «практикам» Союза коммуни-

стов, насмехавшимся над его непрактичною ученостью, писал: «Я провожу обычно весь день, с 9 час. утра до 7 час. вечера, в Британском музее. Демократическим simpleton'ам незачем, конечно, так утомлять себя. Зачем этим счастливчикам биться над историческим и экономическим материалом? «Ведь все так просто»,—говаривал мне не раз бравый Виллих. Все так просто... в этих дурных головах». На редкость недалекие ребята! Отсюда ясно, что тот, кто плюет на ученость, дает отставку Марксу и его соратникам.

Безусловно верно, однако, что тов. Шейдеман стоит на правильном пути. Политика пистанций, действительно, не имеет ничего общего с нашими учителями. Это не доказывает еще ее несостоятельности, потому что ни Маркс, ни Энгельс, ни Лассаль не были непогрешимыми папами. Но она не в праве прикрывать свою природную окраску львиною шкурою.

Оспаривая это право, мы, надеемся, не «озорничаем». Мы только поддерживаем тов. Шейдемана в его дерзком плевке, а другой группе главарей политики пистанций мы, заодно, подкладываем под гильотину их патриотического возмущения целую тройку «не имеющих отечества молодцов».

* * *

Наши учителя мыслили, как историки, и потому они не стояли на неисторической точке зрения, что война есть война, и что все войны следует мерить на один аршин.

Для них каждая война имела свои определенные предпосылки и следствия, от которых зависело, какую позицию надлежит занять по отношению к ней рабочему классу. Насчет фактических условий той или иной войны им случалось более или менее сильно расходиться во взглядах, но всегда только под решающим углом зрения, каким образом можно использовать данную войну с максимумом пользы в интересах пролетарской освободительной борьбы. Для их классовой политики не было различия между войною и миром, кроме, разве, того, что в условиях войны они требовали от рабочего класса еще большего внимания к своим интересам и еще более неуклонного отстаивания этих интересов.

В 1859 году у Лассаля возникла весьма оживленная полемика с Марксом и Энгельсом по вопросу о войне, которую вела Франция, при поддержке России, против Австрии, пытавшейся, в качестве авангарда Германского Союза, втянуть в войну также и прочие германские государства. В Германии, особенно на юге, действительно обнаружилось сильное движение против Франции, которое Энгельс и Маркс считали действительно национальным,

имеющим естественные корни, стихийным и непосредственным, а стало быть, — и возможным источником революционных решений, которых они ждали, и толчком к которым должна была послужить война против бонапартистской Франции. Лассаль же, наоборот, считал, что движение против Франции сводится к давнишней тупоумной ненависти к французам, что оно внутренне реакционно, и что, если немецкое правительство хочет ввязаться в войну с Францией, то пусть ввязывается, но при этом следует внушить массам отвращение к этому конфликту, как реакционной кабинетной затее, а затем из неизбежных превратностей этой войны извлечь пользу для революции.

Мы выделили это разногласие из числа многих, ему подобных, потому, что из него видно, во-первых, как легко возникают неодинаковые взгляды по вопросу о «фактических предпосылках». В вопросе о цели Лассаль был солидарен с Марксом и Энгельсом: им важны были исключительно интересы революции, которые в их глазах были вместе с тем и национальными интересами. Энгельс писал Лассалю: «Да здравствует война, если на нас нападут одновременно и французы, и русские; когда мы будем в положении утопающих, тогда, в минуту отчаяния, все партии, начиная с господствующей в настоящий момент и кончая Цицом и Блюмом, окажутся несостоятельными, и нации, ради своего спасения, придется, наконец, обратиться к наиболее энергичной из партий». На это Лассаль ответил: «Совершенно верно, и вот уже два месяца, как я бьюсь здесь, пытаясь убедить людей, что если наше правительство ввяжется в войну, оно только сыграет нам в руку и именно по этим основаниям чрезвычайно ускорит революцию». Но, — прибавил Лассаль, исходя из своей точки зрения, — задуманную принцем-регентом Пруссии войну необходимо сделать непопулярной в массах, чтобы она «превратилась в величайшее счастье для нации».

В конце концов принц-регент все же не решился объявить войну Франции, и таким образом для поверки задачи случая не представилось. На дипломатическом поприще правитель Пруссии, конечно, не пожал лавров, что очень мало огорчило Лассаля. «Я считаю, что в преданности интересам нации никому не уступаю, — писал он Марксу, — но, чорт побери, с какой стороны может интересовать меня и тебя могущество принца Прусского? Так как все его стремления и интересы идут вразрез с стремлениями и интересами немецкого народа, то для последнего именно важно, чтобы влияние принца Прусского в международных отношениях было как можно слабее. Мощь немецкого народа — дело будущего, и, может быть, никто не думает о ней серьезнее и не рисует себе ее шире, чем я! Но она явится и

может явиться лишь тогда, когда у нас будет народоправие, вместо наших.... династий. Мощь немецкого народа и могущественное положение немецких династий—это для меня две вещи, настолько же различные, как небо и земля».

Эти слова не были обронены в пылу борьбы; это была одна из основных идей (чтобы не сказать: основная идея) национальной политики Лассаля. В тщательно обработанной речи: «Что же теперь?», в которой он призывал прогрессистов к энергичной борьбе против министерства Бисмарка, он рекомендовал им парализовать внешнюю политику Бисмарка, при чем прибавлял: «Пусть никто из вас не подумает, что я рассуждаю непатриотично». Политик, по мнению Лассаля, должен, подобно естествоиспытателю, принимать в соображение все действующие силы; трудно представить себе, на какой ступени варварства еще стоял бы мир, если бы соревнование и взаимный антагонизм правительств не представляли собою испокон веков действительного средства к тому, чтобы вынуждать правительства к прогрессивным реформам внутри страны. Германская нация, — говорит Лассаль, — не настолько беспомощна, чтобы поражение, понесенное ее правительствами, заключало в себе действительную опасность для существования самой нации. «Стало быть, если мы будем втянуты в большую войну, то в этой войне могут, пожалуй, рухнуть отдельные наши правительства — саксонское, прусское, баварское,—но из их пепла, подобно фениксу, восстало бы нерушимым то, что единственно нам дорого, — немецкий народ!»

Филистеры, которым Лассаль объяснял все это, кричали «браво!», но года через два Бисмарку все же удалось отвлечь их от народа и привлечь на сторону правительств; в связи с этим им пришлось вытерпеть немало насмешек со стороны партийной прессы. В настоящее время, однако, обиды этих молодцов отомщены, и политика инстанций бросает животворящий свет на опустелые столы, за которыми они собирались. Она напевает национал-либеральную боевую песенку 1867 года: кто не умеет в надлежащий момент сменить свои вехи, тот обнаруживает этим самым либо недостаток интеллекта (по Генишу), либо излишек учености (по Шейдеману).

* * *

Как в войну 1859 года, так и во время войн 1866 и 1870 годов разногласия в лагере социал-демократии всегда касались «фактических предпосылок», но никогда не касались раз навсегда незыблемо установленного принципа, что рабочий класс при всякой войне должен вести самостоятельную политику.

После того как германской революции 1848 г. не удалось создать единую Германию, прусское правительство стало пытаться использовать для династических целей систематически вспыхивавшее, под влиянием экономического развития, германское объединительное движение: вместо единой Германии, оно пыталось создать, по выражению тогдашнего короля Вильгельма, «продолженную» Пруссию. Лассаль и Швейцер, Маркс и Энгельс, Либкнехт и Бебель были вполне солидарны в том, что необходимая германскому пролетариату единая Германия может быть создана только национальной революцией, и сообразно с этим они беспощадно боролись против всех династически-партикуляристических стремлений великопрусской политики. Но они также,—кто раньше, кто позже, в зависимости от того, насколько они уясняли себе «фактические предпосылки», — сумели и примириться с горькой необходимостью, когда выяснилось, что на национальную революцию, вследствие трусости буржуазии и слабости пролетариата, нельзя рассчитывать, и когда созданная при помощи «железа и крови» Великая Пруссия открыла для классовой борьбы пролетариата более благоприятные перспективы, чем те, которые могло бы открыть для нее восстановление Германского Союзного Совета с его жалкой мелочной грызней из-за местных интересов, не говоря уже о том, что восстановление это было, конечно, делом невозможным. После Кёниггреца Маркс, Энгельс и Швейцер (Лассаля не было уже в живых), а после Седана также Либкнехт и Бебель стали рассматривать прусско-германское государство со всей его гиблой и уродливой физиономией, как факт, хотя и не внушающий восторгов, но все же предоставляющий для пролетарской освободительной борьбы более благоприятные условия по сравнению с ужасным хозяйничаньем Союзного Совета.

Последние следы диссонанса в партии проявились в июле 1870 г. в связи с голосованием первых военных кредитов: Либкнехт и Бебель воздержались от голосования, а прочие социал-демократические депутаты голосовали за кредиты. Но уже в декабре того же года, при голосовании вторых кредитов, единомыслие было восстановлено: все парламентские представители социал-демократии, — эйзенахцы Либкнехт и Бебель, лассальянцы Швейцер и Газенклевер, гатцфельдтианец Менде и профессионалист Фрицше, — голосовали против. Все тогдашние фракции социал-демократии образовали против милитаризма классового государства сплоченный фронт, который вся партия сохраняла до 4 августа 1914 года.

Насколько решительно Маркс и Энгельс в 1870 г. одобряли германскую войну до Седана, потому что низвержение Наполеона

представляло собою первостепенный интерес для европейского рабочего движения, настолько же решительно они выступили после Седана против той же войны, которая велась только ради аннексии Эльзаса и Лотарингии, т.-е. ради цели, достижение которой, как они правильно предвидели и предсказали, должно было создать величайшие опасности для европейской культуры и, стало быть, также для европейского рабочего движения. По словам Вальяна, осведомленность которого вне всяких сомнений, Энгельс даже предоставил в распоряжение правительства французской республики свои соображения насчет возможных путей к отражению вторгнувшихся во Францию германских армий. С этим сообщением как будто не согласуется тот факт, что Энгельс очень неодобрительно отозвался о «правительстве национальной обороны» вскоре после его образования, в сентябре 1870 года, и что он заявил о безнадежности дальнейшего военного сопротивления со стороны Франции; но ведь положение стало совершенно иным спустя несколько месяцев, когда Гамбета сумел весьма успешно двинуть в дело свои милиционные отряды.

16 января 1871 г. Маркс писал в газету «Daily News»: «Франция, — дело которой, к счастью, далеко не безнадежно, — борется в настоящий момент не только за свою национальную независимость, но и за свободу Германии и Европы.» Если Энгельс разделял этот взгляд, — что не может подлежать сомнению, — то нет никаких внутренних оснований к тому, чтобы сомневаться в достоверности сообщения Вальяна.

* * *

Однако, как ни осуждали Маркс и Энгельс аннексию Эльзаса и Лотарингии, они все же были весьма далеки от того, чтобы присоединиться к французским крикам о реванше, после того как аннексия стала фактом. Путеводной звездою их политики оставалось всегда положение: «Наше дело — посильно содействовать освобождению западно-европейского пролетариата, и этой цели мы должны подчинять все прочее». С этой точки зрения они расценивали и жалобы угнетенных граждан Эльзаса и Лотарингии. «Если им желательно, перед лицом явно надвигающейся революции, провоцировать войну между Францией и Германией, снова натравить оба народа друг на друга и этим отсрочить момент наступления революции, то я говорю: Стоп! Если терпит европейский пролетариат, то наберитесь и вы терпения. День освобождения пролетариата будет и днем вашего освобождения; а до того момента мы не потерпим, чтобы вы становились на дороге борющегося пролетариата».—Так писал Энгельс в 1882 г.

Опасение, что французские мечты о реванше могут зажечь

пламя новой европейской войны, никогда не оставляло этого преданного Экгарда европейского пролетариата. Когда был заключен франко-русский союз, который Энгельс вместе с Марксом уже давно предсказывал, как роковое последствие германской аннексионной политики 1871 г., и когда осенью 1891 г. кронштадтские торжества отуманили головы французской буржуазии, Энгельс в «Almanach du Parti ouvrier» от 1892 г. предостерегал французских рабочих не поддаваться влиянию этого угара. Спустя некоторое время он поместил ту же статью и в «Neue Zeit» (год X, том I). Так как мысли, изложенные Энгельсом в этой статье, в течение последних 8 месяцев несчетное число раз приводились представителями политики инстанций для воздействия на германских рабочих, то мы остановимся на них несколько подробнее.

Энгельс набросал в своей статье краткий очерк истории германской партии. Он констатировал безостановочный рост германской социал-демократии и предсказывал ее победу приблизительно через 10 лет. Партия — говорил он — не может отказаться и никогда не откажется от революционных методов, — но пока она процветает великолепно, не выходя из законных рамок; если буржуазия (в чем не может быть сомнений) предпочтет взять на себя инициативу боевой схватки, то возможно, что превосходство сил контр-революции отсрочит на несколько лет торжество социализма, но тем полнее будет его последующая победа.

Однако, — писал Энгельс во второй части своей статьи, — все это остается в силе только при условии, если Германия будет продолжать свое экономическое и политическое развитие в условиях мира. Война изменила бы всю картину. А война возможна в любой момент. На одной стороне в этом случае были бы Франция и Россия, на другой—Германия, Австрия и, быть может, Италия. Социалистам всех этих стран, зачисленным в действующие армии принудительно, пришлось бы сражаться друг с другом. И вот, возникает вопрос: что сделала бы в подобном случае германская социал-демократия? что стало бы с нею?

На вопрос, что стало бы с германской социал-демократией, Энгельс отвечает (цитируем дословно):

«Одно верно: ни царь, ни французские буржуазные республиканцы, ни германское правительство не упустили бы такого прекрасного случая подавить единственную партию, которая является их общим и главным врагом. Мы видели, как Тьер и Бисмарк протянули друг другу руку через развалины Парижской Коммуны; а в данном случае нам пришлось бы быть свидетелями того, что царь, Констан и Каприви (или их преемники) кинулись бы друг другу в объятия над трупом социализма.»

Далее Энгельс ставил вопрос: к чему сводится, в виду подобной перспективы, долг германских социалистов? Должны ли они пассивно покориться событиям, которые угрожают им уничтожением? Должны ли они сдать без сопротивления свой пост передовых бойцов международного пролетариата? Ответ Энгельса на этот вопрос мы приведем дословно, хотя бы уже потому, что представители политики инстанций всякий раз, когда ссылались на слова Энгельса (а это они делали несчетное число раз), всегда приводили их в искаженном виде, на что у них были свои веские причины.

«Ничуть, — отвечает Энгельс. — В интересах европейской революции они обязаны удержать все позиции, не капитулировать ни перед внешним, ни перед внутренним врагом. А это они могут выполнить только ведя с напряжением всех сил борьбу против России и всех ее союзников, кто бы они ни были. Если французская республика предоставит свои силы в распоряжение его величества, царя и самодержца всея России, то германские социалисты будут бороться против Франции, хотя и с болью в сердце. По отношению к Германской Империи французская республика может, при наличии известных условий, выступить представительницей буржуазной революции. Но по отношению к республике Констана, Рувье и даже Клемансо, в особенности же по отношению к республике, состоящей на службе у царя, германский социализм безусловно является представителем пролетарской революции.

«Война, при которой русские и французы вторглись бы в Германию, была бы для последней войною не на жизнь, а на смерть, и в этой борьбе Германия могла бы отстоять свое национальное существование только путем применения революционных методов. Нынешнее правительство, наверно, не откроет дороги революции, если только оно не будет к тому вынуждено. Но у нас есть сильная партия, которая сумеет его принудить к этому, а в крайнем случае и занять его место: это — социал-демократическая партия.

«И мы не забыли величественного примера, который явила нам Франция в 1793 году. Столетняя годовщина 1793 г. приближается. Если завоевательный пыл царя и шовинистическое нетерпение французской буржуазии попытаются остановить победоносное, но мирное наступательное движение германских социалистов, то последние, — будьте в этом уверены, — сумеют доказать миру, что нынешние германские пролетарии вполне достойны французских санкюлотов, и что 1893 год может занять место рядом с 1793 годом. А тогда, если солдаты господина

Констана ступят ногою на германскую территорию их будут приветствовать словами Марсельезы:

Quoi! ces cohortes etrangères
Feraient la loi dans nos foyers? *).

«Коротко говоря: в условиях мира, германской социал-демократической партии обеспечена победа приблизительно через 10 лет. В случае войны она может победить через 2—3 года, но может также подвергнуться и полному разгрому, по меньшей мере, на 15—20 лет. В виду этого, со стороны германских социалистов было бы сумасшествием желать войны, которая поставила бы все на карту, вместо того, чтобы дожидаться верного торжества своего дела в условиях мира. Больше того: ни один социалист, какой бы национальности он ни был, не может желать военного триумфа ни нынешнего германского правительства, ни буржуазных республиканцев Франции, ни — тем более — царя, победа которого была бы равносильна порабощению Европы. И потому социалисты всех стран стоят за мир.»

Так писал Энгельс. Совершенно очевидно, что он, — с наилучшим намерением отбить у французских рабочих охоту к реваншу, к войне за Эльзас и Лотарингию, — увлекся в своей статье в сторону несколько смелого обоснования политики на определенных конъюнктурах и выдвигает для считавшейся возможной в 1893 году войны «фактические предпосылки», несостоятельность которых в настоящее время нет надобности доказывать. Таково его утверждение, что уже в 1901 году наступит момент победы германской социал-демократии. В действительности, приблизительно около этого времени утвердилась эра империализма, о которой Энгельсу в 1891 году ничего не было да и не могло быть известно. Уже по одной этой причине тогдашние рассуждения Энгельса совершенно неприменимы к империалистической войне 1914 года. В них гораздо больше связи с прошлым, чем с будущим, потому что они представляют собой лишь более полное развитие высказанного им еще в 1859 году взгляда, что, как только французы займут Кёльн, а русские Кёнигсберг, тотчас же пробьет час германской революции.

В высшей степени странно, что представители политики инстанций, вообще не знавшие меры упрекам Энгельсу за его «легкомысленную игру с огнем революции», за «опрометчивые пророчества» и т. п., положительно влюблены в эту статью нашего учителя. Но ларчик открывается просто: выдернутые

*) Как, эти чужеземные легионы будут распоряжаться в наших селениях?

из статьи отдельные фразы удобны для втирания очков рабочим. Этими фразами стараются доказать не то, что германские рабочие должны оказать сопротивление в случае нападения со стороны французов и русских, — это они и сами сделают, не справляясь у каких бы то ни было авторитетов, — а пытаются, прикрываясь именем, произносимым рабочими с благоговением, незаметно внушить им представление, будто, в случае войны с Францией и Россией, они должны слепо кинуться в объятия господствующих классов.

Ночью, несомненно, все кошки серы. Но наши учителя были весьма далеки от того, чтобы перенести это положение на войны. В их глазах каждая война имела свой особый закон, и Энгельс сам отверг бы «окостеневший и обескровленный формальный марксизм» того, кто вздумал бы по отношению к действительной войне 1914 года возводить в евангельскую истину те требования, которые он, Энгельс, выдвигал по отношению к возможной войне 1893 года. Но если политика инстанций неустанно проповедует это евангелие, то ей не следовало бы обманывать верующих, держа их в неведении относительно того, что эта политика во всем идет вразрез с теми требованиями, которые Энгельс выставлял в 1891 году, как необходимое в тот момент условие победы германского оружия.

Энгельс настаивал на том, что германская социал-демократия не должна капитулировать ни перед внешним, ни перед «внутренним врагом», под которым он подразумевал германское правительство. Социал-демократия — говорил он — должна принудить правительство к революционной политике или, в крайнем случае, занять его место. Политика же инстанций, наоборот, сразу пошла на буксир к правительству и без попытки сопротивления, хотя бы в легальнейшей форме, сдала позиции пролетариата, его свободу печати и собраний, — принесла их в жертву на алтарь отечества. Энгельс требовал от германской социал-демократии политики санкюлотов 1793 года, а политика инстанций объявляет еретиком, — «озорником», «нарушителем дисциплины», а то и «шпиком», — всякого товарища, осмеливающегося хотя бы напомнить о том, что германский рабочий класс все же не должен в войне играть роли «бессловесного пса». Энгельс заявлял, что ни один германский социалист не может желать победы нынешнего германского правительства, а политика инстанций вещает миру, что эта победа зажжет зарю германской свободы.

Пусть она считает себя умнее Энгельса, — это ее неоспоримое право. Возможно, что она и в самом деле умнее его (не будем здесь касаться этого вопроса). Но, в таком случае, не к лицу ей жонглировать словами Фридриха Энгельса. Это —

неприлично вообще и сугубо неприлично для смелых борцов, прокладающих путь к лучшему будущему.

* * *

Мы видели, что Маркс, Энгельс и Лассаль при всякой войне считали самостоятельную политику рабочего класса безусловной необходимостью, первейшим долгом момента. Но они не дожили до эры империалистических войн. Возникает вопрос: не руководствовались ли бы они при этих войнах другим принципом?

До 4 августа 1914 г. весь социалистический мир был солидарен в том, что ответить на этот вопрос можно только отрицательно. По этому предмету мы имеем вполне ясные и недвусмысленные постановления международных конгрессов в Штуттгарте (1907 г.), в Копенгагене (1911 г.) и в Базеле (1912 г.). Указываемый ими рабочим партиям отдельных стран маршрут на случай войны диктуется исключительно интересами международного пролетариата.

При таком положении возможен еще такой вопрос: вероятно ли, что Маркс, Энгельс и Лассаль 4 августа 1914 года пренебрегли бы постановлениями международных конгрессов, как это сделала политика инстанций, притом — nota bene! — сделала без всякого на то полномочия, с грубым нарушением партийной дисциплины и с обвинением в ереси товарищей, достаточно добросовестных для того, чтобы не отступать от единственно законных еще и по сей день постановлений международных конгрессов?

Отрицательный ответ на этот вопрос дает вся жизнь и деятельность наших учителей. Представьте себе Маркса в ноябре 1912 г. поднимающим руку на Базельском конгрессе, чтобы «огненными буквами» начертать грозное «мене-текел на стенах дворцов королей, министров и посланников», а спустя два года — подписывающим тою же рукою на бездушной канцелярской бумаге отказ на все время войны от пролетарской классовой борьбы! Да это просто немыслимо! Далее, вспомните, что Маркс впервые увенчал себя лаврами, вступив в борьбу не на жизнь, а на смерть с цензурою и предпочтя с честью исчезнуть, чем влачить жалкое существование, и представьте себе, что сказал бы тот же Маркс по поводу града моральных внушений, которым осыпал ряд партийных газет нашу храбрую газетку, выходящую в Готе, за то, что она недостаточно низко склонила голову перед цензурою. Если бы Маркс наблюдал с высоты Олимпа эту маленькую картину нашего быта, он, наверно, удивленно потряхивал бы своей львиной гривой. Ведь то, что произошло с нашей партийной

газетой весною 1915 года, не ново для Маркса: то же самое произошло в 1843 году с его газетою «Rheinische Zeitung». Но ему не пришлось выслушивать правоучений за недостаточное почтение к цензуре даже от самых закоснелых до-мартовских филистеров. Что за чертовщина! Куда же нашим добровольцам итти дальше в смысле патриотического настроения?

О свободе печати наши учителя были высокого мнения, и к мужеству печати они предъявляли строгие требования, служа сами в этом отношении безупречным примером. Когда в 1871—72 гг. обозначились первые, еще робкие шаги в направлении «гражданского мира», Маркс изложил свои мысли по вопросу о «Свободе печати и слова в Германии» в упомянутом уже выше письме, отправленном им 16 января 1871 г. в газету «Daily News». В высшей степени ободряющий текст этого письма читатель может прочитать в «Neue Zeit», год 20, том II. В 50-х годах, когда либеральная пресса трепетала перед полицейской палкой Мантейфеля, Маркс отчитал ее в самых резких выражениях, — настолько резких, что повторить их значило бы рисковать оскорбить «хороший тон» нашей высоконравственной эпохи; поэтому мы ограничимся приведением самого мягкого отрывка из его статьи: «Она (либеральная пресса) широкими штрихами начертала на своем знамени: «Безопасность—первейшая обязанность гражданина», и под этим знаком ты будешь... жить». В таком же духе выступил и Лассаль, когда в 60-х годах либеральная пресса без всякого серьезного сопротивления подчинилась указам Бисмарка о печати; здесь мы точно также можем привести только самое мягкое место: «Партия, не умеющая устлать свою важнейшую позицию своими трупами, не имеет никаких шансов на победу».

Разумеется, эти критические выпады наших учителей относились во всех случаях только к либеральной прессе. При их жизни, да еще в течение нескольких десятилетий после них, не было ни разу повода для критической оценки партийных социал-демократических газет с точки зрения взглядов Маркса и Лассаля на задачи печати. Они считали одинаково почетной участью для печати — жить сражаясь или умереть сражаясь. Больше того: по их мнению, в политической партийной борьбе часто бывает так, что умереть с честью — самая важная задача. А влияние подцензурной прессы Маркс еще в своей юности, в первых своих работах, обрисовал в мрачных, но безусловно правдивых красках.

В газете «Hamburger Echo», этом наиболее изменившем старому знамени органе политики инстанций, недавно было сказано, что «озорники», брюзжа и ворча, бегут за колесницею рабочего

движения. Эта фраза не этой газетой придумана, но все же счастливо выужена ею из официозного моря фраз. Автором ее является некая содержанка Бисмарка, которая в продолжение целого ряда десятилетий боготворила своего господина и повелителя, а потом, когда он впал в немилость у кайзера, уколола его в пятку, заявив, что он бегает, брюзжа и ворча, за колесницей имперской политики.

Однако, с ядовитыми насекомыми шутить не следует. Политика инстанций, применяя к другим приведенную фразу, сама же подвергается уколу. Если она в настоящее время претендует на правоту, то, стало быть, она в продолжение четырех десятилетий слишком бегала, брюзжа и ворча, за колесницей императорской политики. Кто вотирует правительству carte blanche в области политики и двадцать миллиардов деньгами для ведения войны, относительно которой тысячу раз предсказывали, что она должна произойти в недалеком будущем и может произойти в любой день, тот не должен был из года в год заявлять тому же правительству: «ни одного человека и ни одного гроша», т.-е. отказывать правительству в том, чего оно требовало, чтобы быть подготовленным к войне. Одно из двух надо было выбрать.

Иначе говоря: политика инстанций означает полнейший разрыв с духовным наследием наших учителей, со всей историей и со всеми исконными принципами германской социал-демократии. Логическим следствием этой политики было бы образование национально-социальной рабочей партии, примиряющейся с милитаризмом и монархией и удовлетворяющейся теми реформами, которые достижимы для пролетариата на почве капиталистического строя. Тех представителей политики инстанций, которые делают этот неизбежный вывод, надо признать более последовательными и вместе с тем менее опасными.

С другой стороны, рабочее движение было бы отравлено на многие годы, если бы удалось громкими трафаретными лозунгами замазать и затушевать зияющую щель, отделяющую настоящее от прошлаго, если бы удалось вовлечь рабочие массы в самообман, который обрек бы их на полное бессилие. Перед лицом такой ужасной, кошмарной возможности, которая заклеймена Марксом, как «самофальсифицирование», и Лассалем, как «лживое изображение ситуации» (Umlügen einer Situation), мы должны сплотиться вокруг знамени наших учителей с лозунгом Лассаля: Вот — наше знамя, и в нем — наша честь!

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Перспективы и проекты.

Последняя брошюра Каутского «Национальное государство, империалистическое государство и союз государств» (изд. в Нюренберге) отчасти лишь повторяет, отчасти же и дополняет мысли, высказанные им разновременно в «Neue Zeit» относительно нынешней войны.

Прежде всего, Каутский исследует существо и историческую роль национальнаго государства и умудряется наговорить по этому вопросу много такого, о чем до сих пор никто не знал. Так, напр., мы узнаем из его брошюры, что национальное государство является в одно и то же время и неотвратимым логическим следствием «современной демократии крупных государств», и — наоборот — необходимою ее основою. «Национальное государство» и «современная демократия» — это нечто двуединое, нераздельное. Далее, мы узнаем, что, напр., Австрия может переродиться в демократическом смысле только путем распадения на ряд национальных государств, объединенных в союз, что подобного раздробления на национальные государства «требуют» также «окраинные народы России» и т. п. В то время как по прежним представлениям социал-демократии вся национальная фразеология, — в Австрии, в России или в Германии, словом, повсюду, — служила, главным образом, для того, чтобы путем внесения путаницы в классовую борьбу укреплять буржуазию в ее классовом господстве, Каутский просвещает нас, что национальная борьба в недрах современного государства проистекает только из «демократического чувства», и что эта борьба проявляется в формах, тем более интенсивных, чем интенсивнее это чувство.

Таким образом, у Каутского совершенно исчезает понимание национального государства, как преходящей, исторически обу-

словленной фазы буржуазного классового господства, — фазы, давно уже превзойденной империализмом и наиболее явственным образом ликвидируемой как-раз в нынешней мировой войне. Для Каутского национальное государство является рамкой для современной демократии и, в качестве таковой, заодно и идеалом будущего, даже больше того — программою социал-демократии! «От буржуазной демократии социал-демократия переняла стремление к национальному государству», измышляет Каутский (стр. 11), хотя до настоящего времени не было такой социал-демократической партии, которая внесла бы в свою программу подобное «стремление», и хотя до сих пор, наоборот, считалось задачею социал-демократии сплачивать пролетариев без различия национальностей в каждом государстве для совместной классовой борьбы на основе общей программы, в противовес мелкобуржуазным национальным домогательствам. Правда, социал-демократия признала, в формулировке Лондонского международнаго конгресса 1896 года, «право каждой национальности на самоопределение». Но между этой формулой и «стремлением к национальному государству» лежит пропасть, — та самая пропасть, которая отделяет социалистические принципы от буржуазных политических программ. Каутский мог дойти до своего поразительного открытия только благодаря тому, что, витая в туманной мгле абстракции, он отождествляет национальное государство с демократией. А так как к «демократии» социал-демократия, конечно, «стремится», то из этого простейшим способом делается вывод, что мы должны «стремиться» и к национальному государству.

Что же, собственно, представляет собою эта «современная демократия», которая является якобы объектом наших страстных вожделений? Это программа-минимум социал-демократии, подумает читатель. Ничего подобного! «Современной демократией» Каутский называет нынешний буржуазный парламентаризм! По его схеме, например, даже нынешний прусско-германский полуабсолютизм должен нам представляться «современной демократией».

Послушаем, что он говорит:

«Но в тот самый период времени, когда образовались эти две исполинские империи (Великобритания и Россия), возникли уже материальные условия для осуществления демократии за пределами общины, в рамках крупного государства, т.-е. для замены первобытной демократии современною. К этому привели развитие средств сообщения и распространение книгопечатания и грамотности. — Одновременно образовалось современное крупное государство с централизованным бюрократическим аппаратом и с прочно-установленной таможенной границей. Прежде всего

оно усилило авторитет центральной государственной власти, которая стала абсолютною. Но развитие средств сообщения и прессы создавало для населения всего государства все большую и большую возможность быть осведомленным о действиях и упущениях центральной власти, обсуждать и критиковать их. Действия центральной власти получали, вместе с тем, все большее значение для каждого индивидуума, сфера воздействия государственной власти расширялась. В связи с этим возникло стремление получить влияние на нее при помощи представителей, избираемых и контролируемых массою. Так развилась современная демократия, существенными признаками которой являются парламентаризм, пресса и крупные, охватывающие всю территорию государства, партийные организации» (стр. 8).

Мы привели этот великолепный образчик материалистического понимания истории дословно, дабы читатель видел, как прекрасно можно объяснить происхождение буржуазного «правового государства» без далеких экскурсий в область классовых интересов, экономических переворотов и т. д., путем простой ссылки на развитие «средств сообщения и прессы». В таком истолковании «современная демократия» представляется—совсем, как ее достойное дополнение, национальное государство—не в виде прозаической частицы буржуазного классового господства, со всеми следами его преходящего земного бытия и с отчетливыми симптомами падения, а в виде чего-то, окутанного голубоватою дымкою абстракции и ореолом долговечного идеала. Ведь наша эпоха — это, по словам Каутского (стр. 77), «эпоха роста демократии». Конечно, идеалом эта наша «современная демократия» становится лишь в том случае, если мы обрели национальное государство в чистом виде. Так, напр., в Германии, «с ее поляками, датчанами и французами», вовсе и не осуществима «полная демократия», потому что, «с какими бы сильными, убедительными и многозначительными словами ни обращались к нам на своем языке польский политик или польский журнал или польская книга, им никогда не удастся воздействовать на германский народ, хотя, быть может, на поляков они окажут влияние даже за пределами Германии. А ведь сущность демократии заключается во влиянии на народ и через народ» (стр. 9). И потому лишь «внутри чисто национальных государств (на которые неминуемо должны распасться нынешние большие государства) становится возможной полная, не только формальная, а действительная и не бессильная демократия» (стр. 11). Приходится развести руками, — неправда ли, читатель?

У наших прелестных близнецов есть, однако, еще и малая сестренка, от которой они неотделимы. Это — милиция!

«Всякому покушению чужой завоевательной власти на сокращение или изменение территории национального государства последнее... оказывает самое решительное сопротивление, которое подавить надолго почти-что невозможно, и источник которого заключается в сильно развитом демократическом укладе жизни его населения. С другой стороны, пространством, сплошь занятым данною нацией, национальному государству ставятся границы, через которые оно не может переступить без вреда для самого себя. Все это приводит к тому, что для существования этого государства приобретает больше значения сила его демократии, чем могущество его армий, которые для замкнутого национального государства, если оно хочет остаться таковым (это «если» — божественно!), приобретают чисто оборонительный характер. Одновременно с идеями современной демократии и национального государства зарождается идея милиционной армии. Носителями всех этих трех идей являются одни и те же партии и классы» (стр. 16). Между прочим, сам Каутский не принадлежит к этим партиям и классам, потому что в той же брошюре, несколько дальше, задумав определить мирную программу социал-демократии, он совершенно забывает о своей милиции и требует... «разоружения» до половины нынешнего численного состава постоянных армий.

Опять приходится развести руками, — неправда ли, читатель? Спросим себя: где это на земле видаы все эти прекрасные вещи, которые нам разрисовывает Каутский? Не Германия ли после 1870 г. или Италия представляют собою такое «национальное государство» с оборонительной милиционной армией и с ростом демократии? Не назвать ли национальным государством Швейцарию, самое демократическое государство в Европе и наиболее близкое к милиционной системе? Или же, напр., наиболее демократическое из вне-европейских государств, Соед. Штаты Сев. Америки? Спросим себя: не влиял ли Маркс «на народ и через народ» в несметном числе стран, несмотря на то, что он говорил только «на своем языке»? Наконец, спросим себя: не утверждала ли социал-демократия постоянно, что «полная, не только формальная, а действительная и не бессильная демократия» мыслима лишь при условии осуществления экономического и социального равенства, социалистического хозяйственного строя, и что «демократия» буржуазного национального государства, в конечном счете, всегда представляет собою, в большей или меньшей степени, шарлатанство?

Бросим, однако, говорить о национальном государстве, о демократии и милиции, относительно которых все время пребываешь в неведении, разумеет ли Каутский под ними реальные

исторические явления, или видит их в розовом тумане своей фантазии. Они служат, во всяком случае, Каутскому лишь подготовительным материалом для соответствующей трактовки вопроса об империализме.

Что такое империализм? Империализм — это только скверный «метод». Это — применение насилия и ему подобных отвратительных и предосудительных средств для достижения того, что само по себе законно и необходимо, но «гораздо лучше» достигается другими методами, а именно при помощи «демократии». В стремлении капитала к расширению своей сферы Каутский видит законную потребность современного развития; он хочет только устранить приемы, империалистический метод, и, таким образом, вырвать у империализма, у соперничества в вооружениях и у колониальной политики «наиболее зловредное жало».

Но, с другой стороны, если рассматривать вопрос при достаточном свете, то, пожалуй, вовсе и нет никакого империализма: то, что в настоящее время представляется нам таковым, в действительности — либо еще не империализм, либо уже не империализм.

Англия? Но ее колонии были завоеваны «задолго до империалистического периода», а теперь связь с южно-африканскими владениями, с Канадой и Австралией покоится на чистой демократии. Против такого «типа государств», по мнению Каутского, вряд ли можно что-либо «возразить».

Южная Африка, Египет, Алжир и Персия все более и более приближаются к «стадии современной демократии», а потому эти страны «уже не» могут считаться объектами империализма (стр. 54). Россия? Она, конечно, «еще не» может вести империалистическую политику, потому что она сама еще нуждается в импорте капитала. Австрия? Она, собственно говоря, тоже «еще не» может преследовать империалистические цели, так как ей тоже еще самой нужен импорт капитала; вместе с тем она, однако, уже и изжила эти цели: ее «временная» империалистическая тяга к Салоникам «давно уже прекратилась». А ее конфликт с Сербией вовсе не носит империалистического характера. Доказательство: в основе его лежат аграрные интересы, а Сербия, с своей стороны, «еще очень далека от всяких империалистических тенденций», — она находится в стадии «национального государства». Китай? Он также приближается семимильными шагами к «стадии» современной демократии, сиречь национального государства; стало быть, и здесь «всякая империалистическая политика становится невозможной» (о чем, очевидно, и не догадываются ослепленные японцы, не читающие «Neue Zeit»).

Словом, куда мы ни глянем, империализма либо вовсе нет, либо его дни сочтены, потому что везде его вытесняет рост «демократии». Впрочем, а Турция-то как же? Она ведь, бесспорно, была объектом империализма, в особенности германского. Турция даже грозила стать поводом к империалистической мировой войне. Но и здесь как-раз перед началом нынешней войны все было «урегулировано». Война возникла в такой момент, когда «не было налицо ни одного империалистического спорного пункта» (стр. 63).

Если, таким образом, уже до войны империализма вовсе и не существовало, то после войны—это предсказано Каутским еще в сентябре 1914 г. — он тем паче перестанет существовать. «Экспорт капиталов из промышленных государств,—этот источник империализма и, следовательно, конечная причина войны,—прекращается, по крайней мере, на ближайшее время.» Дело в том, что, с одной стороны, перед европейскими промышленными государствами после войны станут «совершенно иные заботы» и им будет не до империализма, а с другой стороны, аграрные государства все больше «освобождаются» от эксплоатации со стороны империализма («Neue Zeit», № 23, стр. 970). Таким образом, весь империализм и, в особенности, нынешняя мировая война представляли собою, если смотреть в корень вещей, «много шума из-за ничего». Как же, в конце концов, возникла война? Да вот, — «только вследствие соперничества в вооружениях и в результате мобилизации...» (стр. 65).

К чему все это жонглерство? спросит читатель. К чему столько благородных усилий для опровержения общеизвестных фактов, о которых в настоящее время воробьи на крышах чирикают? Ответ мы находим у самого Каутского в том месте, где он делает такое открытие: кто «утверждает, что империализм в нынешней стадии капиталистического производства является непременным аттрибутом этого производства», тот «этим самым печется об интересах империалистов, усиливает их духовное влияние на народную массу, а стало быть, и их власть» (стр. 22). Отсюда следует, что Каутский «утверждает» противное. Он «утверждает», что империализм вовсе не вытекает из экономической необходимости, а представляет собою «только вопрос силы», что расширение сферы влияния капитала «лучше всего» достигается не насильственными методами империализма, а «при помощи мирной демократии» (стр. 70). Как просто и понятно! Маркс утверждал, что на известной ступени развития господство капитала представляет собою неизбежную экономическую необходимость общественной эволюции; утверждая это, он, конечно, пекся об интересах капиталистов, усиливая их моральное влияние и их власть. Энгельс утверждал, что акционерные

компании вытекают, как экономическая необходимость, из условий капиталистического производства, и этим он укреплял положение господ акционеров, увеличивал, надо полагать, их дивиденды. Социал-демократия утверждала до настоящего времени, что современный милитаризм представляет собою историческую необходимость, как орудие классового господства капиталистов; стало быть, она действовала в интересах милитаристов, усиливала их влияние и их власть. Все это ясно, как день, и Лассалю, привыкшему «говорить то, что есть в действительности», остается вторично лечь в могилу.

Но только Каутский забывает одно: нас мало утешает, в конце концов, его спасительное открытие, что империализм не является исторически необходимым, а представляет собою «только» вопрос силы. Ведь его «сила» на больших исторических расстояниях точно также является, — как некогда разъяснил Энгельс своему Дюрингу, — экономическим фактором и имеет свои корни в экономически необходимых условиях. Далее, Каутский забывает, что его империалистический «метод», который он хочет отменить, как чисто внешний, безобразный придаток капитализма наших дней, в действительности является для последнего весьма существенным. Говоря о насильственном характере империалистических методов, он видит перед собою только внешний, шумный, воинствующий облик империализма. Он забывает, что более симпатичный ему процесс «мирной» и «демократической» экспансии капитала (железнодорожное строительство и введение товарного обращения в отсталых странах) точно так же, но только бесшумно, сопровождается длительным насильственным разрушением существующей социальной организации, при беспрестанном насильственном вмешательстве со стороны государства. Он совершенно забывает, что и английская свободная торговля, блестящую работу которой в Китае он восхваляет, противопоставляя ее империализму, пробила себе «открытые двери» у Желтого моря при помощи пушек и военных жестокостей, равно как и бесчисленным множеством менее громких актов насилия и обмана на протяжении времени с 1839 по 1900 год. Одним словом, все усилия Каутского провести различие между законным экономическим ядром и отвратительной «насильнической» оболочкой, которую он пытается отделить от капитализма, как нечто случайное, представляют собою чистейший плод кабинетного мудрствования. В обагренной кровью действительности империализм не имеет ни ядра, ни оболочки, — в нем то и другое сливается воедино; экономическая необходимость и приемы насилия идут здесь бок-о-бок, меняясь поминутно местами. То и другое может быть преодолено только путем устранения ка-

питализма. План Каутского цивилизовать нынешний империализм, «демократизировать» его и привить ему мирный характер, вырвать у него «жало», сводится, в конце концов, к чему-то вроде «социалистической» колониальной политики Давида. Слишком уж очевиден утопический характер всех подобных стремлений обрезать тигру когти и убедить его, что ему следует «лучше всего», в его же собственных интересах, питаться медом и овощами. И если можно было удивляться всем этим Давидам, которые измышляли свои мелкобуржуазные утопии за много лет до нынешней войны, то гораздо больше приходится удивляться Каутскому, который в настоящее время, в огне и грохоте великой всемирно-исторической, империализмом вызванной катастрофы находит повод к тому, чтобы весело и беззаботно, как юная цикада в траве, распевать свою песенку о «разоружении», о «национальном государстве», о «демократической эволюции» и о «свободной торговле», как о ближайших перспективах капитализма «в его собственных интересах». Ясно, что на основании данных нынешней мировой войны невозможно нарисовать историческую перспективу, более извращенную и более непригодную для того, чтобы дать пролетарию возможность ориентироваться в текущих событиях.

Но у этой странной исторической концепции есть и очень серьезная сторона. Всякому ясно, что пробуждение, поворот к международному классовому сознанию — как в рядах германской социал-демократии, так и в прочих странах — будет совершаться в зависимости от того, насколько быстро рабочие будут освобождаться из-под власти националистического гипноза, в состояние которого они были введены как господствующими классами, так и своими же партийными вождями в период нынешней войни, — в зависимости от того, насколько они сумеют уяснить себе империалистический характер войны и проистекающие из него для рабочего класса великие задачи. Но вот Каутский как раз в момент разгула националистических оргий разжигателей войны выступает с крайней апологией национализма, выдвигая самым решительным образом националистическую идею, отождествляемую им с «демократическим чувством»; с другой стороны, он окутывает теоретическим туманом империализм, как историческую фазу. А мораль всей этой истории — «мирная программа» социал-демократии, заключающая в себе, наряду с отклонением аннексий, разоружение до половины или до четверти нынешних составов (об этом смотри «Neue Zeit» от сентября 1914 г., стр. 971) и союз европейских государств или таможенный союз с торговыми договорами на основе свободной торговли. Стало быть, опять проекты и рецепты! Вместо активного высту-

пления, вместо классовой борьбы, Каутский считает самой неотложной нашей задачей в нынешней ситуации подавать буржуазному обществу советы относительно того, как ему «лучше всего» устроить свои дела при помощи демократии, свободной торговли и симпатичных небольших оборонительных войн, причем предполагается, что на этом, тихо пылающем историческом огне незаметно доварится и суп пролетариата. А что эти приятные перспективы послевоенного периода, могущие «сменить» империализм и соперничество в вооружениях, он же, Каутский, в «Neue Zeit» от 11 сентября 1914 года, разрисовал, как священный союз «империалистов», т.-е., надо полагать, как нечто противоположное демократии и свободной торговле и, скорее, как эру самой черной реакции, — это, повидимому, нисколько не должно нас смущать. Каутского, повидимому, ничуть не смущает и то обстоятельство, что его союз государств, сиречь таможенный союз, представляет собою не более, как слепок с проектов реакционной таможенной политики, обращенных острием то против Соед. Штатов, то против Англии, — проектов, выдвигавшихся раньше профессором Юлиусом Вольфом и Максом Шиппелем, а теперь неустанно выдвигаемых официальными глашатаями империализма, вроде Лоша, Листа и им подобных.

Каутский в своей брошюре ополчается против «правого крыла» партии, против социал-империалистов. У них он хочет своею исторической перспективою вырвать почву из-под ног. Одновременно с этим, чтобы сохранить свою «центральную» позицию, он не забывает разок-другой размахнуться и по адресу «крайней левой». Он доносит на нее, что она состоит из людей, во-первых, стремящихся «заменить» парламентаризм «массовой забастовкою» *), и во-вторых — желающих противопоставить империализму социализм, «т.-е. не одну только пропаганду социализма, которую мы уже в продолжение полувека противопоставляем всем формам капиталистического господства, а немедленное его осуществление» (стр. 57). Нам думается, что Каутский оказался бы в немалом затруднении, если бы кто-нибудь самым вежливым образом остановил поток его словоизлияний и попросил бы его не отказать в любезности точно указать, где, когда и кто в партии думал «заменить» парламентаризм массо-

*) «Но эта замена оказывается, если лучше вникнуть в дело, формою примитивной демократии. Это относится и к прямому народному законодательству и к более энергичной разновидности его, к массовой забастовке» (стр. 22). Массовая забастовка — «разновидность» прямого народного законодательства и, в качестве таковой, «форма» поземельной общины! Что за белиберда?

вой забастовской, или назвать чудака, который требует «немедленного осуществления» социализма.

Подобно тому, как Каутский первым открыл травлю против «озорников», начав с первых же дней войны предостерегать от «самочинности» и «критики», как величайших преступлений («Neue Zeit» от 21 августа 1914 г., стр. 846), точно так же он и теперь оказывает выдающиеся услуги правому крылу, изображая в фантастических, нелепых, каррикатурных штрихах взгляды и намерения «озорников».

Еще больше, однако, выдвигаемая им ныне в брошюре и в «Neue Zeit» теория способна облегчить дело социал-империалистов, против которых он хочет бороться, тем, что она сеет в партиях величайшую неразбериху относительно исторической ситуации, ее истинных тенденций и задач рабочего класса. И потому эти пространные теоретические мудрствования опаснее «новых ориентаций» Гейне, Зюдекума, Гениша и им подобных. Эти последние ярко выраженным характером своих выступлений сами в достаточной мере предостерегают от себя, между тем как теории Каутского способны вырвать «жало», — конечно, не у милитаризма и империализма, а у... социал-демократии.

Впрочем, в брошюре Каутского мы находим хорошее заключительное слово. Империалистическому «методу» — говорит он — мы должны объявить «решительную борьбу». «Чем сильнее даст себя чувствовать могучее сопротивление рабочих, тем непреодолимее будут те преграды, которые ставятся здесь капиталу», — тем в большей степени капитал будет оказываться вынужденным, как в формах эксплоатации, так и во внешней политике, итти похвальной демократической стезею и исправляться. Но, как бы там ни было, во всяком случае ясно одно: что «могучее сопротивление» и «непреодолимые преграды» империализму непохожи на нынешнюю линию поведения партийных инстанций и на поведение самого Каутского с момента возникновения войны. Так Каутский в конце своей брошюры обмолвился словом резкого осуждения по адресу официальной тактики социал-демократии. И это его заключительное слово, пожалуй, единственное в его работе, против которого нельзя ничего возразить.

Мортимер.

Грубая попытка обмана.

Генрих Кунов опубликовал «Открытое письмо по поводу внутреннего разлада в партии», снабдив его заголовком: «Не крушение ли партии»? Это «Открытое письмо» представляет со-

бою не что иное, как грубую попытку извратить сущность «внутреннего разлада в партии».

Что касается «крушения партии», то так называемые «озорники» усматривают крушение в том, что партия, бессчетное число раз предсказывавшая с уверенностью империалистическую мировую войну и дававшая себе торжественный обет, в случае возникновения войны, вступить на путь определенной политики, фактически ведет как-раз противоположную политику с того момента, когда война действительно началась. В этом — вся суть «внутреннего разлада в партии», и ее-то Кунов не касается ни единым словом, ни «открыто», ни хотя бы в прикрытой форме. Он морочит своих несчастных читателей, рассказывая им, будто оппозиция негодует потому, что «германская социал-демократия не оправдала надежд, возлагавшихся на нее этими лицами». Нет, товарищ Кунов, «внутренний разлад в партии» возник потому, что официальная политика партии не согласуется с теми требованиями, которые предъявляла к себе сама партия в целом ряде торжественнейших манифестаций, в ясном предвидении грядущих событий.

Извращая совершенно действительность и изображая «озорников» в виде кучки разочарованных в своих иллюзиях субъектов, Кунов выступает против этого фантома с самым устарелым, заржавевшим оружием из практики и теории марксизма. Маркс и Энгельс — видите ли — в годы Коммунистического Манифеста и еще позже представляли себе конец капиталистического способа производства слишком близким, но в 1850 г. они своевременно обнаружили снижение революционной волны; рабочий принадлежит не только к известному классу, но и к определенной нации; нации представляют собою попросту продукт истории и т. д., и т. д. Все это Кунов доказывает с таким жаром, что, под обаянием его доводов, Макс Коген, Макс Грунвальд, Генрих Шульц и Конрад Гениш написали длиннейшие восторженные статьи об этих, самых новейших открытиях. Нас, «озорников», судьба не балует: в наших рядах нет ни одного такого патентованного «марксиста»; а в премудрости Кунова для нас нет ничего нового. Что же касается его положения, что империализм представляет собою исторически необходимую ступень в эволюции капитализма, то этим он бьет не «озорников», а своего собрата по оружию, Каутского, притом разбивает его на голову. (Смотри выше отзыв о последней брошюре Каутского).

Еще один пример несерьезного отношения Кунова к своей работе. В доказательство своего положения, что нации представляют собою «попросту продукты истории», он ссылается на несколько статей «Новой Рейнской Газеты», в которых, как он

утверждает, Маркс объявил южно-славянские национальности Австрии неспособными к историческому развитию. Но автором этих статей является вовсе не Маркс, а Энгельс, что должно было бы быть известно Кунову, если бы он поинтересовался этим вопросом. Вдобавок, у Энгельса это была не научная работа, а резкая отповедь южно-славянским народностям Австрии за услуги, оказанные ими в революционные годы контр-революции, причем Энгельс, по поговорке, выливая из ванны воду, заодно выплеснул и ребенка. А эти народы, между прочим, с тех пор успели доказать свою историческую жизнеспособность. Таким образом, при всей правильности положения, что нации представляют собою «попросту исторические продукты», претендующая на «марксизм» аргументация Кунова оказывается таким же грубым qui pro quo, как и вообще вся его работа.

В общем, он производит впечатление разгневанного слона, врывающегося в открытые двери пустующего помещения. Мы опасаемся, что это зрелище не приведет «озорников» в такое торжественно-умиленное настроение, как Грунвальда и его компанию.

Н. г.

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
От издателей	3
Вступление	5
Восстановление Интернационала, — статья Р. Люксембург	9
Кто будет расплачиваться за войну? — статья И. Кемпфера	22
Куда ни глянь, везде социализм! — статья П. Ланге	34
Наши женщины и „женская служба нации", — статья Е. Дункер . . .	44
Борьба за мир, — статья К. Цеткин	50
Из парламентской жизни:	
1. Трещина во фракции прусского ландтага, — статья Г. Штребеля .	67
2. Разложение фракции рейхстага	75
Тайное учение и миф, — статья А. Тальгеймера	84
Наши учителя и политика партийных инстанций, — статья Ф. Меринга .	91
Литературное обозрение	104